

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н.Е.Колосов



КАК ДУМАЮТ
ИСТОРИКИ

Н.Е. Копосов

КАК ДУМАЮТ ИСТОРИКИ

Новое литературное обозрение
Москва
2001

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. XXXI

Художник серии *Н. Пескова*

Копосов Н. Е.

Как думают историки. — М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 326 с.

В книге содержится анализ конфликта и взаимодействия лингвистических дескриптивных механизмов и внелингвистического пространственного воображения в мышлении современных историков. Прослеживается связь между формами пространственного воображения и эволюцией проекта «глобальной истории» в историографии XIX–XX вв. Исследуется формирование и развитие понятия «социальное» в европейской мысли XVII–XX вв. и его влияние на свойственные социальным наукам фигуры мысли. Книга адресована научным работникам, преподавателям и студентам исторических, философских, психологических, социологических и филологических специальностей, а также всем интересующимся историей и внутренними противоречиями современной мысли.

ISBN 5-86793-162-5

© Н.Е. Копосов, 2001

© Новое литературное обозрение, 2001

Предисловие

Для начала расскажем историю.

Однажды, знакомясь с коллегой-антропологом, автор этих строк спросил его, о чем он сейчас пишет. «О себе, мой дорогой, — был ответ. — Я всегда пишу только о себе. Ничего больше меня не интересует». На самом деле он пишет о румынских крестьянах, о наркоманах, о культуре ритуала. Что ж тут такого? Мы все пишем о других. Но другим мы приписываем собственные поступки и состояния души — пусть вымышленные. И разве бывают исключения из правила, согласно которому личность автора выступает обобщенным смыслом его произведения? Верно, впрочем, и обратное: *Nos opera sumus*.

Когда историк пишет о том, как думают историки, он неизбежно описывает собственную мысль. Эта книга, посвященная французской социальной истории 1960-х гг., была бы невозможна, не имей автор аналогичного интеллектуального опыта: его работа «*Высшая бюрократия во Франции XVII века*», опубликованная в 1990 г., оставалась в круге тех проблем, которые занимали французских коллег двумя десятилетиями ранее. Собственный опыт несвободы мысли, и прежде всего — ее пространственных принуждений, автор «вчитывает» теперь в их исследования. Нуждается ли это в оправданиях? Едва ли¹.

¹ Впрочем, вот одно из возможных оправданий: «Какая разница? Ведь если главная цель антропологии — способствовать лучшему пониманию объективированной мысли и ее механизмов, то в конечном итоге неважно, принимает ли мысль южноамериканских аборигенов свою форму под воздействием моей мысли или моя — под воздействием их. Важно то, что человеческий дух, безразличный к идентичности своих случайных проявлений, демонстрирует в них свою все более внятную нам структуру» (Lévi-Strauss C. *Mythologiques*. Vol. 1. Paris, 1964. P. 21). Парадоксально, но за две страницы до той,

Наш приятный долг — выразить признательность коллегам и учреждениям, чья поддержка позволила написать эту книгу. Ее центральные главы восходят к семинару «Пространственное воображение и социальная история», который автор вел в Высшей школе социальных исследований в Париже в 1993—1995 гг. Администрации школы, ее Центру исторических исследований и участникам семинара адресована наша искренняя благодарность. Автор признателен Дому наук о человеке и Морису Эмару за неизменную поддержку и полезную критику его проектов. Благодаря Рею Палу, Кентерберийскому университету и его библиотеке автор получил представление о работе социолога, равно как и возможность, читая порой наугад (это, вероятно, лучший способ чтения, но только в систематически подобранной библиотеке), обнаружить в трудах социологов, психологов и лингвистов до странности созвучные историку размышления. Благодаря Герхарду Оксле и сотрудникам Института истории Общества Макса Планка в Геттингене автор смог лучше представить себе критическую философию истории. Оптимальные условия работы, предоставляемые Будапештским Коллегиумом, позволили в основном завершить работу над текстом книги. Сотрудничество с Бард Колледжем (штат Нью-Йорк) и знакомство с принципами либерального образования стали для нас источником оптимизма, особенно важного, если учесть скептические импликации нашей работы. Автор благодарен также руководству филологического факультета Петербургского университета, с редким долготерпением сносившему его многочисленные разъезды. Без многолетней дружеской поддержки Сергея Богданова и Валерия Монахова у нас не было бы возможности работать над этой книгой.

Сам профессиональный историк (плохой или хороший — не ему судить), автор не без труда превратил историков в предмет своих исследований. Этому способствовало как интеллектуальное раскрепощение, пережитое нашим поколением на грани 1980—1990-х гг., так и доброжелательная поддержка коллег. Предать бумаге размышления о менталь-

откуда заимствована эта цитата, Леви-Строс охотно принимает на свой счет формулу Поля Рикера — «кантианство без трансцендентального субъекта» (*Ibid.* P. 19). Но парадоксально это только на первый взгляд: слишком многие мыслители последнего столетия, заявляя о приверженности к критической философии, немедленно затем воспроизводили свойственные гегельянству фигуры мысли. Почему — одна из главных тем этой книги.

ности историков автор сначала решил по просьбе Герхарда Ярица. Марк Ферро и Робер Десимон, одобрив первые опыты автора на эту тему, заставили его поверить в свои силы — возможно, преждевременно. Книгу, ее отдельные главы и предварительные наброски к ней в разные годы читали Франсуа Артог, Люк Болтански, Эрик Бриан, Ален Буро, Люсет Валенси, Ален Гери, Жан-Ив Гренье, Ален Дерозьер, Кристиан Жуо, Клаудио Ингерфлом, Клод Карну, Тамара Кондратьева, Бернар Конен, Дени Крузе, Бернар Лепти, Борис Марков, Пьер Нора, Жак Рансьер, Моник де Сен-Мартен, Моник Слозян, Лоран Тевено, Симона Черутти, Роже Шартье, Мари-Карин Шоб, Габриель Шпигель, Павел Уваров и Натали Эник. Автор признателен им за ценные советы и конструктивную критику. Помощь Сьюзан Гиллеспи позволила существенно улучшить английское резюме книги. Индекс имен составлен Алексеем Рыковым.

Более всего автор благодарен Дине Хапаевой, чья помощь была *conditio sine qua non* этой книги.

Книга посвящена памяти Юрия Львовича Бессмертного — исследователя, в котором педантичность профессионала почти неправдоподобно сочеталась с интеллектуальной открытостью, позволившей ему — одному из немногих в том блестящем поколении, к которому он принадлежал — отозваться на интеллектуальные перемены 1990-х и отправиться вместе с младшими коллегами на поиск новых путей в исторической науке. И хотя автор не полностью разделяет веру в существование таких путей, исследования Ю. Л. Бессмертного, его неизменно доброжелательная и деятельная поддержка сделали возможным — среди многих других — и наше исследование.

Введение

«История пишется по источникам»¹ — это, конечно, гораздо больше, чем банальная констатация. Это, как сказал бы Ницше, — «задушевное *selegit senso*»² профессиональных историков, их формула совершенства, идеальный образ себя.

История пишется историками — таков исходный пункт нижеследующих размышлений. Историк же не есть вместилище абсолютного разума, и он не настолько возвышен над человеческим несовершенством, чтобы судить о пребывающем во времени с точки зрения вечности. Он — такое же «существо из плоти и костей»³, как и те, кто действует в истории. И он тоже погружен в поток времени. Его образ мира основан на опыте собственного тела и формах перцепции, на осознании самого себя как протяженности во времени, как жизни, на со-бытии в мире с другими людьми, на структурах языка, которые он принимает за формы бытия. В жизненном мире укоренены базовые уверенности его разума, из которых через множество опосредований развиваются сложные формы интеллектуальной деятельности. Понять, как думают историки, значит изучить эту систему опосредований и установить связь между формами и уверенностями разума, с одной стороны, и конкретными историческими построениями, с другой.

Подобно миру, история существует лишь в нашем воображении. Это не значит, что ничего из того, о чем рассказывают историки, не происходило в действительности. Это значит, что происходившее в действительности становится историей лишь в той мере, в какой попадает в область разума и преобразуется в ней. Разум определенным образом полагает эмпирическую действительность, превращая ее в свое собственное произведение — в историю.

¹ Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. *Introduction aux études historiques*. Paris: Hachette, 1897. P. 1.

² Ницше Ф. *О пользе и вреде истории для жизни* // Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 159.

³ Блок М. *Апология истории или ремесло историка*. М.: Наука, 1973. С. 83.

Теорию, согласно которой объекты научного познания являются конструктами сознания исследователей, мы будем называть конструктивизмом⁴. Эта теория восходит к Канту. На грани XIX и XX вв. такие разные мыслители, как Дильтей, Вебер, Зиммель, Дюркгейм и Кроче использовали ее для эпистемологического обоснования наук о человеке. С тех пор любой мало-мальски образованный историк знает, что «чис-тых» фактов не существует и что изображать прошлое таким, «каким оно было на самом деле», — не более чем иллюзия «наивного реализма»⁵. «Исторические факты, как и факты физические, мы воспринима-

⁴ Конструктивистская гипотеза имеет несколько вариантов (см. гл. 5). В частности, конструирование истории историком иногда понимается как контролируемый разумом процесс выдвижения и верификации гипотез (см., например: Nowell-Smith P.H. *The Constructionist Theory of History // History and Theory*. 1977. Vol. 16. № 1. P. 1–28). Мы понимаем конструктивизм в прямо противоположном смысле — как бессознательное проецирование на историю структур разума. Термин «конструктивизм» применительно к истории введен в употребление Дж. Мейландом (Meiland J. W. *Scepticism and Historical Knowledge*. New York, 1965). О конструктивизме в истории см.: Hobart M. T. *The Paradox of Historical Constructionism // History and Theory*. 1989. Vol. 28. № 1. P. 43–58. О понятии конструирования в философии см.: Ende H. *Der Konstruktionsbegriff im Umkreis des Deutschen Idealismus*. Meisenheim am Glan: A. Haim, 1973.

⁵ «Изгоним наивный реализм в стиле Ранке», — призывал Люсьен Февр (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 58). Его призыв был многократно повторен и — по крайней мере, на уровне риторики — усвоен большинством исторической профессии. «Сегодня трудно найти открытых сторонников наивного реализма в практике историков», — пишет один из лидеров лингвистического поворота в историографии Х. Кельнер (Kellner H. *Introduction: Describing Redescriptions // A New Philosophy of History / Ed. by F. Ankersmit, H. Kellner*. London: Reaction Books, 1995. P. 10). Со своей стороны, признанный классик современной историографии Лоренс Стоун утверждает, что историки его поколения никогда не были «позитивистскими троглодитами», какими их изображают, поскольку осознавали неизбежную субъективность исследователя (Stone L. *History and Post-Modernism // Past and Present*. 1992. № 135. P. 190). Однако релятивистский флер, ставший сегодня элементарным требованием хорошего тона, вполне уживается с традиционной объективистской установкой, облагораживая, но по сути почти не изменяя ее. Поэтому не лишена оснований ироническая ремарка Жерара Нуарьея по поводу такой конструктивистской риторики: «Можно, конечно, называть конструированием простую обработку исторических документов» (Noiriel G. *Pour une approche subjectiviste du social // Annales: Economies, Sociétés, Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1441). Отметим, что связывать идеал «объективистской» истории с именем Ранке не совсем точно. Об этом подробнее см. гл. 5, прим. 16.

ем сквозь призму форм нашего разума»⁶, — писал Люсьен Февр, сыгравший важную роль в аккультурации конструктивистской гипотезы в историографии. Именно с творческим использованием этой гипотезы порой связывают осуществленную школой «*Анналов*» эпистемологическую революцию, а это значит — и наиболее впечатляющие достижения исторической науки истекшего столетия⁷.

Но что мы знаем о формах разума, сквозь призму которых рассматриваем историю? До странности мало, особенно если учесть, что программа критики исторического разума была впервые сформулирована сто с лишним лет назад. Среди «основоположников» более других размышляли об этом неокантианцы Юго-Западной немецкой школы. Но и они сказали здесь удивительно мало конкретного. Их главная мысль заключалась в том, что в отличие от генерализирующих понятий наук о природе исторические понятия носят индивидуализирующий характер. Однако вопрос о логической структуре индивидуализирующих понятий остался до такой степени не проработанным, что оппоненты сохранили полную возможность утверждать, будто таких понятий вовсе не существует. В итоге теорию индивидуализирующих понятий преследует обвинение в том, что она основана на абсурдном противоречии в определении⁸. Позднее историки школы «*Анналов*» (и прежде всего — Люсьен Февр) сделали немало проницательных наблюдений о том, как происхо-

⁶ Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 58.

⁷ «В основе этого обращения истории к научному методу (речь, естественно, идет о создании школы «*Анналов*». — Н. К.) лежала идея о том, что историческое знание происходит не из прошлого, но из самого исследователя», — писал А. Бюргьер (Burguière A. De la compréhension en histoire // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1990. Vol. 45. № 1. P. 124). По словам А. Я. Гуревича, «наиболее смелые и продуктивные прорывы к углубленной исторической эпистемологии были совершены на базе неокантианства» (Гуревич А. Я. *Исторический синтез и школа «Анналов»*. М.: Индрик, 1993. С. 15).

⁸ Подчеркивая, что «понятия по природе своей всеобщи», Николай Гартман утверждал, что критические философы истории не сумели разработать «позитивную аналитику» и показать «структуру принципов» исторического разума, без которых, как они сами полагали, невозможно историческое познание (Гартман Н. Проблема духовного бытия: Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе // *Культурология. XX век: Антология*. М.: Юристъ, 1995. С. 632–634). Со своей стороны, М. де Серто писал в этой связи: «Мыслимо только всеобщее» (Certeau M. de. *L'opération historique // Faire de l'histoire / Pub. par J. Le Goff, P. Nora*. Vol. 1. Paris: Gallimard, 1974. P. 32).

дит конструирование объектов исторического исследования, но так и не перешли, хотя такие призывы раздавались, к систематическому исследованию «функционирования ментальности уже не в обществах, но в самих социальных науках»⁹.

Лишь начиная с 1970-х гг. под влиянием лингвистического поворота в социальных науках появились специальные исследования языковых механизмов, оказывающих воздействие на то, как историки пишут историю. Лингвистический поворот исходит из убеждения, что, поскольку мир дан нам только в языке и благодаря языку, наши репрезентации, несмотря на их кажущуюся порой объективность, не репрезентируют ничего, кроме породивших их языковых механизмов. Исследованию подверглись весьма разнообразные языковые механизмы — от глубинных тропологических структур исторического дискурса до «регулятивных метафор среднего уровня» и более или менее поверхностных стилистических эффектов. Но главной темой лингвистического поворота стала унаследованная от аналитической философии истории проблема исторического повествования. Именно в качестве повествования история была теперь противопоставлена «законополагающим» наукам. Преемственность с критической философией истории налицо — речь в обоих случаях идет о поиске особого принципа интеллигибельности истории, отличающего ее от естественных наук. Проблема исторического повествования пришла на смену проблеме индивидуализирующих понятий.

Законченное развитие теория исторического повествования получила в трудах Поля Рикера. Согласно точке зрения Рикера, историческое познание возможно лишь постольку, поскольку оно основывается на «нарративном понимании», т. е. на особой когнитивной способности воспринимать серию эпизодов как интригу (каковую операцию Рикер называет *mise-en-intrigue*). Эта способность, по Рикеру, позволяет поэтически переформулировать — и тем самым преодолевать — апорию прерывности-непрерывности, основополагающую для человеческого опыта времени¹⁰.

⁹ DUBY G. Le mental et le fonctionnement des sciences humaines // *L'Arc*. 1990. № 72. P. 92.

¹⁰ Ricoeur P. *Temps et récit*. Vol. 1–3. Paris: Seuil, 1983–1985. Idem. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris: Seuil, 2000. Привлекательность предложенного Рикером подхода состоит прежде всего в том, что он устанавливает связь между историей как дискурсивной формой и проявляющимся в ней внутренним опытом. Установление подобных

Благодаря лингвистическому повороту был осуществлен переход от теоретического обоснования активной роли познающего субъекта к эмпирическому исследованию исторического разума. Однако как концепция сознания, лежащая в основе лингвистического поворота, так и порожденная ею теория нарративного понимания представляются нам весьма односторонними. Дело даже не столько в том, что история является не просто повествованием, но повествованием, претендующим на истинность¹¹. Дело прежде всего в том, что история является далеко не только повествованием, так что нарративные механизмы отнюдь не исчерпывают всей совокупности механизмов сознания, оказывающих влияние на конструирование истории. Более того, в самом предположении, что у разума имеется особый «исторический орган», особая способность помыслить историю, обуславливающая интеллектуальную возможность последней, заключено, как нам кажется, изначальное недоразумение. Между тем, именно такое предположение подлежит спорам об истории в философии XX в.

Гипотеза «исторического органа» имеет давнюю традицию. Еще на заре современной науки Френсис Бэкон, продолжая старую аристотелевскую тему, различал историю как дело памяти, философию как дело разума и поэзию как дело воображения¹². Воспроизведенная в «Энциклопедии», эта классификация получила самое широкое распространение¹³. В сущности, и теория индивидуализирующего метода, и теория нарративного понимания апеллируют к той же логической модели. В основе этой модели лежит допущение, что у истории есть сущность.

Задумаемся, однако, что означает и к чему обязывает подобное допущение. По-видимому, предположить, что у истории есть сущность,

связей — один из путей преодоления «изнутри» ограниченности лингвистического поворота. Однако, как мы увидим, Рикер в этом недостаточно последователен.

¹¹ По поводу этих претензий можно возразить, что лежащий в их основе «эффект реальности» есть не более чем лингвистический эффект. С этого предположения, собственно, и начался лингвистический поворот в историографии (Barthes R. *Le discours de l'histoire // Social Science Information*. 1967. Vol. 6. № 4. P. 65–75).

¹² Ф. Бэкон писал: «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души, сосредоточивающей в себе знание. История соответствует памяти, поэзия — воображению, философия — рассудку» (Бэкон Ф. *Великое восстановление наук // Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1977. С. 148–149*).

¹³ Flint R. *Philosophy as Scientia Scientiarum and A History of Classifications of the Sciences*. New York: Arno Press, 1975. P. 142.

означает постулировать наличие основополагающей «историографической операции» (подобной *mise-en-intrigue* у Поля Рикера), из которой с логической необходимостью вытекают все основные умственные операции, совершаемые историками (если, конечно, исключить предположение, что историки без конца повторяют одну и ту же умственную операцию). В самом деле, если умственная работа историка состоит в основном из операций, случайных по отношению к базовой «историографической операции», то в чем тогда заключается базовый характер последней? Говоря о сущности, мы приписываем явлению определенное внутреннее единство. Станем ли мы утверждать, что интеллектуальная практика истории обладает таким единством? Такое допущение отнюдь не самоочевидно.

Далее, что означает усмотреть в основополагающей «историографической операции» проявление особой способности разума? Это означает постулировать взаимнооднозначное соответствие между академическими дисциплинами и способностями разума (или областями внутреннего опыта). Ведь если история возможна постольку, поскольку опирается на особую способность разума, то непонятно, как другие дисциплины могут существовать, опираясь на что-либо другое. Иначе говоря, наделяя разум исторической способностью, мы должны наделить его социологической, антропологической, географической и другими подобными способностями, которые, вероятно, также проявляются в основополагающих операциях соответствующих наук. Словом, сколько академических дисциплин — столько и способностей разума. Следует ли думать, что у разума не было этих способностей, пока не было академических дисциплин? Если да, то вправе ли мы вообще говорить об основополагающих умственных операциях отдельных наук? Что еще, кроме способностей разума, могло породить эти операции? Если нет, то мы должны допустить, что эти способности *таились* в разуме и лишь постепенно развились до масштабов настоящих наук. Но тогда история науки предстанет как внутренне необходимое разворачивание некоторой субстанции, как манифестация Логоса, а сознание ученого — как крупица божественного разума. И, чтобы этот разум не показался странно неадекватным перед лицом хаоса непосредственно данного, будет лучше сделать еще одно допущение — о структурном соответствии, о предустановленной гармонии мира и сознания.

Допущение, что у разума есть «исторический орган», равнозначно допущению, что мир есть иерархия идеальных сущностей. Если мы не склонны принимать эту онтологию, мы не можем позволить себе рассуждать о базовой историографической операции, несмотря на то, что думать в терминах сущностей — умственный обычай, сформировавший нашу интеллектуальную традицию и, следовательно, представляющийся нам «естественным» и «правильным». Мы до сих пор живем в мире, который не так уж не похож на космос древних греков. Однако открыто апеллировать к такому образу мира мы сегодня вряд ли решимся. Аристотелевский космос по-прежнему способен подсказывать нам логические интуиции, но едва ли способен легитимизировать их.

Сегодня, чтобы показаться убедительным, приходится апеллировать к иной онтологии, не к космосу, возникшему из последовательного развертывания разумной субстанции, но к хаосу, из которого в результате не вполне понятного саморазвития и случайного взаимодействия разнородных логик возникают локальные, незавершенные, частично открытые и причудливо пересекающиеся зоны упорядоченности, находящиеся в состоянии сложного динамического равновесия. Вероятно, эта онтология ничуть не лучше предыдущей, но именно такова картина мира современной науки. Не будучи в состоянии уничтожить в нашем сознании образ аристотелевского космоса, она зато не только подсказывает нам логические интуиции, но и обладает монополией на их легитимизацию.

Именно на этих метафизических допущениях основывается представление о науке как о культурной практике, которое пришло на смену пониманию ее как манифестации абсолютного разума¹⁴.

«История — это то, чем занимаются историки». В этой афористичной формуле А. Прост точно выразил смысл представления об истории как о культурной практике¹⁵. Но если мы считаем историю, как и любую

¹⁴ Kuhn T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970; Foucault M. *Les mots et les choses*. Paris: Gallimard, 1966; Idem. *L'archéologie du savoir*. Paris: Gallimard, 1969; Bourdieu P. *The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason // Social Science Information*. 1975. Vol. 14. № 6. P. 19–47; Idem. *Homo Academicus*. Paris: Minuit, 1984; Latour B., Woolgar S. *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts*. London: Sage Publications, 1979.

¹⁵ Prost A. *Douze leçons sur l'histoire*. Paris: Seuil, 1996. P. 13. Пионером рассмотрения историографии как культурной практики был М. де Серто (Certeau M. de. *L'opé-*

другую дисциплину, исторически сложившимся комплексом правил поведения, естественно предположить, что в число интеллектуальных задач, которые ставят перед собой историки, вошли задачи самых различных типов, порожденные разными социокультурными контекстами, интеллектуальными традициями, условиями профессиональной деятельности и т. д., и что для решения этих задач исследователи мобилизуют различные ресурсы сознания. Умственная работа историка предстает как разнообразие интеллектуальных процедур, а результат этой работы — история — как гетерогенный ансамбль, включающий неразрывно связанные между собой элементы разного происхождения и, возможно, разного эпистемологического статуса.

Однако университетская метафора разума, в рамках которой единственно и уместен вопрос об интеллектуальной сущности истории, отсылает не только к образу аристотелевского космоса. Другая предпосылка этой метафоры состоит в том, что мир идеальных объектов мы, подобно древним, представляем по образу мира земного, проецируя на него структуру материальных вещей и социальных форм. Предполагая, что разум устроен по образу Университета, мы повторяем ход мысли первобытных людей, в воображении которых вселенная воспроизводила структуры родоплеменной организации¹⁶. На грани XIX—XX вв. осознание социальной укорененности интеллектуальных форм стало важнейшей предпосылкой возникновения социальных наук. Однако это осознание имело и побочный эффект — возможность распространения подобной логики на социальные науки. С тех пор если и встает вопрос о мышлении самих исследователей, то рассматривается оно исключительно как явление культурного порядка. Так понимали ситуацию все герменевтически ориентированные теории исторического познания.

На этом фоне кажется вполне естественной устойчивая зависимость современных интерпретаций истории от университетской метафоры (*metaphorisation historique*), но еще до него принципиально важные соображения на этот счет были высказаны М. Оукшотом, рассматривавшим историю как конструкт сознания историка, создаваемый им в соответствии с исторически сложившимся комплексом правил: «И хотя мы можем надеяться обнаружить специфические признаки практики историка, мы не станем искать ее необходимые и достаточные условия. Практика такова, какой она сложилась» (Oakeshott M. *The Activity of Being an Historian // Rationalism in Politics and Other Essays*. London: Methuen, 1967. P. 146, 152).

¹⁶ Durkheim E., Mauss M. *De quelques formes primitives de classification // L'Année Sociologique*. Vol. 6. 1901–1902. Paris, 1903. P. 1–72.

ры разума, опирающейся на представление о статусе мышления как социального явления или, в иной терминологии, как явления культуры.

Теория разума-культуры восходит к той же неокантианской традиции, от которой философия XX в. унаследовала проблему интеллектуальной самобытности истории. Именно неокантианцы трансформировали идею трансцендентального эго — предшествующую формулу объективного разума — в идею культуры, предложив средний путь между скомпрометированной метафизикой и натурализацией духа и тем самым устранив (как они считали) угрозу релятивизма, «анархии ценностей». В эпоху порожденного «сумерками богов» культурного пессимизма новое обоснование объективности разума имело импликацию, далеко выходящую за рамки теории познания. С точки зрения некоторых исследователей, речь шла об эпистемологической легитимизации проекта демократического общества, осуществление которого стало главным делом XX в.¹⁷ Но с момента, когда духу было присвоено имя культуры, а критика разума обернулась философией культуры¹⁸, стало естественным

¹⁷ Willey T. E. *Back to Kant: The Revival of Kantianism in German Social and Historical Thought, 1860–1914*. Detroit: Wayne State U. P., 1978. P. 103. Напротив, К. Х. Конке подчеркивал, что подобная характеристика находится в русле мифологии, созданной неокантианцами о самих себе, и обращал внимание на «антидемократические, антисоциалистические и глубоко монархические» настроения (в особенности баденских) неокантианцев (Köhnke K. C. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. S. 15, 427, 431). Точка зрения Конке, в свою очередь, следует мифологии, созданной о неокантианстве его противниками, и заставляет вспомнить Г. Лукача, подчеркивавшего вклад неокантианцев в грехопадение немецкой мысли «от Шеллинга до Гитлера» (Lukacs G. *Die Zerstörung der Vernunft: Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler*. Berlin: Aufbau-Verlag, 1955; среди героев книги Лукача — Дильтей, Зиммель, Риккерт, Вебер). Отметим, что такие расхождения в оценках отчасти связаны с традицией споров о неокантианстве, а отчасти — с гетерогенностью самого движения. Учили в своей характеристике неокантианства как провозвестника современного «государства всеобщего благоденствия» имел в виду прежде всего левых марбургских неокантианцев, Конке — более правых баденских, и к тому же после кризиса 1878 г. Применительно же к 1870-м гг. Конке подчеркивает тесную связь неокантианства с либерализмом («неокантианская философия и либеральная политическая мысль представляли собой неразрывное единство») и защитой буржуазных свобод, включая свободу совести и слова (Köhnke K. C. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus*. S. 321, 336, 345–346). Речь, таким образом, идет прежде всего об оценке либеральной традиции, без которой едва ли мыслима современная демократия, а причины столь различных оценок либерализма достаточно очевидны.

¹⁸ По словам Э. Кассирера, «критика разума становится критикой культуры» (Cassirer E. *The Philosophy of Symbolic Forms*. Vol. 1. New Haven: Yale U. P., 1957.

постулировать существование особой формы сознания, соответствующей каждому культурному явлению. В сущности, показать наличие определенного явления культуры в этой системе понятий и означало показать наличие особой формы сознания.

Конечно, тезис о социальной природе сознания был направлен социальными науками, идеологией нового общества, против религиозного мировоззрения старого мира. Но в образе разума-культуры узнаваемы черты Логоса.

Итак, мы склонны предполагать изоморфность Бытия, Разума и Университета. Это — одна из основных черт традиционного образа науки, важнейший источник ее легитимности, ее благородства. Едва ли не каждая академическая дисциплина стремится предстать логически последовательной системой знания, совершенной формой, отвечающей канону классической эстетики. Именно поэтому мы ищем основания наук в структурах разума, в нормальном случае не сомневаясь в осмысленности предприятия. Необычность положения истории — не в самом факте претензий на особый эпистемологический режим, но в силе и настойчивости этих претензий, что позволяет ей обосновывать свою идентичность на таком уровне, на который редко осмеливаются претендовать другие дисциплины.

Вернемся к Полю Рикеру, для которого своеобразие истории в «концерте наук о человеке» связано с тем, что в ней находит выражение человеческий опыт времени. Однако мы наберем не так уж много областей внутреннего опыта, сопоставимых по значению с опытом времени. Их список, по-видимому, будет исчерпан опытом пространства, так что нам придется выбирать: либо допустить, что остальные науки все вместе выражают наш пространственный опыт, что поставит нас перед большими трудностями при объяснении различий между науками, либо счесть опыт пространства интеллектуальной предпосылкой какой-либо одной науки, оставив все прочие без достойного обоснования. Вероятнее всего, мы изберем третий путь и отправимся на поиск исторических причин, сделавших возможными «особые права» истории.

История была едва ли не старейшей из наук, которые мы сегодня причисляем к социальным, и уже в XIX в., в период становления современности (Р. 80). В Виндельбанде характеризовал неокантианство как «философию культуры *par excellence*» (Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм // *Избранное: Дух и история*. М.: Юристъ, 1995. С. 14).

менного Университета и формирования основ дисциплинарной структуры современной науки, сумела завоевать исключительно прочные академические позиции¹⁹. К тому же именно в той стране, которая была лидером университетского развития и моделью для университетов других стран, в Германии, в других науках о человеке, и прежде всего юриспруденции, политической экономии и филологии, безраздельно господствовали исторические школы²⁰. Не случайно, что науки о духе, или о культуре, нередко назывались тогда науками историческими. Это создало истории — до известной степени — репутацию парадигматической науки о человеке, которая была поколеблена, но не полностью устранена, в результате развития лингвистики, семиологии, социологии и антропологии. Метод наук о человеке долго называли историческим методом, а философия, стремившаяся дать их эпистемологическое обоснование, формулировала свою задачу как критику исторического разума. История более, чем какая бы то ни было другая дисциплина, могла позволить себе претендовать на то, что эпистемологический режим наук о человеке и есть ее собственный эпистемологический режим. Поэтому долгое время обязанность доказывать свою методологическую независимость выпадала на долю других, позднее развившихся и позднее включившихся в «гонку легитимизаций» наук²¹. Иными словами, привычный для рассуждений об интеллектуальной идентичности истории кадр — это ее противопоставление естественным наукам или даже науке вообще, но

¹⁹ Keylor W. R. *Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1975; Weisz G. *The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914*. Princeton (N. J.): Princeton U. P., 1983; Ringer F. *Fields of Knowledge: French Academic Culture in Comparative Perspective, 1890–1920*. Cambridge; Paris: Cambridge U. P.; Maison des Sciences de l'Homme, 1992.

²⁰ «Философия и методология историзма пронизывали все науки о человеке и о культуре в Германии, так что лингвистика, филология, экономика, искусствознание, право, философия и теология стали исторически ориентированными областями знания» (Iggers G. G. *The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present*. Middletown (Connecticut): Wesleyan U. P., 1968. P. 4). Аналогичным образом во Франции конца XIX в., по словам А. Проста, «история служила методологической моделью для других дисциплин. Литературная критика стала историей литературы, а философия — историей философии» (Prost A. *Douze leçons sur l'histoire*. P. 37).

²¹ Классическим был, по-видимому, случай социологии, и именно он изучен особенно тщательно, но даже на долю политэкономии, имевшей к началу XX в. по крайней мере трехсотлетнюю историю, тоже выпало немало мьгтарств. Надолго затянулась также

отнодью не ее сравнение с другими науками как равной с равными. Именно в этом исключительном кадре развивались упомянутые выше споры об истории. Только поэтому и можно пытаться установить связь между историей и опытом времени, не задумываясь о том, достанет ли подобных сфер опыта на другие факультеты Университета.

Университетская метафора разума, очевидно абсурдная, если следовать ей систематически или хотя бы эксплицитно сформулировать ее, слишком часто остается имплицитным кадром эпистемологических размышлений. В результате срабатывает эффект наслоения интерпретаций: там, где столько интерпретаций, не может не быть и проблемы. Но проблема, на наш взгляд, заключается в выявлении не столько интеллектуальной самобытности истории, сколько причин, которые заставляют нас постулировать эту самобытность. Почему об исторически сложившихся

институционализация антропологии и географии. См.: Clark T. N. Emile Durkheim and the Institutionalization of Sociology in the French University System // *Archives européennes de sociologie*. 1968. Vol. 9. № 1. P. 37–71; Karady V. Durkheim, les sciences sociales et l'Université: bilan d'un semi-échec // *Revue française de sociologie*. 1976. Vol. 17. № 2. P. 267–311; Idem. Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la sociologie chez les durkheimiens // *Ibid.* 1979. Vol. 20. № 1. P. 49–82; Mucchielli L. *La découverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870–1914)*. Paris: La Découverte, 1998; Karady V. Naissance de l'ethnologie universitaire // *L'Arc*. 1972. Vol. 48. P. 33–40; Idem. Le problème de la légitimité dans l'organisation historique de l'ethnologie française // *Revue française de sociologie*. 1982. Vol. 23. № 1. P. 17–35; Idem. Durkheim et les débuts de l'ethnologie universitaire // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1988. № 74. P. 23–32; Le Van-Lemesle L. L'économie politique à la conquête d'une légitimité, 1896–1937 // *Ibid.* 1983. № 47–48. P. 113–117; Blanckaert C. Fondements disciplinaires de l'anthropologie française au XIXe siècle: Perspectives historiographiques // *Politix: Travaux de science politique*. 1995. Vol. 29. P. 31–54; Broc N. L'établissement de la géographie en France: Diffusion, institutions, projets (1870–1970) // *Annales de géographie*. 1974. № 459. P. 545–568. Ср. историю институционализации исторической науки: Engel J. Die deutschen Universitäten und die Geschichtswissenschaft // *Historische Zeitschrift*. 1959. Bd 1959. S. 223–378; Simon Chr. *Staat und Geschichtswissenschaft in Deutschland und Frankreich, 1871–1914: Situation und Werk von Geschichtswissenschaftlern an den Universitäten Berlin, München, Paris, Bern*. Frankfurt am Main; Paris: P. Lang, 1988. Bd 1–2; Noiriell G. *La «crise» de l'histoire*. Paris: Belin, 1986; Weber W. *Priester der Klio. Historisch — sozialwissenschaftliche Studien zur Herkunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der Geschichtswissenschaft, 1880–1970*. Frankfurt am Main; Bern; New York: P. Lang, 1984; Levine Ph. *The Amateur and the Professional. Antiquarians, Historians and Archaeologists in Victorian England, 1838–1886*. Cambridge; London; New York: Cambridge U. P., 1986.

науках с размытыми границами случайного происхождения, которые в принципе не в состоянии объяснить ни одна логически последовательная система критериев, мы продолжаем рассуждать так, как будто интеллектуальное единство дисциплины есть нечто само собой разумеющееся? «Определимо только то, что не имеет истории», — писал Ницше²². Может быть, в случае с историей, как и во многих других, единство имени подсказывает нам идею единства вещи? Наука как культурная практика, по словам М. Фуко, держится своими архивами. Наука как культурный образ, как наслоение интерпретаций держится своим именем.

Все это, естественно, не значит, что у истории нет вообще никакого своеобразия. Но не следует смешивать уровни: вопрос, не легитимный на уровне структур разума, вполне может быть поставлен на уровне культурных практик, того, что Жан-Клод Пассерон называет «дисциплинарными режимами». «Книгу по истории от книги по социологии мы отличаем так же легко, как бургундское от бордо», — пишет он²³. Делаем мы это, по-видимому, столь же интуитивно, как распознаем стили. В этом смысле профессия — прежде всего эстетический феномен. Конечно, у стиля не может не быть логических импликаций (и на некоторые из них нам придется обратить внимание), но в целом он — явление не логического порядка. Поэтому проблема профессионального стиля как культурной практики, вполне заслуживающая специального исследования, остается за рамками данной книги, посвященной прежде всего формам концептуального мышления. Их же совершенно бессмысленно обсуждать на уровне дисциплин. Для анализа структур мышления дисциплинарный кадр иррелевантен. Чтобы приблизиться к пониманию того, как историк конструирует свои объекты, гораздо целесообразнее отправляться от изучения отдельных интеллектуальных операций²⁴.

По существу, именно так поступает Поль Рикер. То, что он изучил, — это не «историографическая операция» *par excellence*, определяющая историчность истории, это один из типов интеллектуальных операций, к которым историк, равно как и любой другой исследователь,

²² Ницше Ф. *К генеалогии морали* // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 457.

²³ Passeron J.-C. *Le raisonnement sociologique*. Paris: Nathan, 1991. P. 66.

²⁴ По словам Д. Фишера, «каждый исторический проект представляет собой кластер составляющих его задач, каждая из которых предьявляет (историку. — Н. К.) свои собственные логические требования» (Fisher D. H. *Historians' Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought*. New York: Harper and Row, 1970. P. XVI).

прибегает по мере необходимости. Сколько всего имеется таких типов? Предположим, несколько тысяч. Этого вполне достаточно, чтобы затруднить их соотнесение с подразделениями Университета. Вместо того, чтобы рассуждать, какой из них ближе соответствует сущности исторически сложившегося комплекса культурных практик, объединяемых именем той или иной дисциплины, не естественнее ли посмотреть, как операции разных типов пересекаются в мысли исследователей, предполагая взаимодействие различных когнитивных механизмов?

Пусть опыт времени поэтически преобразуется операцией *mise-en-intrigue*. Но разве акт суждения, который, по Рикеру²⁵, позволяет схватить как единство хронологически упорядоченную серию эпизодов и извлечь из нее интригу, не имеет отношения к другим областям внутреннего опыта, например, к опыту пространства? «Мы мыслим чаще всего в пространстве», — писал Анри Бергсон²⁶. Надо ли думать, что это ментальное пространство «отправляется на каникулы», когда историк помещается за письменный стол? Впрочем, и время тоже мы часто концептуализируем в терминах пространства²⁷. Может быть, существуют такие сферы внутреннего опыта, где время и пространство теряют специфичность, растворяются, совпадают между собой или зависят от общих структур? Может быть, опыт времени, рассматриваемый как автономное единство, структурированное вокруг августиновского парадокса прерывности-непрерывности, есть культурный образ совершенно того же типа, что и обсуждаемый образ истории? Но тогда, устанавливая связь между временем и повествованием, Поль Рикер переходит не столько на другой уровень анализа, сколько от одного культурного образа к другому, избегая обращения к собственно интеллектуальным механизмам, к уровню собственно мышления, вопреки своему же методологическому требованию, согласно которому семантическая теория должна включать некоторые элементы психологии. Герменевтика «долгого пути», отстаиваемая Рикером²⁸, рискует никогда не привести «к самим вещам»,

²⁵ Характерно, что сам Рикер чувствует здесь близость своих рассуждений о пространственном кадре мышления к взглядам Канта (Ricoeur P. *Temps et récit*. Vol. 1. P. 103).

²⁶ Bergson H. *Essai sur les données immédiates de la conscience*. Paris: Presses Universitaires de France, 1991. P. VII.

²⁷ Ibid.; Guillaume G. *Principes de linguistique théorique*. Québec: Les Presses de l'Université Laval; Paris: Klincksieck, 1973. P. 11; Jackendoff R. *Semantic and Cognition*. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1983. P. 189.

²⁸ Ricoeur P. *Le conflit des interprétations*. Paris: Seuil, 1969. P. 10.

поскольку она остается философией культуры — как, впрочем, и неокантианство. И уж во всяком случае ее совершенно не интересует мышление. Именно поэтому Рикер столь легко заимствует кадр анализа истории, к которому нас приучила неокантианская эпистемология.

Книга Поля Рикера представляется нам в высшей степени показательной. Даже самое глубокое исследование исторического разума, пытающееся преодолеть ограничения чисто лингвистического анализа истории, не достигает цели, ибо принимает некоторые базовые установки парадигмы наук о человеке XX в. — концепцию разума-культуры. Эта концепция существенно затрудняет изучение мышления в целом, поскольку подлежащая ей дихотомия природы и культуры, переформулированная как дихотомия естественных и гуманитарных наук, искусственно разделяет то, что нераздельно в человеке. На исследование структур разума, проявляющихся в конструировании объектов познания, она налагает крайне жесткие ограничения, поскольку стремление преодолеть дуализм как эпистемологический принцип затрудняет изучение того, как фактически функционирует дуалистический кадр в мышлении, в частности, научном.

Стремление преодолеть дуалистический кадр, в рамках которого казалось невозможным обосновать объективность познания, было общим движением мысли конца XIX в. Именно в рамках этого движения получил завершение проект современных социальных наук. Социальные науки повторили опыт гегелевского преодоления кантовского дуализма. Между тем, дуалистический кадр размышлений вряд ли устраним, поскольку позиция трансцендентального наблюдателя — одна из свойств нашего разуму форм полагания мира. Поэтому реальный эффект концепции разума-культуры состоит в том, что изгоняемый «монистическим» дискурсом о социальной природе мышления дуалистический кадр возвращается в интеллектуальную практику истории в виде имплицитного позитивизма²⁹. Говоря о том, что в науках о человеке культура познает культуру, мы фактически закрываем возможность сколько-нибудь систематической критики исторического разума. В этом смысле герменевтика выступает как философия интеллектуального всепрощения, естественно дополняющая стихийный позитивизм социальных наук.

²⁹ Копосов Н. Е. Дюркгейм и кризис социальных наук // *Социол. журн.* 1998. № 1–2. С. 63.

Такая ситуация связана с глубоко нормативным характером традиционного эпистемологического дискурса — неизбежным следствием его базовой легитимизационной функции. Иначе и быть не может до тех пор, пока наука остается для нас непререкаемой ценностью. В конечном итоге речь идет о смене установки. Вместо того, чтобы пытаться понять, как возможно объективное познание прошлого, как историки познают, можно спросить себя, как они думают, безотносительно к тому, насколько ценны плоды их размышлений³⁰. При этом, конечно, меняется то, как мы понимаем знание. В традиционной эпистемологии знание есть некоторый идеальный объект, по отношению к которому определяется совершенство или несовершенство той или иной системы представлений. Именно в этом контексте имеет смысл проблема объективности познания, в том числе и исторического. Современная эпистемология склоняется к иной постановке вопроса — как можно описать то, что мы называем знанием³¹. Но тогда вместо того, чтобы спорить, объективно ли наше знание, мы можем спросить себя, почему мы столь озабочены этим вопросом и каковы логические, психологические, культурные условия, сделавшие возможной самую проблему объективности. Хорошо известны по крайней мере некоторые элементы ответа на этот вопрос³². Если, следуя этому подходу, мы вынесем за скобки вопрос о соотношении исторических построений с идеальным нормативом, то получим вопрос о том, как думают историки. Иными словами, базовой установкой для нас является безразличие к проблеме объективности. Для последовательного критцизма наука должна перестать быть ценностью.

По-видимому, сегодня пересмотр концепции разума-культуры поставлен в порядок дня внутренним развитием наук о человеке. На наш взгляд, именно с тем фактом, что к 1980-м гг. выявились тупики, к которым неизбежно приводит эта теория, в значительной мере связан

³⁰ Ср. противоположную постановку вопроса Р. Дж. Коллингвудом: «Там, где психолог спрашивает себя: «Как историки мыслят?», — философ задает себе вопрос: «Как историки познают?»» (Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории: Автобиография*. М.: Наука, 1980. С. 6).

³¹ Gettier E. L. Is Justified True Belief Knowledge? // *Analysis*. 1963. Vol. 23. № 6. P. 121–123; Edidin A. What Epistemologist Has to Do? // *American Philosophical Quarterly*. 1994. Vol. 31. № 4. P. 285–287.

³² Foucault M. *L'archéologie...*; Rorty R. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Oxford: B. Blackwell, 1980.

переживаемый сейчас социальными науками интеллектуальный кризис. Обе основные версии концепции разума-культуры, к которым пришли сегодня науки о человеке, когнитивизм и деконструктивизм, интерпретируют сознание как замкнутую вселенную символов, соотносимость которых с внешним миром остается проблематичной³³. Таким образом, задача доказательства объективности познания в рамках парадигмы социальных наук оказалась не более выполнимой, чем в отвергнутом ею трансцендентальном идеализме. Между тем, именно ввиду доказательства объективности познания была сконструирована эта парадигма. Поэтому сегодняшней кризис социальных наук есть прежде всего кризис концепции разума, подлежащей упомянутым наукам.

Угрозу исчезновения мира в результате неразрешимости проблем референциальной семантики чаще всего пытаются отвести с помощью умеренных версий прагматически ориентированного объективистского дискурса. Характерна мода на идею контекстуализации — ведь именно контекст «отвечает» за связь дискурса с миром. Такой подход при всей его очевидной обоснованности упускает из виду логическую сторону дела: мир с необходимостью предполагает субъекта. Именно атаки на концепцию субъекта, в которой отцы-основатели социальных наук видели угрозу для объективности научного познания и, следовательно, угрозу возрождения религии, обрекли мир на исчезновение. Соответственно, возвращение субъекта является фундаментальным условием возвращения мира. Но возвращение субъекта требует такой концепции разума, которая не будет целиком сводить разум к культуре. В свою очередь, такая концепция мыслима только при условии «вынесения за скобки» проблемы объективности познания и перехода от прескриптивной к дескриптивной эпистемологии. А это предполагает необходимость поиска такой социальной системы, которая не будет основываться на отождествлении власти и знания.

Одна из важных современных попыток вырваться из «замкнутой вселенной символов» связана с реабилитацией тела как носителя разума. Речь идет о концепциях «воплощенного разума», распространившихся в 70–80-е гг. XX в. в когнитивных науках и пытающихся найти свое философское пристанище в феноменологии, прежде всего — в наследии

³³ Копосов Н. Е. Замкнутая вселенная символов: К истории лингвистической парадигмы // *Социол. журн.* 1997. № 4. С. 33–47.

М. Мерло-Понти³⁴. Несмотря на то, что это течение разделяет, как мы увидим, некоторые предпосылки лингвистической модели разума, целый ряд положенных в его основу интуиций представляет чрезвычайный интерес в перспективе нашего исследования. И прежде всего — обнаруживая ограничения концепции разума-культуры, теория воплощенного разума резко расширяет территорию, где можно искать новую концепцию разума.

Подведем итоги сказанному. Между дисциплинарным кадром анализа мышления и интерпретацией его как факта культуры существует несомненная связь. Мы обречены оставаться в мире культурных образов до тех пор, пока будем рассуждать о мышлении на уровне академических дисциплин. Только избрав отправным пунктом отдельную интеллектуальную операцию, мы окажемся в состоянии от анализа истории как культурного образа перейти к анализу того, как думают историки. Именно таким будет наш демарш в предлагаемой работе.

Конечно, история дана нам прежде всего (хотя и не исключительно) в лингвистической форме, и для ее понимания необходимо пройти через уровень лингвистического анализа. Однако изучение языковых механизмов, как это нередко показывают исследования приверженцев лингвистического поворота, на каждом шагу ведет нас за пределы языка, обнаруживая взаимодействие лингвистических и нелингвистических механизмов. Поэтому, отправляясь от конкретной интеллектуальной операции, мы сосредоточим внимание на том, как разные типы механизмов взаимодействуют в конструировании исторических объектов.

Интеллектуальная операция, которая будет в центре внимания в предлагаемой работе, — это описание социальной стратификации. Мы сознательно выбрали операцию, в какой-то мере полярную *mise-en-in-*

³⁴ «Согласно традиционной точки зрения, разум абстрактен и бестелесен, согласно новой точки зрения, он имеет телесное основание. Традиционный взгляд рассматривает разум как лингвистический, как функционирующий в форме пропозиций, которые могут быть объективно истинными или ложными. Новый взгляд представляет связанные с воображением аспекты разума — метафору, метонимию, ментальное воображение — как центральные для разума, а не как периферийный и не имеющий особого значения придаток лингвистического модуля» (Lakoff G. *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1987. P. XI). См. также: Johnson M. *The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1987; Dreyfus H. *What Computers Can't Do*. New York: Harper and Row, 1972; Varela F., Thompson E., Rosch E. *L'Inscription corporelle de l'esprit*. Paris: Seuil, 1993.

trigue как воплощение синхронии — воплощению диахронии. Конечно, можно сказать, что, не повествуя, историк выступает не в качестве историка. Но чему служит подобный формализм? Не правильнее ли считать, что, занимаясь историей, историк мобилизует, в зависимости от конкретных исследовательских задач, различные механизмы сознания и элементы внутреннего опыта?

В практике современной историографии социальные группы выступают в качестве важнейших актеров, в качестве «персонажей первого порядка», если воспользоваться словами Поля Рикера, который именно в антропоморфизации таких центральных персонажей видит один из важнейших аспектов повествовательной идентичности истории³⁵. Безусловно, логика диахронического развития интриги между антропоморфизированными социальными группами имеет свои механизмы. Но чтобы привести своих героев в действие, историк должен сконструировать их. Конечно, конструируя, он не может не учитывать логику интриги, в которую будут вовлечены его герои, перспективу рассказа о событиях, в которых они будут участвовать. Но и интригу не понять без отсылки к статическому кадру. Всякая интрига предполагает диспозитив. Если он не разъясняется подробно с самого начала (а это — обычная практика), то предполагается, что он известен читателю. Если нет, читатель должен сам восстанавливать его по ходу развертывания интриги. Синхрония и диахрония неразрывно связаны в мышлении — и в его произведениях.

В отличие от теории исторического повествования, теория исторического описания разработана слабо. Даже в тех редких случаях, когда историческое описание привлекает специальный интерес, оно обычно рассматривается как подчиненная повествованию процедура. Примером здесь могут служить размышления Райнхарта Козеллека³⁶. В отличие от Рикера, усматривающего суть истории в нашей способности извлекать интригу из хронологически упорядоченной серии эпизодов, Козеллек устанавливает корреляцию между различными историческими темпоральностями и различными дискурсивными режимами, используемыми историками. События, происходящие в краткой протяженности, скорее рассказываются, структуры же, мыслимые в длительной протяженнос-

³⁵ Ricoeur P. *Temps et récit*. Vol. 1. P. 255.

³⁶ Koselleck R. *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. S. 105–115.

ти, скорее описываются. Между описанием и повествованием нет ни абсолютной границы, ни абсолютной проницаемости. Чем более устойчивы структуры, тем более их лингвистическая репрезентация зависит от дескриптивных механизмов и от пространственного референциального кадра (а не от временного, в котором осуществляется повествование), ибо они мыслятся в статической форме. Тем не менее, по Козеллеку, для которого сущностью истории остается время, описание даже самых устойчивых структур в конечном итоге вписывается в дискурсивную форму, зависящую от логики исторического повествования и от временного референциального кадра.

Нам представляется, что предположение о том, будто между описанием и повествованием в истории существуют отношения иерархической включенности, слишком напоминает поиск базовой историографической операции. Гораздо осторожнее исходить из гипотезы об их взаимодополняемости и взаимодействии. Но в остальном анализ Козеллека кажется вполне убедительным. Впрочем, он еще не объясняет, каковы собственно лингвистические механизмы исторического описания. Козеллек упоминает только об одном механизме, далеко выходящем за границы собственно лингвистической сферы, а именно, о пространственном референциальном кадре. Даже если он прав, в его рассуждениях упущено логическое звено, и параллель с концепцией Рикера позволяет это прояснить. Если опыт времени, поэтически преображаемый повествованием, принадлежит к тому же порядку явлений, что и пространственный референциальный кадр, то в чем состоят описательные механизмы, параллельные операции *mise-en-intrigue*? И повествование, и описание, по-видимому, следует интерпретировать как взаимодействие лингвистических и экстралингвистических механизмов.

* * *

Среди внеязыковых механизмов мышления нас прежде всего интересует пространственное воображение, на взаимодействие которого с языком в конструировании истории мы уже имели случай обратить внимание.

Пространственное воображение — тема столь же классическая, сколь и сомнительная для психологии мыслительных процессов. В период зарождения экспериментальной психологии во второй половине XIX в. опиравшееся на традиции эмпирической философии ассоцианистское

течение рассматривало мышление как процесс, основанный на более или менее произвольных ассоциациях ментальных образов (прежде всего визуальных), отражавших вещи и положения вещей во внешнем мире³⁷. На грани XIX—XX вв. эти представления были отвергнуты целым рядом течений мысли, начиная от феноменологии, символической логики и семиологии и кончая бихевиоризмом. В той или иной форме все они развивали представление о мышлении как о квазилингвистическом явлении, иными словами, как об оперировании с символами, чувственная природа которых безразлична для их значения. Такое совпадение позиций столь различных течений не было случайным: оно свидетельствовало о рождении той «лингвистической парадигмы», которая стала одной из теоретических основ социальных наук XX в. Изгнание бихевиористами интроспекции как сугубо ненаучного метода, в котором «психология как чисто экспериментальная область естественных наук нуждается не больше, чем химия или физика»³⁸, позволило им отрицать феноменологически, казалось бы, очевидную причастность образов к мышлению.

На протяжении полувекового периода господства бихевиоризма в психологии изучение воображения оказалось вытесненным на периферию научных исследований³⁹. Когда же в 1950—1960-е гг. после воз-

³⁷ Философские аспекты ассоцианизма были разработаны прежде всего И. Тэнном (Taine H. *De l'intelligence*. Paris: Hachette, 1870). Среди эмпирических психологических исследований укажем: Galton F. *Inquiries into Human Faculty and its Development*. London, 1883; Titchener E.B. *Lectures on the Experimental Psychology of the Thought Processes*. New York, 1909.

³⁸ Watson J. B. *Behavior: An Introduction to Comparative Psychology*. New York, 1914. P. 9. О зависимости исследований по ментальному воображению от интроспекции Ф. Барлетт не без иронии замечал: «Каждому известно, что едва в кругах психологов начинается дискуссия об образах, она очень быстро превращается в серию автобиографических признаний» (Bartlett F. C. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge U. P., 1932. P. 217).

³⁹ Им занимались пусть и значительные, но всегда остававшиеся вне пределов *mainstream* исследователи, такие, как гештальт-психологи, Ж. Пиаже или Ф. Барлетт. См.: Wertheimer M. *Productive Thinking*. London: Tavistock, 1959; Koehler W. *The Task of Gestalt-Psychology*. Princeton: Princeton U. P., 1969; Bartlett F. C. *Remembering...*; Piaget J., Inhelder B. *L'Image mentale chez l'enfant*. Paris: Presses Universitaires de France, 1963. Критика концепции ментального воображения рядом философов, причем самых различных направлений, в 1930—1940-е гг. со своей стороны легитимизировала изгнание образов из психологии. См.: Ryle G. *The Concept of Mind*. London: Hutchinson, 1949; Sartre J.-P. *L'Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l'imagination*. Paris:

рождения ментализма в ходе когнитивной революции «подвергнутое остракизму» воображение было возвращено в психологию⁴⁰, новые концепции воображения (получившие название имажинизма) лишь частично воспринимались как альтернатива бихевиоризму, а частично — как его развитие и усовершенствование⁴¹.

Главным неоменталистским течением на многие десятилетия стал когнитивизм или пропозиционизм, приписывавший мышлению форму логических пропозиций (типа пропозиций символической логики). Здесь сказались традиции доминировавшего в англоязычной философии логического позитивизма. Как и логический позитивизм, когнитивизм отождествлял мышление с познанием, так что именно идеальный образ позитивной науки подсказывал исследователям гипотезы о том, как функционирует мышление⁴². К тому же важнейшим фактором неоменталистской революции было изобретение компьютера, повлекшее за собой возникновение компьютерной модели разума, которая неизбежно предполагала гипотезу особого уровня символических вычислений. Но в условиях, когда мышление сводилось к оперированию с символами, было естественно

Gallimard, 1940. Анализ их взглядов см.: Hannay A. *Mental Images: A Defence*. London; New York: Allen and Unwin: Humanities Press, 1971.

⁴⁰ Holt R. R. Imagery: The Return of the Ostracized // *American Psychologist*. 1964. Vol. 19. P. 154–264. О когнитивной революции 1950-х гг. см.: Gardner H. *The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution*. New York: Basic Books, 1985.

⁴¹ Так, Эл Пэйвио, сыгравший центральную роль в возрождении исследований по ментальному воображению, характеризовал свою программу как синтез добихевиористского (т. е. ассоционистского) подхода к сознанию с бихевиоризмом и рассматривал ментальные образы и слова как две основные психологические реакции соответственно на объекты внешнего мира и вербальные стимулы (Paivio A. *Imagery and Verbal Processes*. Hillsdale (N. J.): L. Erlbaum, 1971. P. III, 84).

⁴² Конечно, когнитивисты подчеркивали отличие этого «языка мысли» от обычного словесного языка, но тем не менее лингвистическая аналогия оставалась фундаментальной чертой их подхода к разуму. Отсылка к аналогии между мышлением и знанием как к решающему доводу иногда появляется в рассуждениях теоретиков когнитивизма. Так, Джерри Фодор пишет: «Структура доказательства (лингвистической природы мышления. — Н. К.) такова: если роль образов в системе репрезентаций аналогична роли слов в естественном языке, то иметь мысль не может означать просто представлять себе образ. Ведь мысли — это то, что может быть истинным или ложным. Поэтому они выражаются в предложениях, а не в словах» (Fodor J. A. *The Language of Thought*. Hassocks: The Harvester Press, 1976. P. 179). Обратим внимание в этой цитате также на другой основополагающий для доказательства момент: приравнивание образов к словам.

рассматривать образы как его эпифеномены, форма которых иррелевантна для его содержания. В итоге, несмотря на частичную реабилитацию интроспекции, над ментальными образами продолжало тяготеть подозрение в психологической нереальности. Неудивительно, что сторонники новых концепций ментального воображения прежде всего стремились доказать как психологам-бихевиористам, так и лингвистам-менталистам психологическую реальность образов, пусть хотя бы самых элементарных⁴³. Интерес к простейшим образам, прежде всего — к образам вещей, диктовался, с одной стороны, профессиональными канонами экспериментальной психологии, которая отдавала предпочтение изучению элементарных и изолированных актов и поведения, и сознания, а с другой стороны, влиянием логического позитивизма, также обсуждавшего проблему семантических структур имен прежде всего на примере имен собственных, аналогичных образам конкретных объектов. Однако упрощения такого рода скорее препятствуют изучению мышления. Для того же, чтобы обратиться к анализу более сложных форм воображения, которые ускользают от эксперимента, следовало переосмыслить интеллектуальный проект психологии, стремящейся быть экспериментальной наукой. Не удивительно, что имажинизм с самого начала был обречен на поиск компромисса с когнитивизмом и имел мало шансов выработать такую модель сознания, которая могла бы противостоять когнитивистской парадигме. Имажинисты не осмеливались пойти дальше теории «двойного кодирования» (лингвистического и визуального) перцептов в памяти⁴⁴. Но такой подход оставлял открытым вопрос о том, по каким правилам происходит взаимодействие в мышлении по-разному кодированных пер-

⁴³ Классическим примером являются, пожалуй, исследования о «ментальной ротации» геометрических фигур, которые доставили имажинизму его наиболее убедительные — но вместе с тем самоубийственные — аргументы (Shepard R. N., Cooper L. A. *Mental Images and Their Transformations*. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1982).

⁴⁴ Э. Пэйвйо рассматривал «образы и вербальные процессы» как «альтернативные кодирующие системы или способы символической репрезентации» (Paivio A. *Imagery*. P. 8). См. также: Kosslyn S. M. *Image and Mind*. Cambridge (Mass.); London: Harvard U. P., 1980. В этой работе поставлен вопрос о глубинных структурах воображения, параллельных глубинным грамматическим структурам языкового модуля, однако это в каком-то смысле работало против имажинизма: гораздо проще представить себе, как в логические пропозиции перекодируются не чувственные образы, но геометрические фигуры.

цептов. Ничто не мешало ответить: по правилам символической логики⁴⁵. Именно такой ответ и был предложен с помощью теории модулярности мышления, согласно которой кодирование информации происходит в разных формах (в том числе и образной) на уровне непосредственно связанных с перцепцией «локальных процессов», но функционирование «центральных процессов», имплицитно отождествляемых с собственно мышлением, осуществляется исключительно в символической форме⁴⁶. Концепция модулярности в 1980-е гг. привела к триумфу пропозиционизма и падению интереса к ментальному воображению. Имажинизм не смог поколебать господство лингвистической парадигмы⁴⁷.

Существуют, однако, и другие направления мысли, пусть остающиеся сравнительно маргинальными в рамках современных наук о человеке, но тем не менее создающие опору для иного подхода к роли воображения в мышлении, в том числе и в мышлении историческом, и позволяющие представить, какой должна быть концепция разума для того, чтобы можно было считать образы носителями мысли. Такие исследования уже имеют дело с более сложными образами, работающими на глубинных уровнях сознания и ответственными за самое содержание наших репрезентаций и за логику мышления.

С одной стороны, гипотеза о многообразии форм мысли находит опору в некоторых оппозиционных когнитивизму направлениях когнитивных наук. В частности, получившие развитие в последние два десятилетия коннекционистские теории, плодом которых является модель мышления как «параллельно распределенных процессов»⁴⁸, создают логическую рамку для понимания образов уже не как эпифеномена, но как самостоятельной формы мышления. Коннекционизм опирается на не-

⁴⁵ Pylychyn Z. W. What the Mind's Eye Tells the Mind's Brain: A Critique of Mental Imagery // *Psychological Bulletin*. 1973. Vol. 80. P. 1–24.

⁴⁶ Fodor J. *The Modularity of Mind*. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1983.

⁴⁷ Ср. анализ кризиса имажинистского движения: Yuille J. C. The Crisis in Theories of Mental Imagery // *Imagery, Memory and Cognition: Essays in Honor of Allan Paivio* / Ed. by J. C. Yuille. Hillsdale (N. J.); London: L. Erlbaum, 1983. P. 263–284.

⁴⁸ Имеется в виду распределенных между разными областями головного мозга и разными формами мысли (McClelland J. L., Rumelhart D. E. *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. Cambridge (Mass.): Brandford Books: The MIT Press, 1986). См. также: *Introduction aux sciences cognitives* / Pub. par D. Andler. Paris: Callimard, 1992.

сколько иную конфигурацию дисциплинарных альянсов в рамках когнитивных наук, и прежде всего на данные биологии (для традиционного когнитивизма такой базовой дисциплиной была наука о компьютерах). В физиологии мозга в последние десятилетия получило распространение представление о мышлении как о взаимодействии различных форм мысли, не оставляющее места для информационно закрытых модулей когнитивистов. Нейрофизиологические данные позволяют приписать различные когнитивные функции разным полушариям головного мозга (левому — логические, аналитические, лингвистические операции, правому — воображение и синтез). При этом предполагается, будто электрические токи, проходящие через мозг и активирующие участок коры мозга, «ответственный» за проведение данной конкретной операции, возбуждают до известной степени и другие участки коры, так что мышление производится параллельно в районах мозга, ответственных за разные когнитивные функции⁴⁹. Естественно предположить, что это приводит к отражению одних форм мысли в других.

С другой стороны, центральная роль образов в мышлении подчеркивается в ряде исследований по лингвистике, литературной критике и искусствоведению. Теория метафоры как важнейшего когнитивного инструмента занимает центральное место в этих теориях⁵⁰. Метафора рассматривается здесь как далеко превосходящая чисто декоративную функцию языковая форма, как структурирующий мышление лингвистический механизм, в котором находит выражение внеязыковой опыт⁵¹. Далее, иногда говорят о структурировании мира в терминах базовых областей опыта, так что метафоричность мышления, позволяющая объяснить проецирование форм одних областей опыта на другие, выглядит

⁴⁹ Иванов В. В. *Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем*. М., 1978; Downs R. M., Stea D. *Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping*. New York: Harper and Row, 1977. P. 175–180; Gazzaniga M. S. One Brain — Two Minds? // *American Scientist*. 1972. Vol. 60. P. 311–317.

⁵⁰ Несмотря на то, что существует тенденция замкнуть анализ метафор в чисто лингвистических рамках, есть и тенденция расширить этот анализ (Ricoeur P. *La métaphore vive*. Paris: Seuil, 1975).

⁵¹ Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live by*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1980. Характерно, что эти авторы подчеркивают роль пространственных метафор для формулировки наиболее базовых понятий и тот факт, что в метафорах сливаются воедино физический и культурный опыт (*Ibid.* P. 17, 19).

фундаментальным свойством сознания. Пространству здесь неизбежно отводится особое место⁵².

Со своей стороны структуралистские литературные критики показали наличие некоторых параллелей между формальной организацией повествования и структурой базовых областей опыта. В частности, они говорили об отражении пространственного опыта в построении текста и подчеркивали тенденцию к «спасиализации» художественного мышления в литературе модернизма⁵³. По-видимому, формальная организация повествования наряду с метафорой выступает механизмом трансляции пространственного опыта в тексты. Более того, опыт пространства многие вообще считают основой языка. В одних и тех же словах эту мысль сформулировали Мишель Фуко и Жерар Женет: «Язык соткан из пространства»⁵⁴. Но это значит, что сам язык способствует спасиализации реальности в нашем воображении⁵⁵, что делает совершенно естественным анализ взаимосвязи пространственных паралогики и других лингвистических механизмов.

Наконец, в искусствоведении можно найти аргументы в пользу гипотезы о важной роли пространства для мышления, несмотря на то, что лингвистическая парадигма сказала и здесь. После Э. Пановски, применившего лингвистическую аналогию к анализу произведений искусства⁵⁶, Э. Гомбрих и Н. Гудман рассматривали образ как означаю-

⁵² Jackendoff R. *Semantic and Cognition*. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1983. P. 188–189, 209–210.

⁵³ Frank J. *Spatial Form in Modern Literature // The Widening Gyre: Crisis and Mastery in Modern Literature*. New Brunswick: Rutgers U. P., 1963. P. 3–62; *Spatial Form in Narrative* / Ed. by J. R. Smitten, A. Daghistany. Ithaca; London: Cornell U. P., 1981; Kermode F. *The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction*. New York: Oxford U. P., 1967; Genette G. *Espace et langage // Figures I*. Paris: Seuil, 1966; Idem. *La littérature et l'espace // Figures II*. Paris: Seuil, 1969.

⁵⁴ Foucault M. *Le langage de l'espace // Dits et écrits*. Vol. 1. Paris: Gallimard, 1994. P. 411; Genette G. *Espace et langage*. P. 107.

⁵⁵ «Наш интеллект более всего приспособлен к тому, чтобы иметь дело с пространством, и с особой легкостью движется в этом медиуме, так что и сам язык спасиализируется, и в той мере, в какой реальность репрезентируется языком, реальность имеет тенденцию быть спасиализированной» (Urban W. M. *Language and Reality: The Philosophy of Language and the Principles of Symbolization*. London: Allen and Unwin, 1939. P. 186).

⁵⁶ Panofsky E. *Meaning in the Visual Arts*. Harmondsworth: Penguin Books, 1970.

щее, таким же образом, как и слово, связанное с означаемым⁵⁷. Это повлекло за собой недооценку чисто фигуративного аспекта визуального языка и его роли для конституирования значения произведений искусства и в итоге обрекло на неуспех многие попытки создать семиологию визуальных языков, исходившие из слишком непосредственно понятой лингвистической аналогии и недооценивавшие семиологические ресурсы фигурации⁵⁸. Тем не менее в искусствоведении сохраняются тенденции к пониманию роли визуального языка как самостоятельного кода, не полностью переводимого в лингвистический⁵⁹. Есть точка зрения, что глубинные структуры мысли фигуративны⁶⁰, и она неплохо дополняет упомянутые выше исследования о метафорах. Некоторые психологи также считают визуальный язык наиболее фундаментальным кодом внутренних репрезентаций, от которого лишь на позднем этапе эволюции отделился развившийся на его основе звуковой язык⁶¹.

⁵⁷ «Фраза “язык искусства” — нечто большее, чем неопределенная метафора... Этот вывод скорее приходит в противоречие с традиционным разграничением... между произносимыми словами, которые являются условными знаками, и живописью, которая использует “естественные” знаки для “воспроизведения” реальности... Все искусство берет начало в человеческом разуме, в нашем отношении к миру, а не в самом по себе видимом мире, и именно поэтому все искусство концептуально» (Gombrich E. H. *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. London: Phaidon, 1962. P. 76; Goodman N. *Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols*. London: Oxford U. P., 1969).

⁵⁸ Ряд таких попыток совпал по времени с исследованиями по ментальному воображению в психологии и потерпел неуспех в связи со своей зависимостью от лингвистической аналогии точно так же, как имажинизм (Saint-Martin F. *Semiotics of Visual Language*. Bloomington; Indianapolis: Indiana U. P., 1990. P. X–XI).

⁵⁹ Так, Пьер Франкастель говорил об особой «пластической мысли», проявляющейся в «пластических» или «фигуративных» языках: «Существует пластическое мышление... Оно наряду с вербальным и математическим мышлением является одной из трех могущественных сил человеческого ума» (Francastel P. *Etudes de sociologie de l'art*. Paris: Denoël/Gonthier, 1970. P. 47).

⁶⁰ «Мышление... работает в более подходящем (чем язык. — Н. К.) медиуме, таком, как визуальное воображение. Визуальный медиум имеет колоссальное превосходство, поскольку он дает структурные эквиваленты всех предметов, событий и отношений» (Arnheim R. *Visual Thinking*. London, 1970. P. 231).

⁶¹ «Мы предполагаем, что глубинные языковые структуры Хомского опираются на систему правил, следуя которым мозг упорядочивает ретинные формы в терминах объектов... Глубинные структуры языка происходят из организации визуальных форм» (Gregory R. L. *The Grammar of Vision // Concepts and Mechanisms of Perception*. London: Duckworth, 1974. P. 628–629).

В свете указанных исследований выглядит уместной гипотеза о том, что воображение является самостоятельным модулем мышления, сопоставимым по значению со словесной мыслью, но выполняющим другие функции. Эта гипотеза позволяет вернуть воображению, и прежде всего пространственному, место в «центральных процессах» мышления. Во всяком случае очевидно, что в языке выражается внеязыковой опыт, и именно он зачастую является конституирующим элементом значения. Некоторые наши понятия до такой степени несут в себе отпечаток пространственного модуля, что для них можно констатировать равноправие разных форм мышления.

Конечно, для того чтобы имело смысл говорить о роли образов в мышлении, следует отказаться от того понимания образа, которое и в когнитивной психологии, и в философии, и в искусствоведении позволяло приравнивать его к знаку, иными словами, от аналогии образа, слова и индивидуального объекта. Для мышления гораздо более значимы образы, в которых фигуративно репрезентируются логические отношения. Среди образов, репрезентирующих логические отношения, пространственные занимают особое место. Иногда считают, что именно пространство является идеальным медиумом для репрезентации логических отношений. Образ как сугубо фигуративный способ внутренних репрезентаций часто противопоставляют предикативному логическому мышлению⁶². Нам, однако, такое разграничение не кажется основательным, поскольку фигурация в состоянии предопределять предикацию, что можно считать одним из проявлений принципа *predicatum inest subiecto* — не говоря уже о таких образах, которые структурно схватывают интригу, т. е. представляют в виде схемы определенную предикацию. Эта способность и делает воображение одной из базовых форм мышления. Именно выражающие логические отношения образы, о конкретных формах и роли которых в исторических трудах известно так мало, мы предполагаем изучить в данной работе.

Наш подход к трактовке воображения историков основан на представлении об экспрессивной сущности трудов человеческих, в том числе и науки, которая гораздо более выражает тотальный человеческий опыт,

⁶² Так, Мишель Дени пишет: «Образ непредикативен» (Denis M. *Image et cognition*. Paris: Presses Universitaires de France, 1989. P. 11).

нежели отражает внешний мир⁶³. Наука является одной из символических форм, благодаря которым мир дан нашему разуму, форм, порожденных практической деятельностью в мире и мобилизующих многообразие нашего опыта и ресурсов сознания. Поэтому никакая наука не может быть только системой логических пропозиций. Она неизбежно является более сложной ментальной конструкцией, основанной на взаимодействии разных форм мысли. В частности, любая научная теория сопровождается сложной системой воображения, ибо мобилизует метафоры и образы, опирающиеся на разные области внутреннего опыта⁶⁴. Все это многообразие форм мысли сказывается на научных понятиях, которые мобилизуют в нас, наряду с другими элементами коллективной памяти дисциплины, настрой на использование определенных паралогических механизмов. Между научными парадигмами и системами пространственного воображения существует, по-видимому, достаточно жесткая связь, так что пространственные образы могут считаться невысказанной — или метафорически высказанной — частью научных теорий и понятий, зачастую настолько важной частью, что без мобилизации определенного типа пространственного воображения эти теории и понятия бесповоротно теряют в убедительности⁶⁵.

⁶³ По словам И. Мейерсона, «в творениях человеческих объективируется и на них проецируется вся человеческая природа» (Meyerson I. *Les fonctions psychologiques et les oeuvres*. Paris: Vrin, 1948. P. 69).

⁶⁴ «Каждая хорошо развитая теория включает образы... Когда ученые придерживаются теории, они вместе с ней придерживаются определенного способа воображения» (Miller A. I. *Imagery and Scientific Thought: Creating Twentieth-Century Physics*. Boston; Basel; Stuttgart: Birkhuser, 1984. P. 310, 312). См. также: Holton G. *The Scientific Imagination: Case Studies*. Cambridge; London; New York: Cambridge U. P., 1978; Genter D., Genter D. R. *Flowing Waters and Teeming Crowds: Mental Models of Electricity // Mental Models / Ed. by D. Genter, A. L. Stevens*. Hillsdale (N. J.); London: L. Erlbaum, 1983. P. 99–129.

⁶⁵ Пространство может выступать не только имплицитным логическим референциальным кадром, но и осознанным источником логических интуиций. Так, Рене Том пишет: «То, что по сути дела подрывает в наших глазах старые спекулятивные теории, это не их качественный характер сам по себе, но непоправимо наивный и неопределенный характер используемых ими образов. В самом деле, все предлагаемые ими схемы ... основываются на интуиции твердого тела в трехмерном евклидовом пространстве... Но можно задаться вопросом, нельзя ли с помощью оттачивания нашей геометрической интуиции снабдить научный разум запасом более тонких образов и схем, которые могли бы послужить удовлетворительными качественными репрезентациями частичных феноменов...

Задача изучить роль пространственных образов в мышлении важна постольку, поскольку предполагается, что опыт существования в пространстве сказывается на том, как мы конструируем абстрактные идеи и объекты познания⁶⁶. Подобно опыту времени, опыт пространства «переформулируется» и находит выражение в интеллектуальных продуктах. Пространственное воображение выступает как свойственный нам этап объективации мира на основе элементарного опыта деятельности в нем⁶⁷.

Каково же наше ментальное пространство? Чтобы понять его свойства, следует прежде всего задуматься о том, как мы представляем себе пространство физическое. Свои собственные пространственные репрезентации мы зачастую склонны описывать в терминах галилеевской

Итак, мы попытаемся ... освободить нашу интуицию от опыта обращения с твердыми телами в трехмерном евклидовом пространстве и приучить ее к гораздо более общим динамическим схемам» (Thom R. *Stabilité structurelle et morphogénèse: Essai d'une théorie générale des modèles*. Paris: InterEditions, 1977. P. 6). Речь идет о теории топологического пространства, которую Том считал источником плодотворных научных интуиций и с помощью которой, в частности, он пытался обосновать свою теорию катастроф. В психологии известен пример использования К. Левиным топологического пространства как базовой метафоры новой теории личности (Lewin K. *Principles of Topological Psychology*. New York; Toronto; London: McGraw-Hill, 1966).

⁶⁶ «В сегодняшнем языке пространство — самая навязчивая из метафор», — писал Мишель Фуко (Foucault M. *Le langage de l'espace*. P. 407).

⁶⁷ По словам Б. Л. Уорфа, «частью всей нашей схемы объективирования является специализация в нашем воображении качеств и потенций, которые вовсе не являются пространственными» (Whorf B. L. *Language, Thought and Reality: Selected Writings*. New York; London, 1956. P. 145, 147). С точки зрения Уорфа, такая специализация является специфической чертой свойственного западной цивилизации способа полагания мира, которая не встречается, например, у американских индейцев, поскольку в их языке отсутствуют свойственные западноевропейским языкам пространственные метафоры: «В мысленном мире индейцев хопи нет воображаемого пространства» (*Ibid.* P. 150). Характерно, однако, что наше воображаемое пространство Уорф мыслит как исключительно евклидово, подчеркивая при этом лингвистическую обусловленность интеллектуальных категорий, в том числе и пространства: «Понятие пространства меняется от языка к языку» (*Ibid.* P. 158–159). Однако Уорф сам отмечает, что важнейший в языке хопи домен скрытых субъективных сущностей, хотя и не мыслится, как у европейцев, в ментальном пространстве, но все же «символически соотносен с вертикальным измерением и его полюсами — зенитом и подземным царством, равно как и с “сердцем” вещей, что соответствует метафорическому употреблению нашего слова “внутренний”», причем эту вертикаль Уорф понимает как «ось роста растения» — понятного для земледельцев-хопи образа (*Ibid.* P. 62). На наш взгляд, в таком случае естественнее просто сказать, что хопи мыслят в ином пространстве, чем мы.

науки — основы нашей школьной физики⁶⁸. Так думать естественно, если считать пространство объективным, а наши представления о нем — научными. При этом наше «научное» восприятие пространства противопоставляется «примитивным» репрезентациям пространства, подчиняющимся совсем другим принципам, но, конечно, не имеющим отношения к «настоящему» пространству. Напротив, если считать пространство продуктом нашего сознания и наших чувств, активно конструирующих мир начиная с самых элементарных стадий перцепции⁶⁹, естественнее допустить исходную множественность нашего пространственного опыта, данного нам с помощью различных чувств, каждое из которых имеет свои разрешающие возможности⁷⁰. Пространство дано нам зрительно, кинетически, тактильно — и даже аудитивно⁷¹. Поэтому оно не являет-

⁶⁸ «Пространство в нашем воображении абсолютно и гомогенно» (Lévy-Bruhl L. *Primitive Mentality*. Boston: Beacon, 1966. P. 93–94). По словам Б. Л. Уорфа, «метафизика, на которой основан наш собственный язык, наше мышление и вся современная культура, налагает на вселенную две космические формы, пространство и время, статическое и бесконечное трехмерное пространство и равномерно движущееся непрерывным потоком одномерное время» (Whorf B. L. *Language. Thought and Reality*. P. 59).

⁶⁹ К такому пониманию склоняет современная когнитивная психология: «Зрительное и слуховое восприятие, равно как и память, являются актами конструирования» (Neisser U. *Cognitive Psychology*. New York, 1967. P. 10).

⁷⁰ Развивая взгляды Ж. Пиаже, Ф. Сен-Мартен пишет: «Любое понятие о пространстве есть конструкция человеческого организма, помещенного в контакт с окружающей средой». И в другом месте: «Понятие пространства следует рассматривать как сущностно множественное. Существуют весьма многочисленные пространства, равно как существует много типов темпоральности» (Saint-Martin F. *Les fondements topologiques de la peinture*. Quebec: Hurtubise, 1980. P. 37–38). Идею множественности пространства развивал также М. Мерло-Понти (Merleau-Ponty M. *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard, 1945. P. 281–344). По наблюдениям некоторых лингвистов, в языке нет единой пространственной логики (Miller G. A., Johnson-Laird P. N. *Language and Perception*. Cambridge; London: Cambridge U. P., 1976. P. 394).

⁷¹ «Восприятие пространства требует участия нескольких видов чувств. Не существует «пространственного чувства», аналогичного зрению или слуху» (Hallowell A. I. *Cultural Factors in Spatial Orientation // Symbolic Anthropology: A Reader in the Study of Symbols and Meanings* / Ed. by J. D. Dolgin, D. S. Komnitzer, D. M. Schneider. New York: Columbia U. P., 1977. P. 132). В контроле за вертикальным положением важную роль играет слуховой аппарат (Miller G. A., Johnson-Laird P. N. *Language and Perception*. P. 62). Именно слух является основным источником информации о пространстве у слепых (Downs R. M., Stea D. *Maps in Minds...* P. 75). Даже глаз становится «умным», т. е. воспринимающим пространство не только как визуальный план, именно благодаря

ся единой системой координат, но скорее множественной системой, подсказывающей нам разные логические интуиции. Синтетический характер пространственного опыта обуславливает особую роль центральных когнитивных механизмов в формировании идеи пространства⁷², причем синтез оказывает воздействие на восприятие пространства разными чувствами. В таком синтезе, конечно же, огромна роль культурных концептуализаций пространства, равно как и различных культурных практик, ставящих нас в контакт с различными типами пространства, и технических средств восприятия пространства, достраивающих и модифицирующих природный опыт человеческого организма⁷³. Человеческое пространство — это совместный продукт перцепции и культуры.

Остановимся вкратце на некоторых формах пространственности. «Школьное» пространство классической механики, доминирующая и единственно легитимная сегодня система пространственных референций, отнюдь не является пространством интуитивным. Это — символическая форма, развивающаяся на основе более примитивных форм пространства⁷⁴. Не является оно и элементарным пространством, поскольку включает более простые элементы, которые в его рамках сохраняют некоторую автономию. Так, огромную роль в упорядочении играют когнитивные точки (которые могут быть организованы и соотнесены между собой отнюдь не обязательно в эвклидовом пространстве)⁷⁵ и линия (достаточно

тому, что в активной перцепции он в состоянии мобилизовать опыт других чувств и с помощью догадок-инференций строить пространственный мир, выходя далеко за пределы своих собственных данных. См.: Gregory R. L. *The Intelligent Eye*. London, 1970.

⁷² Отметим в этой связи, что современные теории познания, во многом под влиянием Наума Хомского, склонны подчеркивать самостоятельность процессов познания по отношению к перцепции: «Познание развивается на своей собственной основе скорее, чем на основе перцепции или поведения» (Spelke E. S., Breinlinger K., Macomber J., Jacobson K. *Origins of Knowledge // Psychol. Rev.* 1992. Vol. 99. № 4. P. 605).

⁷³ С синтетическим характером пространственного опыта Халловел связывает роль культуры, активно вмешивающейся в синтезирование чувственных данных, в формировании пространства (Hallowell A. I. *Cultural Factors in Spatial Orientation*. P. 147). См. также: Segall M. H., Campbell D. T., Herskovitz M. J. *The Influence of Culture on Visual Perception*. Indianapolis; New York, 1966.

⁷⁴ Piaget J. *La représentation de l'espace chez l'enfant*. Paris: Presses Universitaires de France, 1948; Panofsky E. *La perspective comme forme symbolique*. Paris: Minuit, 1975.

⁷⁵ О роли точек как когнитивных реперов в упорядочении образов см.: Downs R. M., Stea D. *Maps in Minds...* P. 97; Milgram S. *Cities as Social Representations*

вспомнить, например, о принудительной силе линейного упорядочения)⁷⁶. Прямая линия является важнейшей логической предпосылкой и доминирующим элементом трехмерного пространства и в этом смысле его рудиментарной формой, но вместе с тем ей присущи особые формы упорядочения⁷⁷. При этом между эвклидовым пространством и пространством линии сохраняются довольно сложные отношения, поскольку трехмерная модель, по-видимому, не обладает особой прочностью и способна, с одной стороны, «соскальзывать» в образ многомерного линейного пространства, а с другой стороны, сворачиваться в линию, проходя при этом через крайне важную стадию плоскостного, двухмерного пространства.

// *Social Representations* / Ed. by R. R. Farr, S. Moscovici. Cambridge; Paris: Cambridge U. P.: Maison des Sciences de l'Homme, 1984. P. 292; Holyoak K. J., Gordon P. C. *Information Processing and Social Cognition // Handbook of Social Cognition*. Vol. 1 / Ed. by R. S. Wyer, T. K. Srull. Hillsdale; London: L. Erlbaum, 1984. P. 60.

⁷⁶ О притягательной силе правильной фигуры линии много писали гештальт-психологи. «Создается впечатление, что люди имеют предрасположенность к одномерному (single) упорядочению и антипатию к многомерному упорядочению», — утверждал, например, Де Сото. Он говорил также о присущем людям стремлении переводить многомерные упорядочивающие схемы в одномерные с помощью гало-эффекта и о том, что эта тяга к одномерному упорядочению не менее присуща исследователям, чем людям с улицы (De Soto C. B. *The Predilection for Single Ordering // Journ. of Abnormal and Social Psychology*. 1961. Vol. 62. № 1. P. 16–23; De Soto C. B., Bosley J. J. *The Cognitive Structure of a Social Structure // Ibid*. 1962. Vol. 64. P. 303–307). В том же духе высказываются другие исследователи (Holyoak K. J., Gordon P. C. *Information Processing...* P. 58; Lee D. *Linean and Nonlinear Codifications of Reality // Symbolic Anthropology...* // Ed. by J. D. Dolgin, D. S. Komnitzer, D. M. Schneider. P. 156). О влиянии линейного упорядочения на конструирование социологами своих шкал профессионального престижа, которые они приписывали мышлению субъектов, писали А. П. М. Коксон, П. М. Дэвис и С. Л. Джонс (Coxon A. P. M., Davies P. M., Jones C. L. *Images of Social Stratification: Occupational Structures and Class*. London; Beverly Hills: Sage Publications, 1986. P. 39).

⁷⁷ С линией неразрывно связана идея вертикали, которая является, безусловно, доминирующим измерением пространства (Straus E. W. *The Upright Posture // Phenomenological Psychology*. London: Tavistock, 1966. P. 137–165; Gibson E. J. *Principles of Perceptual Learning and Development*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1969. P. 376; Shepard R. H., Hurwitz S. *Upward Direction, Mental Rotation and Discrimination of Left and Right Turns in Maps // Visual Cognition* / Ed. by S. Pinker. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1988. P. 161–190; Miller G. A., Johnson-Laird P. N. *Language and Perception*. P. 397). О интерсенситивном характере чувства вертикали см.: Mittelstaedt H. *The Subjective Vertical as a Function of Visual and Extraretinal Cues // Acta Psychologica*. 1986. Vol. 63. P. 63–85. Естественно, что этот синтез данных чувств сильнейшим образом дополняется культурной интерпретацией, и как базовое измерение пространства вертикаль с незапамятных времен обретает символическое значение.

Для понимания роли плоскостного парафразы трехмерного пространства следует иметь в виду роль зрения как важнейшего из пространственных чувств. Иногда трехмерное пространство отождествляют с визуальным. Но оно отнюдь не является естественным пространством зрения, оно есть пространство определенным образом воспитанного глаза⁷⁸. Напротив, визуальное пространство организовано плоскостным фоном, и трехмерным его делают мобилизация опыта других чувств и рационализация⁷⁹. Тем не менее, как культурный конструкт трехмерное пространство опирается прежде всего на рационально истолкованный опыт зрения. Собственно, именно по мере культурной мобилизации опыта зрения для конструирования пространства и происходит, по-видимому, утверждение монополярного положения декартовых координат. Для культурной истории трехмерного пространства фундаментальным фактом является то, что оно рождается в ходе «изобретения перспективы», т. е. благодаря попыткам его графической репрезентации в двухмерном пространстве, являясь как бы минимальным образом многомерности, образованной пересечением прямых линий и доступной изображению в зрительном плоскостном пространстве. Именно отсюда его способность к сворачиванию–разворачиванию, так что то пространство, которое нам кажется порой единственно реальным, на самом деле является крайне неустойчивой формой, сложным конструктом, в котором сплошь да рядом его более элементарные составляющие берут верх. (Очень часто поэтому, апеллируя к евклидову пространству, мы на деле пользуемся его сокращенными формулами.

Безусловно, существуют и другие формы пространственного опыта⁸⁰. Для наших целей особенно важна концепция топологического про-

⁷⁸ Характерны импрессионистские поиски «естественно данного зрению» пространства, которые были, в сущности, теоретическим упражнением и попыткой перевоспитания глаза, неудавшейся постольку, поскольку произведения искусства не в состоянии избавиться от элемента рационального конструирования мира в символах и воспроизводить его таким, каким он дан чувствам (Gombrich E. *Art and Illusion*. P. VII).

⁷⁹ Gibson J. J. *The Perception...* P. 6–7. Впрочем, Джибсон подчеркивает, что и в самом визуальном пространстве, точнее, в характере восприятия лонгитюдных поверхностей, содержится опыт трехмерности (*Ibid.* P. 76, 138). Э. Пановски также подчеркивал роль «сферической деформации воспринимаемых зрительно объектов», т. е. искривления прямых при естественном зрительном восприятии, связывая это с формой рептилии (Panofsky E. *La perspective comme forme symbolique*. P. 57–60).

⁸⁰ Так, некоторые феноменологи говорили об особом пространстве танца, простран-

странства, иными словами, пространства, из которого изъята мера, а следовательно, и система координат, и в котором сохраняются только чисто качественные отношения соседства, включенности-исключенности, прерывности-непрерывности. Ранее всего приобретаемое ребенком, топологическое пространство на протяжении всей жизни человека остается базой для интуиций реальности⁸¹. Открытое математикой в начале XX в., топологическое пространство вскоре стало рассматриваться как исходно данное интуитивное пространство, из которого лишь при определенных культурных условиях в состоянии развиваться эвклидово пространство, со временем начавшее осуществлять «культурную репрессию» и вытеснять из культуры топологическое пространство⁸².

Как соотносятся между собой перечисленные формы пространства? Многие исследователи, начиная с Ж. Пиаже, исходили из идеи постепенной смены разных типов пространства в нашем внутреннем опыте, о постепенном переходе от топологического пространства к эвклидову⁸³.

стве лишено стабильной направленности неограниченного движения, открытого миру живого движущегося тела, физически воплощающего значение ценой потери ориентации в трехмерном пространстве и во времени, т. е. в системе координат, фиксируемой точкой наблюдения извне. Пространство в танце гомогенизируется, что приводит к ослаблению субъектно-объектной дихотомии. См.: Straus E. W. *The Forms of Spatiality // Phenomenological Psychology*. P. 3–37. См. также: Francastel P. *Etudes de sociologie de l'art*. P. 37. Из опыта анализа первобытного искусства А. Леруа-Гуран вывел наблюдение о первоначальной роли ритмической организации пространства (Leroi-Gourhan A. *Le geste et la parole*. Vol. 2. Paris: A. Michel, 1964–1965. P. 95–119).

⁸¹ Saint-Martin F. *Semiotics...* P. 68.

⁸² О культурной репрессии со стороны эвклидовой концепции пространства по отношению к интуитивному опыту пространству школьников см.: Saint-Martin F. *Les fondements...* P. 135. По мнению Ф. Сен-Мартен, следующей в этом вопросе за Пиаже, именно топологическое пространство, до изобретения искусственной перспективистской модели определявшее художественное творчество, отвечает наиболее фундаментальному зрительному опыту, так что на его основе можно разработать теорию визуального языка, которая могла бы стать основой грядущего возрождения визуальных искусств: «Интуиции топологической геометрии, по-видимому, являются наиболее плодотворными для определения специализирующих процессов, свойственных визуальному языку» (*Ibid.* P. 11, 85, 89).

⁸³ Такой подход был значим для Пиаже в связи с распространенным в его время под влиянием идей Гастона Башляра представлением об «эпистемологической купюре», которое противопоставляло науку и присущие ей формы мысли здравому смыслу. Пиаже поэтому подчеркивал, что одни типы пространства преодолеваются другими и есть в принципе историческая возможность преодолеть здравый смысл и перейти к научному

Однако нет оснований считать, что сменяющие друг друга формы сознания целиком стирают следы предшествующих стадий. Сосуществование различных форм восприятия пространства кажется более вероятной гипотезой⁸⁴.

Одним из базовых элементов опыта пространства является двойственность пространственной самоидентификации субъекта. Субъект, действующий в пространстве, организует его вокруг самого себя. Это кинетическое эгоцентричное пространство субъекта действия соседствует в нашем воображении с объектоцентричным пространством наблюдателя, зрительным пространством имплицитной трансцендентальной установки, являющейся одной из свойственных нашему разуму форм полагания мира. Такая установка развивается с помощью привнесения в опыт зрения черт рационального эвклидова пространства, служащего постоянным референциальным кадром, постоянной метафорой познания. Именно этот конфликт пространственной самоидентификации породил, по словам А. Леруа-Гурана, «двойственность наших репрезентаций мира»⁸⁵.

Итак, наше внутреннее пространство отнюдь не сводится к открытому наукой объективному трехмерному пространству. Скорее, оно выглядит как многообразие форм пространственного опыта, частично природного, частично культурного, в терминах которого конструируется мир, в том числе и «вторичный» мир абстрактных понятий.

Если теперь от физического пространства мы обратимся к пространству ментальному, то увидим, что оно может использоваться для концептуализации других областей опыта⁸⁶. Такое использование является сложным процессом двойного конструирования: пространство, которое само уже является конструктором сознания, используется как материал для конструирования по аналогии других объектов. Среди подобных

видению пространства (Saint-Martin F. *Les fondements...* P. 19–21).

⁸⁴ «Эти репрезентативные пространства не могут приходить на смену друг другу, но добавляются друг к другу и сосуществуют в ментальном опыте человеческого существа, отвечая и удовлетворяя его разнообразные потребности» (Saint-Martin F. *Les fondements...* P. 109).

⁸⁵ Leroi-Courhan A. *Le geste...* Vol. 2. P. 155.

⁸⁶ Включая и такие важнейшие категории, как время и число (Bergson H. *Essai sur les données immédiates de la conscience*. P. VII; Guillaume G. *Principes de linguistique théorique*. P. 11; Jackendoff R. *Semantic and Cognition*. P. 189).

объектов особое место занимают идеальные абстрактные объекты, иными словами — абстрактные понятия, в их числе и такие, как общество и государство, важнейшие понятия социальной истории. Влияние пространственных парадигм на их возникновение и развитие — одна из главных тем этой работы.

* * *

Эмпирический материал, на основе которого написана книга, взят прежде всего из истории французской историографии. Конкретнее, речь идет о социальной истории 1960-х гг. Этот период был своего рода «серебряным веком» исторической мысли (и социальных наук в целом). Именно тогда школа «*Анналов*» завоевала господствующие позиции во французской и мировой историографии. Программа социальной истории, начертанная на знаменах этой школы, стала символом веры исторической профессии. Центральным эпизодом социальной истории 1960-х гг. был спор о классах и сословиях, в котором историки школы «*Анналов*» и близкие к ним марксистские историки столкнулись с коллегами более консервативной ориентации. Спор о том, являлось ли французское общество Старого Порядка обществом классов или обществом сословий, имел очевидные политические импликации. Но за различием идеологических установок скрывалось согласие в отношении базовых логических проблем социальной истории, что, собственно, и сделало спор возможным. Именно не историографическая, но логическая сторона дела интересует нас в этом споре. И чем схоластичнее был спор — а таким он остался в исторической памяти профессии, — тем более он нам интересен, ибо он обнажил в крайности столкнувшихся позиций некоторые обычно скрытые, но тем не менее присутствующие в сознании историков логические противоречия.

Историография далеко ушла с тех пор. Социальная история сначала уступила место социокультурной истории, стремившейся изучать уже не столько «объективные» структуры общества, сколько их восприятие и конструирование субъектами, действовавшими на основе собственных представлений⁸⁷. Социальных историков 1960-х гг. теперь упрекали в том, что они пытались наложить на живую историческую действительность

⁸⁷ Chartier R., Roche D. Histoire sociale // *La Nouvelle Histoire* / Pub. par J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978; Lequin Y. Sociale (Histoire) // *Dictionnaire des sciences historiques* / Pub. par A. Burguière. Paris: Presses Universitaires de France, 1986. P. 635–642.

изобретенные социологами абстрактные схемы, не имеющие ничего общего с реальностью, которая создавалась людьми, мыслившими в совершенно других категориях. Поначалу сознание субъектов понималось прежде всего как «коллективное бессознательное», как «ментальность», но чем дальше, тем больше делался акцент на субъективном восприятии социального мира и индивидуальных стратегиях адаптации к нему. Различные техники микроанализа приходили на смену макросоциальным конструкциям историков 1960-х гг. То, что в середине 1990-х гг. стали называть «новой парадигмой» или «прагматическим поворотом» в социальных науках, непосредственно основывается на опыте микроисследований. В центре новой парадигмы находится возвращение субъекта, иными словами, акцент на сознательных, субъективных аспектах социального действия, противоположный характерному для «функционалистских парадигм» (таких, как марксизм, структурализм или психоанализ) поиску надличностных, объективных факторов, детерминирующих развитие общества⁸⁸.

Постепенное смещение интереса от структуры к действию, от объективного к субъективному, от бессознательного к сознательному и от общего к особенному характеризует развитие наук о человеке в период, открытый критикой в адрес функционализма со стороны феноменологической социологии, символического интеракционизма и других подобных течений. В эту общую динамику вписывается и намеченная выше эволюция социальной истории. Впрочем, отмеченная эволюция сопровождалась методологическими колебаниями, побуждавшими говорить о кризисе социальной истории (как и наук о человеке в целом). «Освобождение от догматизмов» старой парадигмы, некоторое время приветствовавшееся как залог свободного развития творческой мысли⁸⁹, постепенно начало рассматриваться как кризис, проявляющийся в «измельче-

⁸⁸ Gauchet M. *Changement de paradigme en sciences sociales?* // *Le Débat*. 1988. № 50. P. 165–170; Dosse F. *L'Empire du sens: L'Humanisation des sciences humaines*. Paris: La Découverte, 1995. См. также: Бессмертный Ю. Л. Коллизия микро- и макроподходов и французская историография 90-х годов // *Историк в поиске: Микро- и макроподходы к изучению прошлого*. М., 1999. С. 10–30.

⁸⁹ «Каждый историк конструирует проблематичные объекты. В результате получается набор проблематичных объектов... Этот разброс мне представляется эпистемологически более удовлетворительным, нежели те уверенности, которыми мы жили вчера. Я не думаю, что следует оплакивать распад глобальной истории в ее старом понимании» (Revel J. *Une oeuvre inimitable* // *EspacesTemps*. 1986. № 34–35. P. 14).

нии истории», как распад истории на несвязанные между собой дискурсы⁹⁰. Чем очевиднее становились достижения микроанализа, тем шире распространялась мысль, что «невозможно построить дом из фрагментов даже самой красивой мозаики»⁹¹. За этим возвращением в исторический дискурс дорогих социальным историкам 1960-х гг. строительных метафор просматривается тоска по утраченной целостности, равно как и сохранение традиционных форм исторического воображения, которое Люсьен Февр называл «метафизикой каменщика», а А. Я. Гуревич — «строительно-геометрическим мышлением»⁹². Более того, 1960-е гг. постепенно обрели в коллективной памяти профессии статус «героической эпохи», эпохи-модели, по отношению к которой идентифицируют себя периодически сменяющие друг друга попытки создания новой парадигмы.

Иными словами, преодоленность 1960-х гг. для современной историографии во многом иллюзорна. То, что делает микроисторию уязвимой с логической стороны, — это сохраняющаяся потребность в некоторой общей рамке, которая придавала бы смысл микроисторическим изысканиям. Микроисторики на деле не могут обойтись без имплицитно присутствующих в их построениях макроисторических категорий, укорененных в традиционном историческом словаре. Отсюда и требование, естественно предъявляемое к тому, что можно было бы назвать новой парадигмой: она должна обеспечить новую артикуляцию различных исторических дискурсов, новые формы обобщения и соотнесения микроисторических исследований с макроисторическими категориями. Иными словами, чтобы стать парадигмой, прагматический поворот не мог позволить себе ограничиться возвращением субъекта. Чтобы перейти от логики распада к логике реконструкции, следовало найти способ от анализа индивидуального действия умозаключать к социальному целому, т. е. не просто уточнять, но конструировать макросхемы с помощью микроанализа, иными словами — обобщать от индивидуального. Но это — один из тех вопросов, с размышлений о которых начинались социальные науки. Распад функционалистской

⁹⁰ Dosse F. *L'Histoire en miettes*. Paris: La Découverte, 1987.

⁹¹ Charle C. *Essai de bilan // Histoire sociale, Histoire globale?* / Pub. par C. Charle. Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1993. P. 209.

⁹² Гуревич А. Я. *Исторический синтез и школа «Анналов»*. С. 249.

парадигмы вновь привел, и в крайне острой форме, к постановке проблемы обобщения в науках о человеке.

Спектр предложенных в последнее время решений этой проблемы достаточно широк. Одни возлагают надежды на волшебную палочку новых статистических методов, позволяющих уменьшить произвольный характер наших классификаций и обеспечить переход от изучения социальных сетей к эмпирической реконструкции социальных структур⁹³, другие — на понятие исключительного-нормального⁹⁴, третьи — на заимствованную у немецкого историзма идею индивидуальной тотальности⁹⁵, четвертые — на разработанную Пьером Нора концепцию мест памяти⁹⁶, по аналогии с которой можно, по-видимому, создать более или менее разнообразный инвентарь мест наблюдения/конструирования социального⁹⁷, пятые — на укрепление солидарности профессионального сообщества, основанное на более ясном самосознании социальных наук как культурной практики⁹⁸. Особой популярностью в последние годы пользуется предложенная Л. Болтански и Л. Тевено «социология градов» (*sociologie des cités*), исследующая то, как субъекты социальной жизни легитимизируют свои притязания в конфликтах с помощью апелляции к различным моделям общественного устройства и как они приходят к компромиссу, основанному на том или ином балансе этих принципов⁹⁹. Привлекает внимание и возрождающая традиции Дюркгейма «социальная история когнитивных форм» (например, классификаций), показывающая происхождение ментального аппарата, занятого в конструировании социального пространства, и тем самым набрасывающая для микроисториков хотя бы какие-то контуры того здания, которое они пытаются сложить из

⁹³ Gribaudi M., Blum A. Des catégories aux liens individuels: l'analyse statistique de l'espace social // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1990. Vol. 45. № 6. P. 1365–1402.

⁹⁴ Grendi E. Micro-analisi e storia sociale // *Quaderni Storici*. 1972. Vol. 35. P. 506–520.

⁹⁵ См. выступление в дискуссии А. Дерозьера: *Histoire sociale...* / Pub. par C. Charle. P. 71.

⁹⁶ Нора П. и др. *Франция-память* / Пер. Д. Р. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999.

⁹⁷ Caron F. Introduction générale // *Histoire sociale...* / Pub. par C. Charle. P. 19–20.

⁹⁸ Noiriel G. *Sur la «crise» de l'histoire*.

⁹⁹ Boltanski L., Thévenot L. *De la justification*. Paris: Gallimard, 1992.

кусочков мозаики собственного производства¹⁰⁰. Эти подходы представляют несомненный интерес и в ряде случаев уже привели к появлению первоклассных исследований. Правомерно, однако, усомниться, что искомым результатом — создание общепринятой модели генерализации, которая позволила бы преодолеть измельчение истории, — уже достигнут.

Во всех этих попытках найти новые способы обобщения просматривается стремление избежать того главного недостатка, который традиционно ставят в упрек социальной истории 1960-х гг., а именно, реификации проецируемых на историю форм нашего разума. Но знаем ли мы, каковы эти формы? Может быть, отвергаемые сегодня формы обобщения есть вообще единственно данный нам способ помыслить историю в целом и общество в целом? Или, напротив, можно преодолеть — но для этого их надо сначала идентифицировать — логические трудности, которые заложены в макроисторических построениях? Осознаем ли мы «разрешающие возможности» нашего собственного ментального аппарата? С этой точки зрения сегодня представляется насущным изучение интеллектуального опыта социальной истории 1960-х гг., тем более что у историографических перемен, происшедших с тех пор, имелись, по-видимому, не только те внешние причины, которые были связаны с социальными процессами 70–80-х гг. XX в., сделавшими наши общества «менее прозрачными» для самих себя¹⁰¹. Отчасти, по-видимому, за распад социальной истории 1960-х гг. ответственна и неспособность совладать с логическими противоречиями, выявившимися в ходе спора о классах и сословиях. Это «наследие неспособности» остается с нами до сих пор. Одна из целей нашей работы как раз и состоит в попытке проанализировать внутренние, логические причины кризиса макроисторической парадигмы.

¹⁰⁰ Desrosières A. *La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte, 1993.

¹⁰¹ Revel J. *Histoire et sciences sociales: une confrontation instable // Autrement*. 1995. № 150–151. P. 80.

Глава 1

Герменевтика и классификация

Попробуем прежде всего с помощью мелких формально-логических придирок «остраннить» привычную практику исторического описания социальных структур. Мы сделаем это на примере книги А. Д. Люблинской «*Франция в начале XVII века*», в которой содержится одно из самых подробных, систематических и компетентных описаний французского общества Старого Порядка, данных до начала массовых количественных исследований социальных структур¹.

Во французском обществе начала XVII в. А. Д. Люблинская выделяет следующие социальные группы: высшая знать, родовитое дворянство, новое дворянство, чиновничество, буржуазия, городские низы и крестьянство². Поскольку автор не дает никаких формальных определений этим терминам, мы попытаемся восстановить их значение — и понять критерии, на основании которых выделены соответствующие группы, — с помощью анализа данных этим группам характеристик.

Возьмем сначала высшую знать. Являясь частью дворянства, она тем не менее выступает в качестве самостоятельной категории. Аналогичный статус приписывается также родовитому и новому дворянству. Логически последовательным здесь было бы одно из двух решений: либо вообще отказаться от общей характеристики дворянства (а в идеале — и от самого термина, всегда способного ввести в такой соблазн) и рассматривать три группы дворянства как независимые категории, либо на основании «сильных» критериев объединить все дворянство в одну категорию более высокого таксономического уровня, разделив ее на под-

¹ Люблинская А. Д. *Франция в начале XVII века*. Л.: Наука, 1959.

² Там же. Гл. 2.

группы на основании сравнительно более «слабых» критериев. Но оба эти решения были для Люблинской неприемлемы. Объединить все дворянство в одну категорию означало приблизиться к модели общества классов, жесткости которой позволяла избежать более дробная классификация. Но и вовсе отказаться от родового для трех групп понятия дворянства Люблинская не решалась³ — прежде всего, конечно, потому, что это был термин изучаемой ею эпохи, но также и потому, что это означало бы слишком заметно «отклониться» от классового видения общества. Дворянство остается для Люблинской экономическим классом, но одновременно — юридическим сословием и в какой-то мере «расовой» группой, принадлежность к которой определяется происхождением. Иными словами, смягчая модель общества классов, Люблинская сохраняет возможность при случае истолковать свою классификацию в терминах этой модели. Неудивительно, что, описывая дворянство как некоторую целостность, она разделяет его на отдельные категории, избегая вопроса о точной логической квалификации этих понятий. Но тем самым Люблинская делает шаг к логически непоследовательной таксономии⁴.

Особые трудности связаны с новым дворянством. Для Люблинской оно остается дворянством, хотя ему присущи далеко не все черты, свойственные двум другим группам дворян. В частности, новое дворянство уже не является чисто феодальным, поскольку оно вовлечено в систему протокапиталистических производственных отношений. Но невозможность охарактеризовать новое дворянство как феодальное ставит под сомнение его принадлежность к категории дворянства в целом, если

³ Несмотря на то, что подчеркиваемые ею различия между перечисленными группами дворянства могли склонить к такому выходу из положения, тем более что, как мы увидим, далеко не все французские дворяне, по Люблинской, обладали всеми существенными характеристиками дворянства.

⁴ Эта непоследовательность проявляется и в названиях групп дворянства. Выражение «высшая знать» отсылает к представлению об иерархически расположенных и выделенных с помощью количественных критериев группах в рамках класса-сословия, который, в свою очередь, выделен на основе «сильных» качественных критериев. В рамках такой модели логичнее, чтобы после высшей знати шло среднее дворянство. Однако Люблинская предпочитает говорить о родовитом дворянстве, чтобы отчетливее противопоставить его новому дворянству. Но акцент на критерии родовитости означает, что различие между второй и третьей группами дворян отсылает к иной комбинации факторов — и вместе с тем к другой модели категории, — чем различие между первой и второй группами, выглядевшее как преимущественно количественное.

последнюю понимать в смысле экономического класса, а этот смысл сохраняет для Люблинской первостепенное значение. Следовательно, одно из важнейших условий членства в категории оказывается невыполненным для значительной части дворян.

Проблематично и выделение категории чиновников. При ее идентификации на первое место выдвигается критерий нового типа, критерий профессии, который ранее имел сугубо второстепенное значение. Другие группы — дворянство (в той мере, в какой оно характеризуется как целостность), буржуазия, крестьянство — вполне могут быть определены на основании экономических и правовых критериев, т. е. представлены как классы-сословия, но чиновничество совершенно выпадает из этой логики. Еще сложнее обстоит дело со взаимоотношениями категорий чиновничества и нового дворянства. Многие новые дворяне, как подчеркивает Люблинская, были одновременно и чиновниками. Но в таком случае логический статус этих двух «перекрещивающихся» категорий оказывается радикально отличным от статуса всех остальных, «параллельных» категорий, которые логически исключают друг друга и предполагают одномерную, а не двухмерную (как перекрещивающиеся категории) модель таксономии. Таким образом, от одной категории к другой происходит смена модели таксономии в целом.

Новые трудности приходят с буржуазией. Подобно дворянству, она рассматривается как социальная группа, выделенная на основании различных критериев. Но проблема в том, что в классификации Люблинской буржуазия располагается на таксономическом уровне не дворянства в целом, а его подгрупп. Даже если отвлечься от конкретных критериев, позволяющих идентифицировать эту категорию, термин «буржуазия» трудно отнести к видовому уровню социального словаря. Он очевидно принадлежит к родовому уровню. Это замечание вполне относится и к крестьянству, а отчасти и к городским низам (особенно если эти последние рассматриваются как предшественники пролетариата). Следовательно, по мере того, как мы спускаемся по ступеням социальной лестницы, происходит смена таксономического уровня терминов, помещаемых на одну ступень классификации, — иными словами, допускается род категориальной ошибки⁵.

⁵ О категориальной ошибке, когда путается родовое и видовое понятия, см.: Ryle G. *The Concept of Mind*. Harmondsworth: Penguin Books, 1970. P. 17–18.

Со всеми этими логическими погрешностями схема Люблинской, по-видимому, гораздо ближе к борхесовской классификации животных⁶, чем к идеальной модели взаимоисключающих категорий, определенных на основании четко фиксированных критериев, которые образуют логически последовательную систему и объясняют функционирование социального организма. Категории Люблинской выделены на основании разнотипных критериев, не удовлетворяют требованию необходимых и достаточных условий, отсылают к различным моделям таксономии, наконец, будучи расположены на одном уровне классификации, обозначены терминами, относящимися к разным таксономическим уровням социального словаря. И тем не менее классификация Люблинской отнюдь не шокирует нас. Не потому ли, что многие классификации, используемые историками, ничуть не более последовательны, и нас скандализуют скорее парадоксы, к которым приводит стремление быть слишком логичным?⁷

В историографии немало примеров подобных парадоксов, особенно в трудах историков критического направления начала XX в., поставив-

⁶ Borges J. L. *Enquêtes 1937–1952*. Paris, 1957. P. 142–146. Напомним читателю классификацию, которую Борхес приписывает некоей «древней китайской энциклопедии»: «Животные делятся на: а) принадлежащих императору, б) набальзамированных, в) ручных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) дрожащих, как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьего волоса, м) прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издали напоминающих мух». С логической стороны, в этой классификации две основные ошибки: отсутствие единого основания классификации (категории выделены на основании разных, причем случайных критериев); категориальная ошибка (категория животных, «включенных в настоящую классификацию», помещена на тот же таксономический уровень, что и другие включенные в нее категории). Любопытно, что в отличие от своих многочисленных комментаторов, начиная от Мишеля Фуко и кончая Элеанор Рош и Джорджем Лакоффом, которые находили в этой классификации «экзотический шарм чужой мысли» или даже в принципе невозможное для «естественного мышления» произвольное нагромождение категорий, сам Борхес видел в ней ближайший аналог современных научных классификаций — и не без основания. Ср.: Foucault M. *Les mots et les choses*. Paris: Gallimard, 1966. P. 7; Rosch E. *Principles of Categorization // Cognition and Categorization* / Ed. by E. Rosch, B. B. Lloyd. New York, 1978. P. 27; Lakoff G. *Classifiers as a Reflexion of Mind // Noun Classes and Categorization* / Ed. by C. Craig. Amsterdam; Philadelphia, 1986. P. 13.

⁷ Ср. наблюдение Л. С. Клейна о том, что в археологии часто хорошо работают именно логически неубедительные классификации (Клейн Л. С. *Археологическая типология*. Л., 1991. С. 55).

ших под сомнение классические исторические теории предшествующего столетия, в частности и на основании их логической непоследовательности. Так, Фредерик Мэтланд отрицал имевшиеся в историографии теории английского манора (а имплицитно и самое существование последнего) на том основании, что этому термину невозможно дать точного юридического определения⁸. Аналогичным образом рассуждал о средневековом городе Георг фон Белов⁹. Жан-Ришар Блок, в юности историк французского дворянства XVI в., поставивший своей целью дать определение дворянства в терминах необходимых и достаточных условий, пришел к выводу, что не было ни одной черты в правовом статусе дворянства, которую бы разделяли все дворяне и никто кроме них¹⁰. Следует ли из этого заключать, что дворянство — миф, «ложь слова»¹¹? Обычно мы предпочитаем не доводить дело до этого вопроса, и наш здравый смысл заблаговременно направляет наши рассуждения к компромиссу между требованиями логики и чувством реальности.

Интерес спора о классах и сословиях для исследователя ментальности историков состоит прежде всего в том, что в ходе спора традиционная формула «молчаливого компромисса» между логикой и чувством реальности была поставлена под сомнение, и острота методологической рефлексии достигла почти немислимого для историков уровня.

Остановимся коротко на предыстории спора о классах и сословиях. Историки XIX — начала XX в. не слишком интересовались социальными структурами. В их трудах фигурировали довольно неопределенные группы людей¹², обозначенные терминами, унаследованными от Старого

⁸ Maitland F. W. *Domesday Book and Beyond*. London, 1897.

⁹ Below G. von. *Das Aeltere deutsche Städtewesen und Bürgertum*. Bielefeld; Leipzig: Velhagen und Klasing, 1898.

¹⁰ Bloch J.-R. *La noblesse en France au temps de François Ier: Essai d'une définition de la condition juridique et sociale de la noblesse au début du XVI^e siècle*. Paris: F. Alcan, 1934.

¹¹ Ж.-Р. Блок, хотя и не принимал подобного заключения, безусловно, ощущал такой соблазн. Автор этих строк также в свое время был склонен ставить под сомнение «реальность» макроситорических категорий на том основании, что они не могли быть определены в логике необходимых и достаточных условий (Копосов Н. Е. *Высшая бюрократия во Франции XVII века*. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. С. 224).

¹² Ср. ироническое замечание Р. Мунье по поводу употребления историками XIX в. неопределенно-личного местоимения «он» при описании социальных движений: Mousnier R. *La plume, la faucille et le marteau*. Paris: Presses Universitaires de France, 1970. P. 266. Note 1.

Порядка и понимавшимися в соответствии с традицией, непосредственно восходящей к предреволюционному или революционному политическому дискурсу, традицией, которая перешла затем в политизированные концепции классовой борьбы сначала историков эпохи Июльской монархии, а затем и Маркса. Главными персонажами истории классовой борьбы были дворянство, буржуазия и, отчасти, крестьянство, к которому вскоре добавился и пролетариат. Впрочем, не забывали историки и унаследованную от Старого Порядка схему трех сословий королевства — духовенства, дворянства и третьего сословия. Именно в этих терминах дореволюционное французское общество чаще всего описывалось современниками. С некоторыми модификациями схема трех сословий даже в XVIII в. оставалась весьма распространенной дискурсивной конвенцией, и характерно, что теоретиками классовой борьбы она была воспринята, в том, что касалось ее формальной структуры, со сравнительно небольшими изменениями. Состав и имена персонажей социальной истории зачастую оставались прежними, пусть даже характеристики их значительно обновились. Конечно, всегда существовали и более дробные классификации, так что при рассказе об отдельных событиях историки имели возможность использовать более конкретные термины, но описания общества Старого Порядка в целом всегда зависели от двух структурно близких моделей — теории классов и теории сословий. Постепенное накопление эмпирического материала долгое время не мешало применению этих моделей, во многом потому, что историки избегали давать используемым ими понятиям слишком жесткие определения, предпочитая работать со смутными образами социальных групп, образами, которые основывались на компромиссе между двумя моделями.

Начало нового этапа развития социальной истории приходится на 1920—1930-е гг. и связано прежде всего с формированием школы «Анналов». Однако, как мы увидим ниже¹³, в интерпретации основателей этой школы социальная история была не столько одной из «частных» историй, сколько подходом к глобальной истории (что в свою очередь побуждало рассматривать взаимоотношения между людьми как одно из проявлений свойственных той или иной эпохе ментальных установок). Дав блестящие результаты в трудах Марка Блока и Люсьена Февра, широкое понимание социальной истории позднее отошло на задний

¹³ См. гл. 4.

план, и ее задача была переосмыслена в 1950–1960-е гг. как изучение «социальных групп, их стратификации и отношений»¹⁴. Такое переосмысление в значительной степени объяснялось влиянием марксизма, особенно заметным во французской историографии в 1950-е гг. и стимулировавшим интерес к истории социальных групп¹⁵. Благодаря марксизму интерпретация истории прежде всего как истории классовой борьбы стала неизменно присутствующей во французских исторических дебатах проблемой¹⁶.

Массовое увлечение марксизмом вызвало обратную реакцию ряда историков, которые раньше спокойно использовали элементы теории классов. Применительно к истории Старого Порядка наиболее показат-

¹⁴ Так определяют понимание историками 1960-х гг. предмета социальной истории Р. Шартье и Д. Рош (Chartier R., Roche D. *Histoire sociale // La Nouvelle Histoire / Pub. par J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978. P. 516*). Аналогичные формулировки легко найти и у самих участников спора о классах и сословиях. Так, Э. Лабрусс понимал социальную историю как «историю социальных групп и их отношений» (Labrousse C.-E. *Introduction // L'Histoire sociale: Sources et méthodes: Colloque de Saint-Cloud (1965). Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 2*). По Мунье, социальная история интересуется «формированием общества самого по себе (*constitution de la société elle-même*), распределением индивидов по группам, отношениями групп между собой» (Mousnier R. *La plume... P. 12*). Характерны некоторые отличия в формулировке предмета социальной истории наиболее последовательным из участников спора о классах и сословиях марксистом — А. Собулем, который также определяет социальную историю как «исследование общества и составляющих его групп», но при этом уточняет: глубочайший смысл истории связан «с классами и динамикой их противоречий» (Soboul A. *Description et mesure en histoire sociale // L'Histoire sociale... P. 11, 12*). Очевидно, что социальная история была для него чем-то средним между историей социальных групп и историей классовой борьбы, т. е. между интерпретациями, отсылавшими к совершенно различным моделям исторического процесса.

¹⁵ Lefebvre G. *Les paysans du Nord pendant la Révolution française. Paris, 1924*; Idem. *Etudes orléannaises. T. I. Contribution à l'étude des structures sociales à la fin du XVIIIe siècle. Paris, 1962*; Labrousse C.-E. *La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution. Paris: Presses Universitaires de France, 1944*.

¹⁶ Применительно к истории Старого Порядка важную роль сыграл перевод на французский язык исследования Б. Ф. Поршнева «Народные восстания во Франции перед Фрондой» (Поршнева Б. Ф. *Народные восстания во Франции перед Фрондой. М.: Изд-во АН СССР, 1948*). Поршнева последовательно развивал тезис о классовой природе французского абсолютизма и доказывал, что главная причина возникновения абсолютной монархии состояла именно в обострении классовой борьбы народных масс. Историки-марксисты предложили и аналогичную интерпретацию причин Великой французской революции.

тельно работы Ролана Мунье. Полемизируя с теорией классов, которой он предъявлял, в частности, упрек в анахронизме, Мунье обращается к изучению социальных концепций XVII в. и приходит к выводу, что при Старом Порядке социальный статус индивида зависел от множества факторов, но доминирующим среди них была профессия и связанное с ней достоинство, или честь, причем по поводу «иерархии достоинств» в обществе существовал широко разделенный консенсус. Именно благодаря консенсусу реальные социальные группы выделялись прежде всего в соответствии с критерием достоинства, а не богатства, так что действовали в истории XVII в. не классы, а сословия¹⁷. Таким образом, в споре о классах и сословиях столкнулись разведенные на полярные позиции две ранее мирно уживавшиеся в рассуждениях историков модели общества¹⁸.

¹⁷ Mousnier R. *Problèmes de stratification sociale* // Mousnier R., Labatut J.-P., Durand Y. *Deux cahiers de la noblesse pour les Etats Généraux de 1649–1651*. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. P. 9–49; Idem. *Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours*. Paris: Presses Universitaires de France, 1969; Idem. *Problèmes de méthode...*; Idem. *Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'échantillon de 1634, 1635, 1636*. Paris: A. Pedone, 1975.

¹⁸ Конечно, это не значит, что все участники спора занимали крайние позиции. Даже сравнительно ортодоксальные марксисты Альбер Собуль и Пьер Вилар прекрасно отдавали себе отчет в комплексности социального статуса, хотя они и считали экономический критерий безусловно решающим. Так, А. Собуль писал: «Разве в конечном итоге не общественные отношения по поводу производства, то есть способ производства и отношения между классами, являются самым надежным и самым ценным критерием при изучении социальных структур?» (Soboul A. *Description et mesure...* P. 19). Патриарх «левой» французской историографии Эрнест Лабрусс пытался играть роль арбитра между Собулем и Мунье. Но хотя в собственных исследованиях Э. Лабрусса Французская революция интерпретировалась скорее в контексте долгосрочной экономической конъюнктуры, что и обеспечило ему место в пантеоне школы «*Анналов*», в нем, по воспоминаниям учеников, наряду с «официальным (Лабруссом. — Н. К.) историком экономики» жил как бы двойник — «старый республиканец и социалист, увлеченный классической и даже сентиментальной историей рабочего движения» — т. е. историей классовой борьбы (Augulhon M. *Vu des coulisses* // *Essais d'Ego-histoire* / Pub. par P. Nora. Paris: Gallimard, 1987. P. 41). Поэтому в главном Лабрусс обычно оказывался гораздо ближе к Собулю, чем к Мунье. Еще более компромиссную позицию занимали его многочисленные ученики — «группа Лабрусса», прежде всего Аделин Домар и Франсуа Фюре (Dau-mard A., Furet F. *Méthodes de l'histoire sociale: Les archives notariales et la mécanographie* // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1959. Vol. 14. P. 676–693; Eidem. *Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe siècle*. Paris: A. Colin, 1961).

Однако интеллектуальное своеобразие спора определялось не самими теориями, а характером аргументации, теми требованиями, которые предъявлялись к доказательствам. В этом отношении между участниками спора существовало полное согласие, что было связано с эволюцией практики исторического исследования. 1950–1960-е гг. стали не только временем «сциентистской мечты», когда историки в очередной раз ощутили непреодолимый соблазн использовать методы точных наук, но и периодом стремительного количественного роста исторической профессии¹⁹, позволявшего в невиданных ранее масштабах практиковать коллективные исследования. Именно с коллективными исследованиями, использующими количественные методы и подвергающими сплошной обработке новые пласты источников, связывали тогда будущее историографии, надежды на превращение истории в науку²⁰. На этом в значительной мере основывалась программа школы «Анналов», но далеко не только она. Социальная история 1950–1960-х гг. формируется именно как коллективное предприятие. И у Эрнеста Лабрусса, и у Ролана Мунье имеются «команды» учеников, которые сходятся в споре о классах и сословиях. Мэтры набрасывают им программы исследований и ждут от них доказательств своей правоты. Именно обсуждение «текущих исследований» составляет организационную рамку спора, и неудивительно, что разворачивается этот спор главным образом вокруг методологических, если не источниковедческих, вопросов.

Началом спора можно считать объявление Эрнестом Лабруссом на X Международном конгрессе исторических наук в Риме своей программы исследования буржуазии XVIII–XIX вв.²¹ Речь в программе шла

¹⁹ См., например, данные о росте числа кафедр социальных наук во французских университетах, показывающие, в особенности для истории, резкий пик, приходящийся на 1950-е гг.: Clark T. N. *Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1973. P. 31. См. также: Rosch D. *Les historiens aujourd'hui: Remarques pour un débat // Vingtième siècle*. 1986. № 12. P. 3–22.

²⁰ Febvre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 55–60. В более поздних работах Февр возвращается к этой теме, утверждая, что проблема организации коллективных исследований становится центральной проблемой «ремесла историка» и что традиционный историк должен уступить место «руководителю команды» (*Ibid.* P. 430, 427).

²¹ Labrousse C.-E. *Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeoisie occidentale aux XVIIIe et XIXe siècles // Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma, 1955)*. Vol. 4. Firenze, 1955. P. 365–396.

о том, чтобы изучить серийные источники (как, например, приходские регистры и нотариальные акты) и провести массовое историко-социологическое анкетирование. Именно оно должно было дать научное доказательство теории классов. В ответ Мунье развернул аналогичную программу исследований²². На годы развертывания этих программ, годы их методологического продумывания как раз и приходится апогей спора о классах и сословиях, вехами которого стали коллоквиумы в Сен-Клу²³.

Собственно, изначальная проблематика спора имела смысл прежде всего в контексте событийной истории. То, кто действовал на подмостках истории — сословия или классы, — должно было предопределить выбор интриги. Точнее, выбор интриги предопределял состав и характеристики необходимых персонажей. Это отчасти объясняет чрезвычайную простоту изначальных вариантов столкнувшихся схем. Но по мере развертывания массовых статистических исследований не просто становилось очевидным, что эта простота обманчива: происходило постепенное вычленение конструирования персонажей исторической драмы как самостоятельной исследовательской задачи, более или менее автономной по отношению к первоначальной проблематике событийной истории. Иными словами, происходила автономизация статического кадра. Спор о классах и сословиях превращался в «закрытый спор», повинующийся почти исключительно своей собственной внутренней логике, хотя изначальный интерес спорящих к социальным структурам был подсказан необходимостью объяснить происхождение абсолютной монархии или Французской революции. Но дискуссия очень быстро сконцентрировалась вокруг проблем метода, и первоначальные мотивы были забыты.

В сердце социальной истории 1960-х гг. находилась проблема синтетической социальной иерархии. Стремление реконструировать эту

²² Среди исследований, написанных «в духе Лабрусса», укажем (кроме цитированных исследований А. Домар и Ф. Фюре) следующие: Deyon P. *Amiens capitale provinciale: Etude sur la société urbaine au XVIIe siècle*. Paris; La Haye: Mouton, 1969; Gardin M. *Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle*. Paris: Les Belles Lettres, 1969. Среди работ «в духе Мунье» см.: Durand Y. *Les fermiers généraux au XVIIIe siècle*. Paris: Presses Universitaires de France, 1971; Labatut J.-P. *Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle*. Paris: Presses Universitaires de France, 1972.

²³ *L'Histoire sociale...; Ordres et classes: Colloque d'histoire sociale (Saint-Cloud, 1967)* / Pub. par D. Rosch. Paris; La Haye: Mouton, 1973.

иерархию разделяли спорящие несмотря на различие их идеологических позиций, что и определило интеллектуальное лицо спора о классах и сословиях. Задача описать «подлинную социальную иерархию Старой Франции» стала для спорящих самоцелью. Точнее, в интеллектуальном контексте эпохи, особенности стиля мысли которой представлены полнее всего структурализмом, характеристика социальной структуры Старого Порядка позволяла немедленно перейти к «последним вопросам» о «природе» общества, которые определяли проблемный горизонт социальных наук, перескочив этап включения полученной модели в дискурс глобальной истории. Статический кадр воспринимался почти как самодостаточный, тем более что лабруссовская концепция «истории трех уровней» (вне рамок которой подобный спор был вообще едва ли возможен)²⁴ предполагала столь длительную эволюцию структур, что необходимость принимать ее в расчет была достаточно вторичной для анализа самих структур (хотя это не значит, что она вообще не повлияла на характер спора).

Именно по мере погружения в конструирование персонажей социальной истории становилось очевидным, что в обществе Старого Порядка сосуществовали различные принципы стратификации, поскольку социальное положение людей зависело от целого ряда факторов²⁵. Тео-

²⁴ Речь идет об уровнях экономической истории, социальной истории и истории ментальностей. Центральный элемент этой модели — «автономия социального» — была необходимой предпосылкой стремления описать социальное в его собственных терминах, с помощью нередуцируемых к явлениям других уровней критериев. О роли концепции трех уровней истории для спора о классах и сословиях см.: Noiriel G. *Les enjeux pratiques de la construction de l'objet: L'exemple de l'immigration // Histoire sociale, histoire globale?* / Pub. par C. Charle. Paris: Maison Sciences de l'Homme, 1993. P. 105. Мы вернемся к этому вопросу в гл. 4.

²⁵ Множественность критериев социальной стратификации признавали решительно все участники спора о классах и сословиях. «Сословие и класс, — говорил Э. Лабрусс, — определяется не на основании одного критерия, но на основании многих критериев, более или менее аналогичных, но по-разному сгруппированных... Ни сословие, ни класс не сводятся к богатству, происхождению, функциям, но и сословие, и класс основываются одновременно на богатстве, семейных связях, функциях» (Labrousse С.-Е. *Conclusion // Ordres et classes...* P. 267). По словам А. Домар, «необходимо (учитывать. — Н. К.) множество классификаций: таков общий принцип» (Daumard A. *Une référence pour l'étude des sociétés urbaines en France aux XVIIIe et XIXe siècles: Projet de code socio-professionnel // Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine.* 1963. Vol. 10. P. 188. В совместной с Ф. Фюре книге она уточняет это положение: «Профессия, достоинство (*qualité*)

ретически с того момента, когда обнаруживается многомерность социального статуса индивидов и, следовательно, приходится говорить о существовании множества различных иерархий, открывается несколько логических возможностей. Эти иерархии могут либо 1) никак не пересе-

и уровень богатства являются тремя основными для описания социальных структур элементами» (Daumard A., Furet F. *Structures et relations...* P. 57–58). Эту же мысль А. Домар проводит в собственном исследовании о французской буржуазии XIX в.: «Чтобы описать различные социальные группы, нужно увеличить число критериев и учитывать профессию и достоинство (*qualité*), состояние и доходы, размер ценза., уровень и стиль жизни, которые далеко не автоматически определяются предыдущими факторами» (Daumard A. *La bourgeoisie parisienne de 1815 a 1848*. Paris: S. E. V. P. E. N., 1963. P. 4). Согласно Р. Мунье, «экономическая стратификация — это одна из стратификаций, но она не обязательно является социальной стратификацией изучаемого Вами общества. Социальная стратификация может быть совсем иной, она может основываться на оценке достоинства, чести, положения. Иерархия положений — это другая форма стратификации, но и она сама по себе может очень легко оказаться отличной от социальной стратификации, поскольку ее надо комбинировать с другими вещами. Существуют еще явления, которые можно обозначить словом «власть»... Они дают третий тип социальной стратификации, но и он тоже не будет, возможно, социальной стратификацией» (Mousnier R. *Intervention dans la discussion // L'Histoire sociale...* P. 28). Все характерно в этой цитате — ощущение множественности типов стратификаций и вместе с тем напряженный поиск некоторой абсолютной, «социальной» стратификации, неспособность точно сказать, является ли иерархия достоинств такой «настоящей» стратификацией или эту последнюю все же надо представлять как некоторый синтез частичных стратификаций. Характерны и колебания в употреблении выражения «социальная иерархия» — с одной стороны, оно относится к частичным иерархиям (например, к иерархии власти), поскольку они характеризуют строение общества и, следовательно, могут быть названы образованным от слова «общество» прилагательным, с другой — им обозначается мистическая искомая иерархия, так что «социальная» оказывается синонимом «подлинной». Согласно А. Собулю, «когда речь идет о столь сложно структурированных обществах, как общество Старого Порядка, необходимо, естественно, прибегать к различным критериям». Впрочем, несмотря даже на то, что общество Старого Порядка было, по Собулю, «одновременно и обществом классов, и обществом сословий», он утверждал, что «сословие — это лишь юридическая форма, лишь видимость, а социальная реальность — это класс» (Soboul A. *Intervention dans la discussion // Ibid.* P. 29, 28). Последнюю формулу — «классификация по сословиям — это юридическая классификация» — готов был, впрочем, принять и Лабрусс, что, казалось бы, плохо совместимо с представлением о множественности критериев стратификации, поскольку на языке Лабрусса «юридическое» в данном случае означало «фиктивное» (Labrousse C.-E. *Intervention dans la discussion // Ibid.* P. 30). Не случайна мгновенная реакция Мунье на эту реплику Лабрусса: «Нет! Вовсе нет! В XVI и XVII веках классификация по сословиям была социальной реальностью» (Mousnier R. *Intervention dans la discussion // Ibid.*).

каться между собой, либо 2) совпадать друг с другом, либо 3) взаимодействовать таким образом, чтобы имело смысл говорить об единой или синтетической иерархии, либо, наконец, 4) образовывать многомерное пространство, не только не сводимое к какой-либо одной составляющей, но и не проецируемое на «результатирующее» измерение синтетической иерархии.

Собственно, логическая сторона спора о классах и сословиях в значительной мере как раз и состояла в выборе между тремя последними вариантами (поскольку первый вариант, конечно, неправдоподобен). Что касается второго варианта, то он чрезвычайно соблазнял спорящих, поскольку позволял объяснить, как учитывающая множественность факторов социального статуса «подлинная социальная иерархия» может оказаться либо иерархией классов, либо иерархией сословий. Однако исследования убеждали, что, в особенности для Старого Порядка, иерархии, построенные на основании различных признаков, демонстрировали очевидную тенденцию к несовпадению между собой. Историки постепенно обнаруживали, что их реальный выбор мог быть только между третьим и четвертым вариантами. На исходе спора о классах и сословиях модель многомерной социальной структуры позволила обойти те острые проблемы, которые возникали на пути поиска синтетической социальной иерархии. Именно с того момента, когда была занята такая позиция²⁶, исчезла логическая рамка, создававшая единство спора о классах и сословиях. Но социальные историки 1960-х гг. держались за создание модели синтетической социальной иерархии. К причинам этого мы еще вернемся, сейчас отметим только, что здесь сказывалась инерция первоначальной постановки вопроса. У спорщиков оставалась надежда, что найденная синтетическая иерархия будет отвечать либо модели общества классов, либо модели общества сословий. Иными словами, они колебались между вторым и третьим вариантами до тех пор, пока возврат ко второму не стал восприниматься как слишком очевидное упрощение, а логически последовательно реализовать третий вариант не удалось. В известном смысле, именно в этом и заключалось дело — социальная история 1960-х гг. не смогла реконструировать синтетическую социальную иерархию.

²⁶ Perrot J.-C. *Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle // Ordres et classes...* P. 141–166; Chaussinant-Nogaret G. *La noblesse au XVIIIe siècle: De la féodalité aux Lumières*. Paris: Hachette, 1976.

Сложность подобной реконструкции была в значительной мере эмпирического происхождения. Историки хотели не просто декларировать наличие во французском обществе Старого Порядка такой синтетической иерархии, что было достаточно несложным делом, но в соответствии с научным методом эмпирически *реконструировать* ее. Иными словами, они столкнулись с задачей сведения основанной на многообразии факторов социального статуса многомерной модели общества к единой синтетической иерархии. Именно логическая трудность такого предприятия оказалась непосильной для социальной истории и внутренне способствовала ее распаду. В чем состоит трудность, нам поможет понять конкретный пример.

Логические ошибки нередко красноречивее всего свидетельствуют о том, как работает наше мышление. Пример такой логической ошибки мы находим в книге Франсуа Блюша и Жана-Франсуа Солнона «*Подлинная социальная иерархия Древней Франции*»²⁷. Книга была опубликована уже тогда, когда спор о классах и сословиях стал историографическим преданием, а интересы исследователей переместились от социальной к социокультурной истории. Тем не менее по своей проблематике и стилю она в полной мере примыкает к работам 1960-х гг. Характерна, в частности, ее претензия разрешить, наконец, те методологические трудности, которые были связаны с констатацией множества иерархий и стремлением найти их результирующую. С точки зрения Блюша и Солнона, ни теория классов, ни теория сословий не отражают искомой социальной иерархии, поскольку эта последняя, синтезируя частичные иерархии, основанные на таких критериях, как достоинство, богатство, власть и так далее, должна дать некоторое новое качество. Иными словами, Блюш и Солнон последовательно отстаивают третий из выделенных выше вариантов соотношения частичных иерархий.

Именно отражением синтетической, т. е. подлинной социальной иерархии Блюш и Солнон считают Тариф первой капитации (1695) — первого в истории Франции всеобщего подоходного налога. В этом документе все подданные Короля-Солнца разделены на 569 «рангов», которые затем были сгруппированы в 22 «класса». Каждому классу

²⁷ Bluche F., Solnon J.-F. *La véritable hiérarchie sociale de l'Ancienne France: Le Tarif de la première capitation (1695)*. Genève: Droz, 1983.

соответствовала определенная ставка налога. Согласно Блюшу и Солнону, эта группировка происходила не на основании оценки доходов, как следовало бы ожидать с учетом фискального характера документа, и уж тем более никак не в соответствии с сословным делением общества. Нарушением всех принятых сословных различий был каждый класс капитации. В одном классе могли объединяться, например, такие «ранги», как герцоги и пэры, советники королевского финансового совета и генеральные откупщики финансов (второй класс) или дворяне — владельцы замков, «буржуа второстепенных городов» и богатые фермеры (пятнадцатый класс). Первый подоходный налог являлся, с точки зрения Блюша и Соллона, именно налогом с «синтетического» социального статуса, а не с «частичного» экономического положения, так что в итоге Тариф дает нам достаточно точную картину синтетической социальной иерархии.

Мы вернемся к анализу этого документа в гл. 3. Сейчас же нас интересует лишь следующее замечание Блюша и Соллона: ценность Тарифа для историка заключается не только в том, что документ дает целостную картину французского общества, но и в том, что его данные можно использовать для точного вычисления индивидуальных рангов. В самом деле, совмещение упомянутых в документе должностей было самым обычным делом. Например, герцог мог быть одновременно маршалом Франции, что повышало его социальный ранг. Таким образом, чтобы вычислить индивидуальные ранги, необходимо выработать правила, позволяющие за каждое совмещение добавлять определенное количество очков к базовому количеству очков, соответствующему наиболее высокой из занимаемых индивидом позиций²⁸.

Конечно, остается неясным, что такого рода вычисления дают для понимания индивидуальных случаев, которое обычно страдает от формализации. Напротив, для конструирования социальной иерархии подобная процедура, формализованная или нет, представляется необходимой. Парадоксальным образом Блюш и Соллон не заметили, что, согласно их собственному предположению, именно она лежала в основе Тарифа капитации. В самом деле, если принадлежать к определенному классу Тарифа означало иметь соответствующий синтетический социальный статус, то, например, герцоги попали во второй класс не только

²⁸ *Ibid.* p. 91.

на основании их герцогского титула, но также и потому, что они в большинстве своем располагали крупными состояниями, имели высшие воинские звания, занимали ответственные или хотя бы почетные должности, могли похвастаться знатным происхождением и престижными фамильными связями и т. д. Именно взятые вместе все эти факторы позволяли «типичному герцогу» претендовать на второй класс в социальной иерархии. Таким образом, слова Тарифа обозначают синтетические статусы, хотя в других контекстах те же самые слова могут обозначать частичные статусы. Слово «герцог» может отсылать и к герцогскому титулу, и к полному описанию социального положения «среднего» герцога, и что оно означает — зависит от контекста.

Именно эта двойственная семантическая структура социальных терминов явилась причиной совершенной Блюшем и Солноном логической ошибки. Социальные термины подсказывают нам не столько идею синтетической социальной иерархии, с которой они, худо ли, хорошо ли, могут быть соотнесены *a posteriori*. Скорее, они подсказывают нам аналитические значения слов. В принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы вычислять индивидуальные ранги в соответствии с рекомендациями Блюша и Солнона²⁹. Если слово «герцог» понимать как дворянский титул, к положенным герцогу за его титул баллам можно приплюсовать баллы за воинское звание, принадлежность к знатному роду, богатство и пр. Такие подсчеты становятся логически невозможными с того момента, когда в них используются оценки, данные Тарифом, который изменяет смысл использованных в нем слов, так что оценки относятся уже не к частичным, но к синтетическим социальным статусам.

Итак, если считать, что Тариф отражает синтетическую социальную иерархию, его термины относятся к синтетическим социальным статусам. Но если мы подсчитываем индивидуальные «ранги», как предлагают Блюш и Солнон, то мы используем эти же термины в аналитическом смысле. Иначе говоря, одни и те же слова отсылают либо к полному описанию объекта, либо к ограниченному количеству коннотаций, связанных с его именем. Но поскольку это — одни и те же слова, ничего

²⁹ Такой метод предлагается в ряде социологических исследований и, в частности, в книге французского социолога Эмиля Пена «Социальные классы», приблизительно современной и чрезвычайно близкой по духу спору историков о классах и сословиях (Pin E. *Les classes sociales*. Paris, 1962. P. 28).

странного нет в том, что мы переключаемся с одного способа их использования на другой, даже не замечая этого. Иначе логическая ошибка такого типа была бы невозможна.

За конфликтом спонтанного понимания социальных терминов и формы Тарифа «эффект Блюша-Солнона» позволяет заметить столкновение двух способов мыслить социальные группы — описания, направляемого словами, и классификации, имеющей целью произвести тариф. Описание и классификация в равной мере конститутивны для наших репрезентаций социальных структур, хотя пропорция, в которой они сочетаются в интеллектуальной практике той или иной эпохи или исторической школы, может весьма значительно варьировать. Но главное в том, что они нераздельны в мысли. «Классификация и номинация — два аспекта фиксации (*anchoring*) репрезентаций», — писал С. Московиси³⁰. С одной стороны, целостности, сформированные с помощью классификации, должны находить свое место в историческом дискурсе, не говоря уже о том, что обычно мы классифицируем лингвистически кодированные или хотя бы потенциально кодируемые предметы. С другой стороны, поскольку опыт эмпирической классификации является одним из базовых элементов нашего опыта мира и, следовательно, наших критериев возможного, любое описание, которое слишком очевидно будет противоречить этим критериям, покажется неправдоподобным. Даже когда мышление следует в основном одной из этих логик, вторая неизбежно присутствует на горизонте сознания и всегда может быть актуализирована. Но в «состоянии покоя» наш здравый смысл прекрасно умеет избегать слишком острого конфликта двух логик или хотя бы пренебрегать им. Напротив, если их обычное равновесие оказывается нарушенным, непоследовательность мысли может превысить допустимый уровень или, точнее, быть обнаруженной. Это обычно провоцирует конфликт логик и вопрошание о принципах рассуждения. Нечто подобное именно и произошло в 1960-е гг.

Оригинальность и самое возникновение социальной истории 1960-х гг. связаны, по-видимому, с переменами, происшедшими в соотношении классификации и описания. Реконструкция социальных структур в историографии XIX — первой половины XX вв. зависела прежде

³⁰ Moscovici S. The Phenomenon of Social Representations // *Social Representations* / Ed. by R. M. Farr, S. Moscovici. Cambridge; Paris: Cambridge U. P.: Maison des Sciences de l'Homme, 1984. P. 35.

всего от дискурсивных, точнее — от дескриптивных механизмов. Напротив, 1960-е гг. были отмечены некоторой переориентацией исторической мысли, в большей мере опирающейся теперь на процедуры эмпирической классификации. Следует в полной мере оценить новизну упомянутой программы социальной истории Эрнеста Лабрусса³¹, который стремился связать историческое исследование с интеллектуальным опытом эмпирической социологии и статистических методов, опытом, который в этот период превращался в важную составляющую стиля мысли, свойственного исследователям в области социальных наук³². Речь шла не просто о том, чтобы поставить новые количественные методы на службу историческому исследованию: эти методы влекли за собой модификации в способе полагания объекта и постановки задачи социальной истории.

Социальная история 1960-х гг. основывалась на глубоко статистическом видении социального. Конечно, и самое рождение этого понятия было тесно связано со становлением «статистического разума», но до 1960-х гг. интеллектуальный опыт статистики не был в полной мере востребован социальной историей. Напротив, в 1960-е гг. ожидалось, что историки дадут описание социальных структур, основанное на статистической обработке серийных источников. Дебаты в Сен-Клу проникнуты пафосом количественной истории³³. Неслучайно в это время слово «модель» постоянно выходит из-под пера историков. Но модель должна была быть получена именно методом эмпирической классификации.

³¹ Labrousse С.-Е. *Voies nouvelles...* Позднее на коллоквиуме в Сен-Клу Лабрусс подчеркивал: «Новая социальная история развивается в контакте с обновленной экономической историей и переживающей стремительный подъем социологией» (Labrousse С.-Е. *Introduction // L'Histoire sociale... P. 4*). Следует подчеркнуть, что под обновленной экономической историей во Франции 1960-х гг. имелись в виду прежде всего работы Ж. Маржески, представлявшие собой наиболее последовательную попытку статистического подхода к экономике.

³² Влияние социальной статистики и структурной социологии на лабруссовский проект социальной истории подчеркивал, в частности, П. Леон (Leon P. *Histoire économique et histoire sociale en France: Problèmes et perspectives // Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*. Vol. 1. Toulouse: Privat, 1973. P. 306).

³³ «С научной точки зрения существует только количественная социальная история», — пишут А. Домар и Ф. Фюре (Daumard A., Furet F. *Méthodes de l'histoire sociale... P. 676*). «Статистическая обработка представляет собой основной метод изучения социальных структур», — вторит им А. Собуль, подчеркивая необходимость и возможность «преодолеть традиционный описательный анализ с помощью систематического использования количественных методов» (Soboul A. *Description et mesure... P. 18, 31*).

Лишь затем она подлежала описанию. Когда Пьер Вилар упрекает Эрнеста Лабрусса за отсутствие в его программном докладе на Римском конгрессе определения буржуазии, Лабрусс отвечает: сначала надо эмпирически получить социальные группы, а потом посмотреть, соответствуют ли они теоретически постулируемым классам³⁴. Конструирование модели должно предшествовать наименованию. Моделирование получило, таким образом, определенную автономию в умственной работе историка. Оно могло быть теперь противопоставлено описанию. Отсюда — обострение их до тех пор сглаженного конфликта. Ранее, находясь на горизонте сознания, логика эмпирического упорядочения могла лишь несколько модифицировать логику описания, влияя на критерии правдоподобия. Теперь же, когда моделирование не просто обрело самостоятель-

³⁴ *Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma, 1955. Roma, 1957. P. 528–530.* В том же смысле высказывалась и А. Домар в фундаментальном исследовании о буржуазии XIX в.: «Мы не можем исходить из определения буржуазии, поскольку, напротив, мы ставим целью уточнить содержание этого понятия» (Daumard A. *La bourgeoisie parisienne...* P. 3, 30). Впрочем, иногда о модели говорилось как о некотором предварительном описании, составленном до начала количественного исследования, иными словами, как о рабочей гипотезе, что отражало колебания исследователей, не решавшихся в полной мере принять логику эмпирического упорядочения. Характерно, что принцип «модель до количественного исследования» отстаивали преимущественно исследователи, занимавшие в споре крайние позиции, иными словами, более других считающие на то, что искомая социальная иерархия может в основном совпасть либо с иерархией классов, либо с иерархией сословий. «Считать — конечно, считать надо. Но прежде хорошо бы понять, что мы будем считать», — говорил Р. Мунье. С его точки зрения, «прежде всего следовало бы определить, каков принцип организации общества и какие основные социальные группы образуются в социальной стратификации данного общества в результате действия этого принципа» (Mousnier R. *Intervention dans la discussion // L'Histoire sociale...* P. 27). Со своей стороны, А. Собуль говорил об «ограничениях социальной истории, которая хотела бы стать чисто количественной», и подчеркивал: «Считать надо, но только считать недостаточно». Статистические методы, по Собулю, «действительны только при условии, что они опираются на ясно сформулированные базовые понятия». «Количественные уточнения должны идти рука об руку с описательным анализом» (Soboul A. *Description et mesure...* P. 21, 18, 20). В обоих случаях критика более или менее открыто была направлена прежде всего против А. Домар, которая, впрочем, и сама соглашалась, что «количественные методы — не панацея» (Daumard A. *Intervention dans la discussion // L'Histoire sociale...* P. 31). Такое согласие в отношении ограничений количественных методов, соседствовавшее с энтузиазмом по их поводу, не должно вводить в заблуждение. Оно диктовалось прежде здравым осознанием практической и интуитивным ощущением логической невозможности реализовать идеал эмпирической группировки.

ность, но и было особенно высоко оценено как гарант научности социальной истории, конфликт двух процедур вышел на поверхность. С ним приходилось иметь дело, что и привело к резкому оживлению методологической рефлексии³⁵. Поэтому можно сказать, что социальная история 1960-х гг. родилась в результате резкого вторжения статистического моделирования в преимущественно дискурсивную практику традиционной социальной истории.

Рассмотрим теперь эти две процедуры более внимательно. Начнем с описаний. Прежде всего отметим, что они основываются главным образом на предшествующих описаниях — как на полных, так и на сокращенных. Таким образом, речь идет об интерпретативной, следовательно, герменевтической операции. Роль традиции очевидна в этой преемственности формы — историк работает с данными, уже предфигурированными дескриптивными механизмами, подобными тем, которые структурируют его собственную мысль. Далее, описание социальной структуры имеет целью представить общество разделенным на социальные группы. Так, во всяком случае, понимала свою задачу социальная история 1960-х гг., которая стремилась идентифицировать и соотнести между собой социальные группы того или иного общества.

С идентификацией, однако, тесно связано присвоение имени — номинация. Можно ли идентифицировать, не присваивая имени, например, с помощью полного перечня свойств группы? На первый взгляд, да, но этот взгляд обманчив. Дело не просто в том, что дискурс, избегающий сокращенных или кодированных описаний, будет невнятным и непомерно громоздким. Дело прежде всего во внутренних условиях идентификации. Объект является для нас чем-то большим, чем простой суммой его качеств. Поэтому идентификация не может быть сведена к распознаванию этих качеств, она требует восприятия объекта как тако-

³⁵ Участники дебатов в Сен-Клу прекрасно осознавали значение этого конфликта. Неслучайно первым докладом на коллоквиуме 1965 г. был поставлен доклад А. Собоуля под названием «*Описание и измерение в социальной истории*». В нем Собоуль рисовал эволюцию социальной истории именно как переход от дескриптивных к количественным методам анализа социальных структур (Soboul A. Description et mesure...). Именно вокруг проблем, порожденных осознанием этого конфликта, и прежде всего вокруг различных возможностей сочетания качественного и количественного анализов, в значительной мере и велись споры в Сен-Клу. Однако разговор шел на чисто прагматическом уровне, и вопрос о логической совместимости «описания и измерения» внимания не привлекал.

вого, что достигается с помощью внутреннего деиктического акта, внешним выражением которого, по-видимому, и является номинация. Чтобы описание «держалось», следует зафиксировать в сознании когнитивную точку, к которой оно могло бы прикрепиться. Если описание соответствует распознаванию черт, номинация представляется лингвистическим выражением внутреннего деиктического акта, фиксации когнитивной точки. Это — две неразрывно связанные между собой стороны мышления. Поэтому психологически описание без присвоения имени не является полным. Можно, следовательно, сказать, что наименование социальных групп — необходимый этап описания социальной структуры.

На практике историки редко испытывают неудобство в связи с необходимостью называть группы, а если такое случается, то скорее в силу отсутствия подходящего имени, нежели из принципиального нежелания называть. Если имен не хватает — их можно и придумать³⁶, хотя, конечно, это может показаться экстравагантным. Но, по-видимому, за редким исключением, присвоение имени осуществляется не *a posteriori*, когда группа уже идентифицирована, а описание ее составлено. Напротив, номинация предшествует описанию и направляет его. Чтобы — и прежде чем — стать текстом, описание должно сформироваться в сознании историка (если не в деталях своего языкового воплощения, то по крайней мере в своих основных чертах, в том числе и в структуре). Информация, почерпнутая из предыдущих описаний, должна быть подвергнута критике, отбору, упорядочению. В процессе превращения в описание эта информация организуется вокруг имен социальных групп

³⁶ Так, Джордж Хапперт предпочитал называть выделенную им как особый социальный слой группу «благородных людей» (*nobles hommes*), т. е. находившихся в процессе аноблирования по земле или по должностям буржуа, главным отличительным признаком которых являлась, по его мнению, приверженность к гуманистическому идеалу человека, английским термином «джентри» не столько потому, что он усматривал сходство этой группы с соответствующим социальным слоем английского общества, сколько потому, что все имевшиеся в его распоряжении термины французского происхождения отсылали к частичным критериям формирования этой группы и тем самым, по мнению Хапперта, вводили в заблуждение относительно принципов ее возникновения как особой, прежде всего культурной, среды (Huppert G. *Les Bourgeois Gentilshommes: An Essay on the Definition of the Elites in Renaissance France*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977). Автор этих строк в свое время, также не найдя в историческом словаре подходящего термина, обозначал приблизительно тот же социальный слой еще более условным термином «группа В» (Копосов Н. Е. *Высшая бюрократия...* С. 105).

(которые мы и будем в дальнейшем называть социальными терминами), что и естественно, поскольку именно так она уже организована в большинстве предшествующих описаний. Таким образом, именно семантическая структура социальных терминов направляет и формирует описания социальных групп, названных соответствующими именами. Поэтому можно сказать, что описание социальных структур есть развертывание значений и, следовательно, герменевтика социальных терминов. Именно от логической структуры социальных терминов зависит логика социальных описаний.

Мы оказались перед проблемой социальной терминологии — номенклатуры, как говорил Марк Блок. Эта номенклатура, как известно, ни в чем не напоминает язык сциентистской мечты, язык всеми признанных и имеющих однозначное и точно определенное содержание символов³⁷. Скорее, слова истории напоминают слова прошлого, к которым непосредственно восходит их родословная. Противопоставлять эти два словаря означает пренебрегать тем капитальным фактом, что историк находится внутри живой традиции языка³⁸. Но и претендующие на науч-

³⁷ Блок М. *Апология истории или ремесло историка*. М.: Наука, 1973. С. 86—101. Существует анекдот о том, как в беседе с известным венгерским историком Ласло Маккаи Фернан Бродель сказал: «Я почти во всем с вами согласен, но, пожалуйста, не называйте то, о чем мы говорим, феодализмом». Маккаи ответил: «Давайте называть это кускусом». И спор о кускусе продолжался еще два часа, благо факт переименования не мог сразу зачеркнуть всю сумму коннотаций, связанных с понятием феодализма и неизбежно структурирующих любую дискуссию.

³⁸ Gadamer H.-G. *Truth and Method*. New York: The Seabury Press, 1975. Между тем, противопоставление этих двух словарей было характерной чертой социальной истории 1960-х гг. (подчеркнем, однако, что даже в рамках такого противопоставления обращение к изучению исторической лексики было крупным достижением в условиях, когда господствующая позиция пренебрегала ролью языка в истории). Так, французские медиевисты — авторы чрезвычайно интересного проекта «исторического изучения социального словаря западного средневековья» писали: «Не следует смешивать интеллектуальный инструментарий изучаемой современным историком эпохи и используемый им научный инструментарий. Необходимо изучать и анализировать первый, определять и обосновывать второй. Всякое историческое исследование нуждается и в том и в другом, но должно учитывать их различную природу». Из дальнейшего следует, что под «ментальным инструментарием» имеется в виду прежде всего именно словарь (Batany J., Contamine P., Guenée B., Le Goff J. *Plan pour l'étude historique du vocabulaire social de l'Occident médiéval // Ordres et classes... P. 87*). Спорить с тем, что необходимо различать мышление и словарь исследователей и мышление и словарь субъектов истории, трудно, но вполне можно усомниться в том, что это действительно явления разной при-

ное (для истории прежде всего — социологическое) происхождение термины исторического словаря также имеют свою историю, которая далеко выходит за пределы «научной традиции», связана с общей историей идей и, следовательно, обычно бывает никак не менее запутанной, чем история слов прошлого. Именно из этой разнородной смеси, отражающей разнообразие исторических эпох, языковых традиций, стилей мысли, символических конфликтов и проектов социальных преобразований, историк берет имена, которые он присваивает социальным группам и вокруг которых организует их описания.

Однако историк имеет дело не только с социальными терминами. Ведь только часть текстов, которые он использует для описания социальной структуры, касаются этой социальной структуры или какой-либо социальной группы в целом. Именно в таких описаниях информация организуется вокруг социальных терминов. Пока историк работает с историографией, обычно так дело и обстоит. Но для источников ситуация усложняется. Возьмем такие источники, как законодательные тексты, юридические трактаты, указы сословий или административную переписку — классические источники социальной истории XIX — первой половины XX в., которыми, впрочем, отнюдь не пренебрегали и в эпоху спора о классах и сословиях. Когда «юрисконсульт» размышляет об аноблировании по должностям или интендант пишет доклад о состоянии торговли в его провинции, информация, которую получает историк социальных структур, касается дворян или купцов во множественном числе. Впрочем, даже и в таких текстах порой упоминаются индивидуальные случаи.

Однако есть другие источники, которые сообщают нам почти исключительно об индивидах. Это прежде всего нотариальные документы — излюбленный источник социальной истории 1960-х гг. Не будет

роды, два разных «сознания», подходить к которым надо по-разному: одно (чужое) — «анализировать», другое (свое) — «оправдывать». На наш взгляд, «принцип симметрии» применим здесь не в меньшей мере, чем при социологическом анализе добившихся признания и отвергнутых научных теорий. О принципе симметрии в социологии знания см.: Bloor D. *Knowledge and Social Imagery*. London: Routledge and Kegan Paul, 1976. P. 5. Асимметричный подход к языку исследователей и субъектов социальной жизни, в высшей степени свойственный историографии, в равной мере характерен и для других социальных наук, например, антропологии и социологии. См.: Atkinson P. *The Ethnographic Imagination: Textual Construction of Reality*. London; New York: Routledge, 1990. P. 177.

преувеличением сказать, что если бы не архивы нотариусов, не было бы и спора о классах и сословиях. Ведь задача социальной истории состояла именно в том, чтобы сконструировать модель общества Старого Порядка на основе нотариальных документов. Но в нотариальных источниках индивиды обозначаются одновременно их собственными именами и социальными терминами. «Такой-то, благородный человек, советник Парижского парламента, сеньор таких-то сеньорий», — так описываются индивиды в брачных контрактах или посмертных описях имущества. Под именами какого типа фигурируют они затем в рассуждениях историков? Первым побуждением историка обычно оказывается отказаться от имен собственных в пользу имен социальных групп. Разве не то, что типично, интересует в первую очередь историка³⁹? Но очень скоро он замечает, что упоминаемые в источниках социальные категории не просто слишком многочисленны — они пересекаются без всякой очевидной системы, поскольку разные социальные термины часто соответствуют одному имени собственному. Накопление таких случаев довольно быстро приводит к радикальной перемене в принципах кодирования: информация начинает организовываться вокруг имен собственных.

Конечно, и до начала «нотариальной эры» в историографии часть информации кодировалась таким образом. Историки всегда, пользуясь разными источниками, умели собирать порой весьма обширные сведения об отдельных индивидах, необходимые им в том числе и потому, что эти индивиды в их глазах служили примерами отдельных социальных типов⁴⁰. Но в рассуждениях, руководимых логикой интерпретации социальных терминов, информация об индивидах имеет своеобразный семантический статус. Она ментально помещается под знак одного или нескольких социальных терминов, к которым она относится, как бы отделяясь от собственного имени индивида. Впрочем, это отделение никогда не бывает окончательным, так что имя собственное остается весьма сильным «центром притяжения» информации, что и объясняет исключи-

³⁹ В этом отношении социальная история XX в. далеко ушла от историзма XIX в., находившего специфику «наук о духе» именно в интересе к индивидуальному.

⁴⁰ Так, большое количество исторических персонажей было известно благодаря исследованиям эрудитов XVII—XIX вв., которые оставили ценные биографические и генеалогические словари, содержащие данные, важные для социальной истории и широко использовавшиеся ею в 1960-е гг., когда были начаты количественные исследования (Копосов Н. Е. *Высшая бюрократия...* С. 6).

тельную роль индивидуальных случаев для «фальсификации» описаний, основанных на интерпретации имен социальных групп. Именно в сопротивляемости имен собственных герменевтике социальных терминов лежит их потенциальная способность высвободиться из сферы дескриптивного рассуждения. Но для того, чтобы такое высвобождение состоялось, недостаточно иметь определенное количество индивидуальных случаев. Необходимо, чтобы произошла перемена ментальной установки, которая позволила бы сконцентрировать внимание на индивидуальных случаях и помыслить их как подлежащее классификации множество.

Именно подобная перемена дала рождение социальной истории 1960-х гг. Массовые разработки нотариальных архивов предоставили в распоряжение историков изобильную и однородную информацию об индивидах, в то время как новое видение социального, распространенное благодаря успехам эмпирической социологии и статистических методов, способствовало переориентации сознания в сторону индивидуальных случаев. Начиная с этого момента, новая социальная история, стремившаяся распространить на прошлое статистические методы эмпирической социологии, должна была не только снабдить себя новыми источниками, но и противопоставить логике социальных терминов, на которой основывались традиционные описания обществ, другую логику — логику имен собственных, которая до сих пор оставалась на горизонте сознания, не вмещиваясь непосредственно в размышления историков (кроме как в качестве инструмента фальсификации описаний), а лишь воздействуя на их критерии возможного.

Общий интеллектуальный климат 1960-х гг. как нельзя более способствовал валоризации статистических методов, сопровождавшейся предостережением против «лжи слов», слишком связанных с идеологиями, чтобы отражать социальную реальность. Классификации социального, закрепленные в языке, вызывали подозрение. Считалось необходимым абстрагироваться от слов, чтобы лучше установить факты. Социальная реальность, которая должна была стать подлинным предметом истории, как бы противопоставлялась словам. Она представлялась вещью грубой и осязаемой, и метафоры «игры в кубики» (т. е. конструирования «подлинных социальных групп» путем эмпирического комбинирования социoproфессиональных категорий) или реконструкции исследователем здания общества из кирпичиков социальных групп отражают

сильную материалистическую чувственность, свойственную научному воображению эпохи⁴¹.

Впрочем, сколь бы осязаемыми они ни были, социальные группы воспринимались как научные абстракции, как сконструированные исследователем исторические факты. Характерно, что даже выражавшие интуицию «тяжелой реальности» общества строительные метафоры были направлены не столько на социальные группы сами по себе, сколько на те аналитические категории, в сети которых историки хотели поймать социальную реальность. «Радияция» этой последней оказывалась, следовательно, достаточно сильной, чтобы реифицировать даже интеллектуальные леса, возведенные исследователем для конструирования социального здания. Вместе с тем научные абстракции казались более важными и в определенном смысле более реальными, чем предсуществующие и наблюдаемые факты, собирать которые ставила своей задачей позитивистская историография. Искомая реальность социального должна была быть дана сознанию иначе, чем факты событийной истории.

Неисчерпаемый источник образов, поддерживающих эту интуицию другой реальности, исследователи 1960-х гг. получили благодаря распространению компьютеров и графической техники репрезентации информации, в которой многие видели альтернативу традиционным интеллектуальным орудиям, опирающимся на семиологические ресурсы словесного языка⁴². От этой новой техники понимания ждали, естественно,

⁴¹ Метафора «игры в кубики» принадлежит Э. Лабруссу, метафора «кирпичиков» — Ж. Жаккару (Labrousse C.-E. *Intervention dans la discussion // Atti...* P. 529; Jacqart J. *Les sources modernes: le XV^e siècle // L'Histoire sociale...* P. 85). Часто говорили также о «социальном здании». По-видимому, такого рода «строительные» метафоры могут рассматриваться как естественное проявление умственной установки на конструктивистский подход к истории (и вообще к предмету познания). В сущности, сама по себе конструктивистская гипотеза, о чем говорит уже этимология слова «конструкция» (Ende H. *Der Konstruktionsbegriff im Umkreis des Deutschen Idealismus*. Meisenheim am Glan: A. Hain, 1973. S. 5–8), представляет собой эксплицирование строительства как «операционной метафоры» (*root metaphor*) для эпистемологии. Об операционных метафорах в науке см., в частности: Brown R. H. *A Poetics for Sociology: Toward a Logic of Discovery for the Human Sciences*. Cambridge; London; New York: Cambridge U. P., 1977. P. 125–171.

⁴² Bertin J. *Sémiologie graphique*. Paris; La Haye: Mouton; Gauthier-Villars, 1967; Idem. *La graphique et le traitement graphique de l'information*. Paris: Flammarion, 1977; Bonin S. *Initiation à la graphique*. Paris: Epi S. A., 1975. P. 16. Автор этих строк благодарен Люсет Валенси, обратившей его внимание на роль теории графиков для социальной

чудес. Сошедшая с экрана компьютера историческая истина должна была предстать перед взором исследователя, но уже не в непрозрачности слов прошлого. Она должна была проявиться непосредственно очевидным образом, в форме, адекватной ее собственной структуре. Многочисленные попытки (в основном оставленные в 1980-е гг.) выработать невербальные, в первую очередь, визуальные языки и обнаружить нелингвистические механизмы мышления свидетельствуют об этой особенностях научного климата 1960-х гг.⁴³

Конечно, социальная история была сравнительно второстепенным по значимости местом интеллектуальных новаций, но свойственный эпохе стиль мысли не мог не сказаться и на ней. Вслед за социологией история была захвачена «утопией адекватного самому себе социального»⁴⁴. Но каковы же естественные формы репрезентации социального? По-видимому, в 1960-е гг. их отождествляли с различными пространственными фигурами, с моделями, диаграммами, графиками — или еще с домиками из кубиков.

Конечно, изначальная проблематика социальной истории 1960-х гг. была сформулирована в форме, характерной для герменевтики социальных терминов. Общество классов немислимо без буржуазии в смысле класса капиталистических собственников, а общество сословий — без дворянства, понятого как сословие, как юридическая категория, что предфигурирует соответствующие описания. Однако с появлением индивидов, подлежащих эмпирической классификации, изначальная

истории 1960-х гг., а также Алин Желински и Жаку Бертену, поделившимся с ним воспоминаниями о формировании и развитии Лаборатории графики при Высшей школе социальных исследований.

⁴³ О семиологии визуальных языков см.: Barthes R. *Eléments de sémiologie* // *Le degré zéro de l'écriture suivi de Eléments de sémiologie*. Paris: Gonthier, 1965. P. 72–172; Francastel P. *Etudes de sociologie de l'art*. Paris: Denoël/Gonthier, 1970; Damisch H. *Sémiologie et iconographie* // *La Sociologie de l'art et sa vocation interdisciplinaire: L'Oeuvre et l'influence de Pierre Francastel*. Paris: Denoël/Gonthier, 1976. P. 29–39; Saint-Martin F. *Sémiologie du langage visuel*. Québec: Presses de l'Université de Québec, 1987. Характерным примером свойственного 1960-м гг. интереса к нелингвистическим аспектам мышления является также упоминавшаяся во Введении история имажинистского течения в когнитивных науках.

⁴⁴ Rancière J. *Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir*. Paris: Seuil, 1992. P. 77.

проблематика оказалась вынесенной за скобки⁴⁵. Воображению исследователей рисовались двадцать миллионов французов, распределенных на социальные группы. Но поскольку критериев классификации и, следовательно, частичных иерархий было много, а получить хотели одну, синтетическую, возникала проблема проецирования многомерной социальной структуры на результирующее измерение синтетической социальной иерархии.

Интеллектуально ситуация была не нова. Тезис о множественности факторов социальной дифференциации был ясно сформулирован еще Максом Вебером⁴⁶. Детальное развитие он получил уже в межвоенный период в американской социологии (в значительной степени под влиянием исследований по социальной мобильности), сначала у Питирима Сорокина, а затем — у Талькота Парсонса⁴⁷. Впрочем, идея множественности типов социальных групп не исключала для американских социологов стремления найти единую синтетическую социальную иерархию, на которую проецировалась бы социальная структура общества в целом. Так, Питирим Сорокин считал, что частичные социальные позиции индивидов образуют «конstellации» или синтетические социальные статусы, формирующиеся в «суперорганическом пространстве»⁴⁸ (под которым он подразумевал пространство социальное). Такой подход, лишь несколько метафорически намеченный самим Сорокиным⁴⁹, был широко распространен в американской социологии⁵⁰. Он опирался на идею инту-

⁴⁵ Ср. анализ противоречия между задачей построения модели и задачей исторического объяснения в творчестве Лабрусса: Grenier J.-Y., Lepetit B. *L'expérience historique: A propos de C.-E. Labrousse* // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1343.

⁴⁶ Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft* / Hrsg. von J. Winckelmann. Tübingen, 1976. Bd 1. S. 177–180.

⁴⁷ Sorokin P. A. *Society, Culture and Personality*. New York, 1962; Parsons T. *An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification* // *The American Journal of Sociology*. 1940. Vol. 45. № 6. P. 841–862.

⁴⁸ Sorokin P. A. *Society, Culture...* P. 359–362.

⁴⁹ К тому же Сорокин говорил о различных типах взаимоотношения социальных иерархий, и наряду с метафорой пересекающихся иерархий он использовал метафору общества как горной цепи с несколькими пиками, т. е. нескольких не вполне совпадающих между собой социальных пирамид или параллельных иерархий (*Ibid.* P. 292).

⁵⁰ Талькот Парсонс, например, писал: «Статус каждого данного индивида в системе стратификации общества может рассматриваться как синтез (*as a resultant*) обычных оценок, на которых основано приписывание ему статуса на основании каждого из шести

итивного галозэффекта, т. е. способности людей мгновенно рассчитывать в уме суммарный синтетический статус индивидов на основании частичных статусов или даже воспринимать других синтетически, как целостности, не прибегая к анализу черт⁵¹. Благодаря этому, верили социологи, можно приписать идею синтетической иерархии самим субъектам, а следовательно, и социальной реальности. По-видимому, синтетическая иерархия мыслилась как иерархия индивидов, а не как иерархия групп.

критериев» (Parsons T. *An Analytical Approach...* P. 849). Имелись в виду такие критерии, как семейные связи, личные качества и достижения, материальный и символический капитал, авторитет и власть. Столь же характерно рассуждение Э. Бенуа-Смульяна, пытающегося уточнить понятие социального статуса с помощью идеи «эквilibра» частичных статусов: «Идея эквilibра статусов позволяет нам подойти к более точной концепции природы социального статуса (курсив у Бенуа-Смульяна здесь совершенно эквивалентен употреблявшимся французскими историками выражениям типа «социальное в собственном смысле». — Н. К.). Обычное употребление этого термина граничит с анархией. Выражения “статус”, “социальный статус”, “социально-экономический статус” и “экономический статус” более или менее взаимозаменяемы и не имеют специального значения. Со своей стороны, мы определили статус как относительное положение в иерархии и тщательно разграничили три основных иерархии и соответствующие им три типа статуса (речь идет об иерархиях богатства, власти и престижа. — Н. К.). Остается вопрос, следует ли придавать термину “социальный статус” значение, отличающее его от этих специальных типов статуса. Как социологи, так и простые люди, по-видимому, иногда ощущают потребность сослаться на недифференцированный тип статуса, который не является ни специфически экономическим, ни специфически политическим, но — социальным вообще (*generally “social”* — еще одно имя “социального в собственном смысле”. — Н. К.). Теория “эквilibра” позволяет объяснить смысл этого понятия. “Социальный статус” — это предельный итог процесса синтезирования статусов (*the status equilibrating process*). Это — статус, который получился бы, если бы процесс синтезирования получил завершение. Первое приближение к нему можно получить, взяв среднее значение порознь оцененных экономического, политического и престижного статусов того или иного индивида или группы» (Benoit-Smullyan E. *Status, Status Types and Status Interrelations // Amer. Sociological Rev.* 1944. Vol. 9. № 2. P. 151–161). См. также: Lenski G. E. *Status Crystallization: A Non Vertical Dimension of Social Status // Ibid.* 1954. Vol. 19. № 4. P. 405–413; Sampson E. E. *Status Congruence and Cognitive Consistency // Sociometry.* 1963. Vol. 26. P. 146–162. Как постоянно возвращающиеся в дискурс для выражения идеи социальной иерархии пространственные метафоры, так и отождествление синтетической иерархии с «подлинной» (*real*) также сближают этих американских социологов с французскими социальными историками.

⁵¹ Теория галозэффекта была обязана своей популярностью прежде всего социальному психологу Дж. Олпорту (Allport G. *Personality: A Psychological Interpretation.* New York, 1937). По словам Э. Бенуа-Смульяна, «человек с улицы воспринимает статус “глобально”, как гомогенное единство» (Benoit-Smullyan E. *Status...* P. 159).

Уже заняв свои места на вертикальной линии, индивиды подлежали распределению по группам. Точнее, ожидалось, что группы сами выделятся в результате распределения индивидов по социальной вертикали⁵². Характерны имена этих групп: высший класс, высший средний класс, низший средний класс и т. д.⁵³ Эти имена отсылают лишь к сегментам синтетической иерархии, как если бы для того, чтобы представить себе такую модель, исследователи должны были отрешиться от логики слов, покинуть лингвистический модуль мышления и начать мыслить в иной, пространственной среде. Классификация имен собственных порождала категории, лишённые имен, точнее, имен, означавших нечто большее, чем точки в пространстве. Именно опираясь на пространственные метафоры и идентифицируя как индивидов, так и их группы с абстрактными точками в суперорганическом пространстве, с семантическими пустотами, американские социологи выработали идеальную модель социальной стратификации, какой она могла бы возникнуть в результате совершенной эмпирической операции (которую, впрочем, оказалось не так легко осуществить на практике).

Влияние этой американской школы (и французских социологов, акцентировавших множественность социальных групп)⁵⁴ заметно в социальной истории 1960-х гг.⁵⁵ Но аккультурация социологической

⁵² Так, Т. Парсонс писал: «Социальная стратификация рассматривается нами как дифференцированная оценка индивидуальных рангов (*differential ranking of human individuals*)» (Parsons T. *An Analytical Approach...* P. 841). Аналогично рассуждал Э. Бенуа-Смульян: «Если смотреть на вещи реалистично, статус имеется не у группы как таковой, но у ее членов» (Benoit-Smullyan E. *Status...* P. 154).

⁵³ Warner W. L., Lunt P. S. *The Social Life of a Modern Community*. New Haven, 1947; Warner W. L. *Social Class in America*. New York; Evanston: Harper and Row, 1960.

⁵⁴ Gurvitch G. *Problèmes de sociologie générale // Traité de sociologie*. Vol. 1. Paris, 1967–1968. P. 153–251. Ж. Гурвич рассматривал социальную структуру как «эквилибр множества иерархий» (*Ibid.* P. 214).

⁵⁵ Arriazza A. Mousnier and Barber: The Theoretical Underpinnings of the «Society of Orders» in *Early Modern Europe // Past and Present*. 1980. № 89. P. 39–57. Питер Бэрк подчеркивал влияние Макса Вебера на Ролана Мунье (Burk P. *Sociology and History*. London; Boston; Sydney, 1980. P. 64). Для понимания связи между социологическими теориями социальной стратификации и социальной историей 1960-х гг. много дает уже цитировавшаяся книга Э. Пэна, характерная для французской социологической вульгаты того времени и написанная под определяющим влиянием Талькота Парсонса и прочтенная его глазами Вебера. Основная логика Пэна точно совпадает с той логической моделью, которая представлялась воображению изучаемых нами историков.

модели в историографии вызвала некоторые трудности⁵⁶. В частности, неприятие многими историками слишком абстрактных конструкций и приверженность к словарю изучаемых эпох объясняет их колебания в практическом приложении к прошлому социологических моделей. Отдаваясь, как и социология, во власть мечты о мышлении, освобожденном от слов, о чистом понимании структур, социальная история была менее готова пожертвовать своей традиционной техникой описания во имя идеала облеченной в цифры научности. Профессионально внимательные к терминологии источников, историки — в той мере, в какой сохранялся их источниковедческий инстинкт — не решались отказаться от слов прошлого. Поэтому они не могли не сохранить сравнительно больше элементов логики социальных терминов даже тогда, когда стремились максимально приблизить свои рассуждения к «механографическому» идеалу. Конфликт двух способов думать, проявившийся в конфликте номинации и классификации, был, таким образом, более острым в социальной истории 1960-х гг., чем в социологии, взятой на соответствующем этапе ее развития, конфликт между начальной проблематикой, подсказанной логикой слов, и переформулированием этой проблематики в терминах задачи эмпирической классификации.

Неудивительно, что параклассическая модель социальной иерархии, подлежащая размышлениям историков, долго оставалась имплицитной. Даже ключевой для нее вопрос не был ясно сформулирован, а именно, вопрос о том, сложилась ли синтетическая иерархия под решающим воздействием одного фактора социальной дифференциации, притом, что все остальные факторы лишь смягчали его действие, или она должна мыслиться как результирующая всех этих факторов. Не определяя четко своей позиции, большинство историков, как мы уже сказали, колебалось между двумя решениями. Создается впечатление, что причина кроется в состоянии исторического словаря. В самом деле, для

Итоговый социальный статус, по Пэну, есть сумма частичных социальных статусов. На основе последних формируются «социальные категории» или «логические классы» (обратим внимание на это последнее выражение), а на основании суммарных социальных статусов индивиды распределяются по «социальным стратам» (Pin E. *Les classes...* P. 21, 28, 31, 100).

⁵⁶ Об аккультурации социологических теорий в историографии см.: Lepetit В., Grenier J.-Y. *L'Expérience historique*.

обозначения этой синтетической иерархии еще можно было найти более или менее подходящее выражение. Говорили: «социальные группы в собственном смысле», «группы *par excellence*», «общество само по себе»⁵⁷. Уже в этом, однако, заметна недостаточность имеющегося словаря. Приходилось как бы насилловать слово, придавать ему дополнительный, не вполне очевидный смысл. Но для обозначения синтетических социальных групп, которые историки стремились идентифицировать, имена решительно отсутствовали. Практически все наличные социальные термины имели коннотации, отсылавшие, причем весьма противоречиво, к частичным социальным иерархиям, а конвенция стиля запрещала историкам массивные терминологические новации. Выразившиеся в именах предварительные описания искомым объектам, таким образом, были неадекватны постулируемой логической природе этих объектов, поскольку имеющиеся варианты описаний всегда несли в себе слишком много аналитических значений, что затрудняло формулировку рабочих гипотез о том, какими могут быть синтетические группы.

Между тем, потребность в таких предварительных описаниях остро ощущалась исследователями. Создается впечатление, что историки опасались отдаться на волю эмпирической классификации, не наложив на свой произвол некоторых ограничений, необходимых, с их точки зрения, во имя строгости научного метода. Несмотря на то, что смутный образ эмпирической группировки подсказывал исследователям логические интуиции, ее легитимность как рационального метода не была безусловной. Возможно, ощущение слишком резкого несоответствия этих интуиций логическим стандартам, подлежащим традиционной дискурсивной практике истории, являлось одной из причин, побуждавших историков с самого начала готовить почву для компромисса между классификацией и описанием.

⁵⁷ Mousnier R. Intervention dans la discussion // *L'Histoire sociale...* P. 27; Idem. *Problèmes de méthode...* P. 12, 14. Ту же проблему «недостающего значения» слова «социальное» ощущал и Э. Лабрусс, говоря об «исследовании, “социальном” в собственном смысле, то есть об истории классов и социальных групп» (Labrousse С.-Е. Intervention dans la discussion // *Atti...* P. 530). Характерно, что такое же словоупотребление прижилось и в советской историографии. Так, А. Я. Гуревич говорил о «собственно социальной истории», понимая под этим «анализ состава обществ и отношений между образующими его группами» (Гуревич А. Я. *Исторический синтез и школа «Анналов»*. М.: Индрик, 1993. С. 67). Точно так же понимал социальную историю и автор этих строк (Копосов Н. Е. *Высшая бюрократия во Франции XVII века*. С. 3).

С этими поисками связано навязчивое звучание совершенно базальной темы рабочих гипотез, до странности часто возвращающейся в споры о классах и сословиях³⁸. Рабочие гипотезы служили как бы гарантом интеллигентности результатов исследования, позволяя надеяться на то, что эти результаты удастся безболезненно связать с общен исторической проблематикой. К тому же учет терминологии источников при выдвижении гипотез давал и определенные гарантии против опасности анахронизма. Поэтому историки считали себя обязанными постулировать некоторые категории, подсказанные терминологией источников, чтобы затем эмпирически убедиться в их «реальности». Возможно, историки и смогли бы оторваться от слов источников, если бы в их распоряжении были более внятные социологические термины, обозначающие искомые синтетические группы и способные подсказать рабочие гипотезы. Но у социологов можно было заимствовать либо такие же социальные термины, либо невнятные отсылки к сегментам иерархии, так что историкам казалось естественнее отправляться от терминологии изучаемой эпохи.

Таким образом, историки были обречены иметь дело с лексикой своего главного источника — нотариальных актов. При всех различиях между их исследовательскими стратегиями и исследователям «группы Лабрусса», и Ролану Мунье приходилось преодолевать одни и те же логические трудности. Рассмотрим их сначала на примере работ Аделин Домар, которая поставила целью сконструировать для периода XVIII—XIX вв. социо профессиональный кодекс, аналогичный кодексу Национального института статистики и экономических исследований 1963 г.³⁹ Подобный кодекс мог бы, с ее точки зрения, стать той эмпирической моделью, которая, отвечая стандарту научности, должна была подлежать последующему описанию. Именно из социо профессионального кодекса 1963 г. заимствовала Аделин Домар и формулировку исследовательской

³⁸ См., например, типичное для спора о классах и сословиях недоразумение, когда сначала А. Собыль упрекает А. Домар и Ф. Фюре в непонимании роли рабочих гипотез, немедленно затем Р. Мунье упрекает в том же самом уже не только их, но и самого Собыля, а следом и Домар, и Собыль поочередно подчеркивают, что они-то именно и говорят о необходимости иметь рабочие гипотезы (*L'Histoire sociale...* P. 17, 27, 28, 31).

³⁹ Daumard A. Structures sociales et classement socio-professionnel: L'Apport des archives notariales aux XVIIIe et XIXe siècles // *Revue Historique*. 1962. Vol. 227. P. 139–154; Eadem. Une référence...

задачи — «разделить все население на ограниченное количество категорий, каждая из которых будет характеризоваться относительной социальной гомогенностью»⁶⁰. Характерно, однако, что этот кодекс был эмпирической группировкой не индивидов, но социопрофессиональных категорий. Тем не менее в процессе эмпирической группировки категории как бы уподоблялись индивидам и сближались между собой как синтетически воспринятые объекты. Масштабы задачи, безусловно, облегчали такой подход. Авторы кодекса были в состоянии в какой-то мере абстрагироваться от имен множества подлежащих упорядочению профессий, которые зачастую звучали почти как технические термины с крайне ограниченным количеством коннотаций, т. е. выступали почти как имена собственные.

Имел место, следовательно, некоторый компромисс между идеалом эмпирической группировки индивидов и реальными возможностями исследователя приблизиться к нему с помощью построения модели общества. С одной стороны, логическая структура группировки индивидов и категорий в данных условиях была близка, и это выглядело гарантией эмпирической чистоты, верности принципам эмпирической логики. С другой стороны, изначальное введение в рассуждения историков, вместе с именами социопрофессиональных категорий, некоторых элементов логики слов не просто смотрелось как неизбежное на практике нарушение идеальной модели, делавшее предприятие реалистичным, но и позволяло надеяться, возможно, подсознательно, на преодоление разрыва между двумя логиками.

Поскольку в нотариальных актах, равно как и в полном списке современных социопрофессиональных категорий, встречается гораздо больше социальных терминов и их устойчивых сочетаний, чем практически представляется возможным включить в описание социальной структуры, в обоих случаях приходилось конструировать агрегированные категории в более ограниченном и пригодном для использования количестве. Чтобы добиться этого, единственным выходом было эмпирически группировать профессии, титулы, почетные эпитеты, должности, воинские звания и прочее, по мере возможности учитывая различные аспекты социального статуса, типичные для лиц, обозначенных этими терминами. В основе это — демарш, очень близко напоминающий тот, кото-

⁶⁰ Daumard A. Structures sociales... P. 152.

рый был в свое время осуществлен клерками Понтшартрена⁶¹. Но, увы, в положении историков по сравнению с клерками была одна невыгодная черта — клерки не должны были вводить свои классы в исторический дискурс. Поэтому они могли пользоваться условными обозначениями, и неслучайно классы Тарифа капитации были обозначены цифрами, а не словами.

Что касается историков, то им приходилось искать для своих персонажей внятные имена. Поэтому условными именами они могли пользоваться только на подготовительном этапе, когда формировались исходные частичные категории. Именно на этом этапе в кодексе Аделин Домар появляются такие категории, как «промежуточный статус между наемными рабочими и мастерами ремесел», которые затем надлежало трансформировать в синтетические категории. Такая трансформация состояла в конфронтации социопрофессионального статуса с другими показателями, и в первую очередь — с данными о состояниях, что считалось для полученного социопрофессионального кодекса испытанием на прочность *par excellence*⁶². Если в рамках социопрофессиональной категории не обнаруживалось слишком большого разброса богатств, считалось, что она обладает достаточной социальной гомогенностью и, следовательно, может рассматриваться как реальная социальная группа. Однако эта конфронтация давала нечто большее, чем просто верификацию кодекса. Вводя в него дополнительное измерение, она трансформировала его из полусинтетической классификации в завершенную синтетичес-

⁶¹ «Чтобы исследовать состав групп и категорий, приходится использовать эмпирический метод: некоторые часто упоминаемые в источниках формы деятельности выбираются в качестве типичных случаев, а остальные группируются вокруг них с помощью сравнения и уподобления (*assimilation*). Эту же процедуру использовал Национальный институт статистики и экономических исследований, ее же предписывала королевская декларация, предворяющая список двадцати двух классов первой капитации 1695 года» (Daumard A. *Structures sociales...* P. 153). Запомним эту важнейшую цитату: в ней А. Домар фактически описывает процедуру прототипической классификации, о которой подробнее мы будем говорить в гл. 2.

⁶² «В конечном счете именно такое исследование (сопоставление решетки социопрофессиональных категорий с данными о доходах. — Н. К.) покажет реальность или, напротив, хрупкость того кадра анализа, который мы выбрали в качестве рабочей гипотезы (стратификации профессий. — Н. К.)» (Daumard A., Furet F. *Structures et relations...* P. 26). Подчеркнем характерное появление здесь слова «реальность» — речь, конечно же, идет о выявлении на основе иерархии профессий «реальных», т. е. синтетических социальных групп.

кую, учитывающую все основные факторы социальной дифференциации⁶³. В сущности, в итоге этой процедуры должны были быть сконструированы персонажи социальной драмы. Больше никаких этапов их конструирования уже не предусматривалось. Но, изменяя логический статус категорий кодекса, эта операция не могла изменить их имен. «Готовые» персонажи носили странные имена, сплошь да рядом действительно неузнаваемые и непригодные к использованию. В самом деле, может ли историческая драма разыгрываться с участием «промежуточного статуса между наемными рабочими и мастерами ремесел»? Поэтому в той мере, в какой имел место переход от разработки кодекса к более общему историческому рассуждению, историки отбрасывали свои заботливо сконструированные категории и использовали имена традиционной истории. Так, Домар, автор наиболее детального «социо-профессионального кодекса для историков», в своей известной книге совершенно забывает о нем⁶⁴ и говорит только о буржуазии, разделенной на четыре узнаваемые иерархически расположенные группы, именно, на высшую буржуазию, зажиточную буржуазию, среднюю буржуазию и народную буржуазию⁶⁵. Отсутствие отсылающих исключительно к синтетическому социальному статусу имен мешало заполнить пропасть между эмпирической классификацией и традиционным описанием.

В отличие от историков группы Лабрусса, Ролан Мунье весьма скептически относился к возможностям исторического конструктивизма, который ассоциировался для него с механистическим видением общества. Ему, человеку более консервативного склада, традиционному католику, была ближе органистическая концепция общества. Но вместе

⁶³ «В первом приближении мы получаем социальную иерархию в случае совпадения профессионального статуса и уровня богатства — с учетом всех последствий, которые наличие или отсутствие определенного благосостояния имеет для уровня жизни, культуры или хотя бы просто специализации в рамках профессии» (Daumard A., Furet F. *Structures et relations...* P. 91).

⁶⁴ Характерно, что А. Домар сама понимает несовместимость традиционного исторического описания и полученного в результате эмпирической группировки социопрофессиональных категорий кодекса: «Очевидно, что предложенная здесь система (речь идет о кодексе. — Н. К.) слишком сложна, чтобы непосредственно использоваться в качестве кадра анализа, когда речь идет об изложении результатов исследования» (Daumard A. *Une référence...* P. 207). Дело здесь, конечно же, не просто в сложности кодекса, но также и в конфликте логик классификации и описания.

⁶⁵ Daumard A. *La bourgeoisie parisienne...* P. 643.

с тем он находился под влиянием того же свойственного эпохе стиля мысли, что и его оппоненты. В частности, он разделял с Лабруссом интуицию тяжелой реальности «общества самого по себе». Однако эта интуиция, которая заставляла Лабрусса и его учеников реифицировать собственные аналитические категории, побуждала Мунье искать место, где можно было бы «непосредственно взять» (*atteindre directement*)⁶⁶ ускользающую материю «социального в собственном смысле». Речь идет о матримониальных связях, которые казались Мунье совершенным выражением социальной солидарности⁶⁷. Вместе с тем в акте брака он видел почти абсолютное суждение о синтетических социальных статусах брачующихся. Это сближает взгляды Мунье с точкой зрения Лабрусса. Если для Лабрусса идеальным решением было бы дать синтетическую оценку социального положения всех французов, живших в XVIII—XIX вв., чтобы затем посмотреть, как они распределяются по социальным группам, то для Мунье таким логическим пределом было бы «картографировать» все связывавшие французов XVII в. брачные контракты, чтобы увидеть агломераты социальности, которые и будут искомыми социальными группами. Мунье, таким образом, пытался избежать необходимости самому группировать «собственные имена» синтетически воспринятых объектов, какими были для него французы XVII в. Он надеялся, что «материя социального» уже сама себя классифицировала в абсолютных суждениях брачных контрактов, так что осталось только «непосредственно взять» ее.

Очевидно, что такое исчерпывающее картографирование столь же неосуществимо, как и всеобщая социологическая анкета. Именно поэтому Мунье был вынужден прибегнуть к помощи механистических категорий и предаться той же игре в кубики, что и Лабрусс, — и тем самым попасть в зависимость от конструктивистской логики. Следуя своей теории общества сословий, подсказывавшей ему рабочие гипотезы для создания такой модели, он построил категории, опирающиеся прежде всего на почетные эпитеты⁶⁸. Именно к этим категориям он затем прилагает решающий, с его точки зрения, тест эндогамии. Структурное сходство

⁶⁶ Mousnier R. *Problèmes de méthode...* P. 20.

⁶⁷ «С небольшим преувеличением можно сказать: социальная группа — это люди, которые заключают между собой браки» (Mousnier R. *Problèmes de méthode...* P. 14).

⁶⁸ Mousnier R. *Recherches sur la stratification...* P. 25–40.

двух демаршей несомненно: «реальность» (т. е. синтетический характер) социальных групп, выделенных по частичным критериям (в одном случае — на основе профессий, в другом — на основе почетных эпитетов) и обозначенных аналитически понятыми именами, проверяется с помощью введения еще одного измерения социального статуса (в одном случае — критерия богатства, в другом — критерия эндогамии), которому придается настолько большое значение, что его введение позволяет трансформировать частичные категории в синтетические. Естественно, что этот демарш приводит к такому же парадоксу: за неимением подходящих имен, которыми он мог бы назвать реальные социальные группы, идентифицированные им, Мунье каждый раз обречен на своего рода скачок, когда он переходит от эмпирического исследования к историческим обобщениям. В дискурсе общей истории почетными эпитетами, дававшими к тому же крайне дробную классификацию, приходилось жертвовать в пользу более традиционных терминов, вокруг которых привычно организовывались исторические описания. Поэтому, как и Домар, в своих общеисторических работах Мунье забывает о скрупулезно сконструированных им категориях. Скобка эмпирической классификации вновь оказывается закрытой, и в традиционном жанре историки возвращаются к привычной технике описания.

Неудивительно, что в таких условиях гипотеза синтетической социальной иерархии долгое время оставалась не до конца продуманной. Отсутствие имен, которые можно было бы присвоить синтетическим социальным группам, постоянно вызывало колебания исследователей между предположениями, что синтетическая иерархия в основном совпадает с одной из частичных иерархий и что она дает совершенно новое качество. Блюш и Соллон были первыми, кто эксплицитно определил подлинную социальную иерархию как результирующую частичных иерархий. Но характерно, что им не приходилось думать, как самим реконструировать искомую синтетическую иерархию. Они считали, что нашли ее готовой к использованию в Тарифе капитации. Реконструкцию выполнили за них клерки генерального контроля финансов. Однако Тариф выражает идею иерархии только посредством формы списка, разделенного на классы⁶⁹.

⁶⁹ Об иерархических эффектах списка см.: Goody J. *The Domestication of the Savage Mind*. Cambridge; London; New York: Cambridge U. P., 1977. P. 81, 89–96, 102, 122–124, 132.

Именно классы, а не ранги, воплощают идею иерархии: ведь в каждом классе все ранги обложены одинаковым налогом. Но в отличие от рангов классам не присвоено имен. Они обозначены цифрами, которые точно указывают их иерархическое место, но не имеют никакого другого значения. Равно как и американские социологи, клерки Понтшартрена не нашли для обозначения групп, созданных методом эмпирической группировки на основании синтетических критериев, других имен кроме тех, которые определяли эти группы исключительно через их иерархическое положение.

Итак, представляется очевидным противоречие между лингвистическими и нелингвистическими ресурсами мысли, на которые опиралась социальная история 1960-х гг. Идеал классификации собственных имен мешал историкам следовать логике, подсказывавшейся социальными терминами, а зависимость их размышлений от семантических структур этих последних мешала им погрузиться в эмпирическую классификацию имен собственных.

Как объяснить это противоречие? Естественно в поисках инструментов анализа обратиться к современной теории имен и к теории классификации.

Глава 2

Семантика социальных категорий

Теория имен и теория классификации — две различные, хотя и тесно связанные между собой теории. Джон Стюарт Милль не слишком преувеличивал, утверждая, что «теория имен и высказываний скорее запутывается, чем проясняется введением идеи классификации»¹. В самом деле, несмотря на то, что, классифицируя, мы можем давать классифицируемым предметам имена, классификация, по-видимому, происходит в особой, нелингвистической, среде мышления. В эпоху, когда редукция мысли к языку не превратилась еще в базовую уверенность социальных наук, Милль считал, что язык и классификация являются двумя различными вспомогательными инструментами индукции². Все же слова способны обозначать классы, и это не может не иметь последствий для их семантической структуры. Однако язык является чем-то большим, нежели номенклатура, воспроизводящая систему вещей, и его функции несводимы к референции. Мы склонны думать, что теория имен отдалается от теории классификации в той мере, в какой она касается значения, и приближается к ней в той мере, в какой касается референции. По-видимому, эти теории описывают связь мышления с двумя разными, хотя и взаимосвязанными областями опыта: опытом языка и опытом вещей. Употребление имен предполагает опыт вещей. Язык невозможно объяснить без отсылки к тотальности опыта, где номинация и классификация идут вместе, — иначе он превратится в замкнутый мир знаков. В акте номинации язык указывает за свои собственные пределы, но вместе с тем он присваивает себе называемое, и даже в нашем способе полагания вещей «самих по себе» всегда способны отразиться его структуры. Поэтому, рассматривая теорию имен и теорию классификации, нам придется иметь в виду как их различие, так и их взаимопроникновение.

¹ Mill J.S. *Système de logique*. Vol. 1. Paris, 1866. P. 131.

² *Ibid.* Vol. 2. P. 209, 266.

Начнем с теории имен. Уточним прежде всего, какие имена нас интересуют. Конечно, речь идет об именах собственных, обозначающих индивидов, но также и об именах нарицательных, обозначающих социальные группы. Наричательные имена бывают двух основных видов: конкретные нарицательные имена и собирательные имена. Конкретное нарицательное имя может быть присвоено «каждому индивиду данного множества»³. Напротив, «собирательное имя не может быть присвоено каждому индивиду порознь, но только всем им вместе взятым»⁴. Так, слово «дворянин» (*noble*) является примером конкретного нарицательного имени, тогда как слово «дворянство» (*noblesse*), когда оно обозначает группу лиц, — примером коллективного имени. Когда же оно характеризует качество этих лиц, слово «дворянство» является абстрактным именем. В зависимости от контекста слово «дворянство» может быть понято либо как индивидуальное собирательное имя, либо как нарицательное собирательное имя. Например, «французское дворянство XVII века» является индивидуальным собирательным именем. Можно сказать и просто — «дворянство», но если из контекста следует, что речь идет именно о французском дворянстве XVII в., это слово понимается как индивидуальное собирательное имя. Но если речь идет о соотношении различных групп дворянства и если контекст позволяет поставить это слово во множественном числе (*noblesses* — форма, едва ли возможная в русском языке), оно становится нарицательным собирательным именем. В ходе спора о классах и сословиях собирательные имена, обозначающие социальные группы, всегда понимались как индивидуальные собирательные имена, хотя возможность их трансформации в нарицательные собирательные имена, как мы увидим ниже, могла влиять на понимание историками их значения.

Итак, нас здесь интересуют три вида имен — собственные имена, конкретные нарицательные имена (для краткости в дальнейшем называемые просто нарицательными) и индивидуальные собирательные имена (для краткости называемые собирательными). Вопрос о семантической структуре этих имен чрезвычайно интенсивно обсуждался философами потому, что с его разрешением связывали надежду на прояснение проблемы референции. В философии XX в. классическим полигоном для

³ *Ibid.* Vol. 1. P. 27.

⁴ *Ibid.*

проверки теорий референции стал именно семантический анализ имен, причем в силу преобладания номиналистических и позитивистских настроений философы работали в основном с именами конкретных предметов и особенно часто — с именами собственными.

Классическая теория имени была сформулирована Джоном Стюартом Миллем⁵. С его точки зрения, имя нарицательное имеет как референцию, так и значение, поскольку оно денотирует класс объектов и коннотирует их атрибуты. Напротив, имя индивидуальное (приписываемое только уникальным объектам) может быть и коннотативным, и неконнотативным. Коннотативное индивидуальное имя (например: «первый римский император») обозначает «некоторый атрибут или набор атрибутов, который, не будучи свойственным никаким другим объектам, за исключением одного, сообщает имя исключительно этому индивиду». Неконнотативное индивидуальное имя, или имя собственное, «достаточно для того, чтобы обозначить вещь, о которой мы хотим говорить, но само по себе ничего о ней не утверждает (курсив наш. — Н. К.)»⁶. Оно имеет, следовательно, референцию, но не имеет значения.

Эта точка зрения была пересмотрена Готлобом Фреге в том, что касается имен собственных, но была принята им без изменений в том, что касается имен нарицательных. Для Фреге все имена в равной мере являются коннотативными и обозначают атрибуты вещей, которые они денотируют. Например, тот факт, что Александр был учеником Аристотеля, может быть рассмотрен как коннотация (*Sinn*) его имени. Милль мог бы возразить, что «само по себе» имя Александр не утверждает, что его носитель был учеником Аристотеля. Но остается не вполне понятным, в чем состоит разница между тем, что имя утверждает само по себе, и тем, что только ассоциируется с ним. Эту неясность и использовал Фреге, отождествив все, что ассоциируется с именем собственным и позволяет присваивать его объекту, со значением этого имени⁷.

И Милль, и Фреге исходили из предположения, что мы идентифицируем объекты на основании анализа их свойств, описание которых со-

⁵ Обзор анализируемой ниже дискуссии см.: Kripke S. *Naming and Necessity*. Oxford: B. Blackwell, 1980; Engels P. *Identité et référence: La théorie des noms propres chez Frege et Kripke*. Paris: Ecole Normale Supérieure, 1985.

⁶ Mill J. S. *Système de logique*. P. 30–41.

⁷ Frege G. Ueber Sinn und Bedeutung // *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*. 1892. Bd 100. S. 25–50.

ставляет значение имени. Однако правда ли, что именно значение позволяет приписывать имя объектам? После «Философских размышлений» Людвиг Витгенштейн ответ уже не кажется очевидным⁸. Витгенштейн, в частности, показал, что одно и то же имя приписывается разным объектам не потому, что все они имеют какой-то атрибут, конотируемый этим именем, но в силу размытого семейного сходства, которое существует между ними. Создается впечатление, что Витгенштейн готов еще более радикально пересмотреть классические семантические теории, когда он утверждает, что «значение слова есть способ его употребления»⁹. В том же направлении идут его размышления относительно внутреннего деиктического акта (выражаемого указательными местоимениями) и его роли в мышлении, которые подрывали теорию номинации, делавшую акцент на распознавании черт. Со своей стороны, распространение теорий семантического голизма с его акцентом на системы высказываний также способствовало тому, чтобы поставить под сомнение основы традиционной семантики¹⁰.

В итоге концепция Фреге должна была быть модифицирована. Можно выделить два основных направления такой модификации. С одной стороны, некоторые философы предложили идею сложного понятия (*cluster concept*). Вслед за Витгенштейном Джон Серль полагает, что совсем не обязательно всякий объект, которому приписывается определенное имя, должен обладать всеми свойствами, конотируемыми этим именем, поскольку коннотации имен организуются в кластеры, а присвоение имени собственного позволяет идентифицировать объект, соответствующий кластеру связанных с этим именем коннотаций, не уточняя основание классификационного суждения¹¹. Впрочем, более радикальные сомнения не устраняются идеей сложного понятия, ибо не из чего не следует, что даже кластера коннотаций достаточно для идентификации объекта. Поэтому некоторые другие философы склонны интерпретировать значение в терминах социальной конвенции. Именно с

⁸ Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. New York: Macmillan, 1953.

⁹ Витгенштейн Л. О достоверности // *Вопросы философии*. 1991. № 2. С. 72.

¹⁰ Quine W. V. O. Two Dogmas of Empiricism // *From a Logical Point of View*. New York: Evanston, 1963. P. 20–46.

¹¹ Searle J. R. Proper Names // *Mind*. 1958. Vol. 67. P. 166–173. Позднее эта идея получила широкое распространение среди лингвистов и психологов — сторонников теории естественной категоризации (см. ниже).

такой точки зрения Саул Крипке предложил теорию имени, радикально отличную от теории Фреге.

Крипке считает, что Милль прав в том, что касается имен собственных, но неправ в том, что касается части имен нарицательных. По Крипке, имена собственные не имеют коннотаций, поскольку всего того, что известно об индивиде, обозначенном именем собственным, недостаточно для его идентификации. Из этого Крипке заключает, что значение имени не является необходимым элементом идентичности обозначаемых этим именем объектов. Даже если все, что мы полагаем истинным об Аристотеле, окажется ложным, мы скажем не то, что этот человек — не Аристотель, но что Аристотель не был учителем Александра и т. д. Но ведь имя не может с необходимостью означать то, что может оказаться ложным относительно его¹². В этом смысле имя есть лишь фиксатор референции, *rigid designator*¹³ объекта и не имеет никакого отношения к его чертам. Но если ни одна из черт объекта, равно как и их сумма, не конотируется его именем, не значение, но обычай определяет референцию¹⁴. Такая же семантическая структура, по Крипке, характерна для некоторых нарицательных имен, в частности, для имен, обозначающих естественные классы (*natural kinds terms*)¹⁵. Эти имена подобны именам собственным, поскольку, по Крипке, объект можно идентифицировать в качестве члена естественного класса, не прибегая к анализу его свойств.

Мы вступили в область теории классификации. Здесь споры касаются прежде всего способности так называемой аристотелевской логики описать «человеческую категоризацию». До недавнего времени аристотелевская теория почти безраздельно господствовала в этой области. Согласно Аристотелю, объект, чтобы принадлежать к категории, дол-

¹² Крипке S. *Naming and Necessity*. P. 30–31.

¹³ *Ibid.* P. 48.

¹⁴ *Ibid.* P. 91. Идея социальной детерминированности референции развивается также рядом других философов. Х. Патнем, в частности, пишет: «Референция — это социальное явление» (Putnam H. *Reason, Truth and History*. Cambridge; London: Cambridge U. P., 1981. P. 22). См. также: Donnellan K. S. *Proper Names and Identifying Descriptions* // *Semantics of Natural Language* / Ed. by D. Davidson, G. Harman. Dordrecht; Boston: Riedel, 1972. P. 356–397.

¹⁵ Крипке S. *Naming and Necessity*. P. 127. В том же смысле можно понять замечание Х. Патнема, что у обозначающих естественные классы терминов основным компонентом значения выступает экстенция (Putnam H. *Representation and Reality*. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1988. P. 49).

жен обладать атрибутами, коннотируемыми именем данной категории. Значение имени состоит, таким образом, в определении необходимых и достаточных условий для принадлежности к данной категории. Распространенная с незапамятных времен в учебниках логики, данная теория, устанавливающая вполне ясные связи между словами, понятиями и вещами, стала одним из основных элементов вульгаты современной научной мысли. Но ее применение в классификационной практике нередко вызывало трудности, которыми обычно предпочитали пренебрегать, так что на деле в науке установился как бы двойной стандарт логичности. Обычно мы склонны считать, что следуем принципам аристотелевской логики, избегая, однако, применять их со слишком большой строгостью и оправдывая маленькие хитрости здравого смысла спасительной оговоркой о сложности мира и несовершенстве наших знаний. Социальная история, как мы имели возможность убедиться, дает достаточно яркие примеры такого способа рассуждать.

Но эти трудности породили и попытки создать альтернативную теорию классификации. Формулируемая от времени до времени, начиная по крайней мере с конца XVIII в., рядом почти забытых сегодня авторов¹⁶, эта теория, обычно называемая прототипической, получила широ-

¹⁶ Странники теории прототипов обычно возводят ее генеалогию к Л. С. Выготскому и Л. Витгенштейну, независимо друг от друга сформулировавшим ее в 1934 г., иногда указывая и на предысторию в виде некоторых биологических классификаций XVIII в. (Needham R. *Polithetic Classification: Convergence and Consequences* // *Man*. 1975. Vol. 10. № 3. P. 349–369; Lakoff G. *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. P. 16). Но влияние таксономической работы в биологии сказалось на целом течении английской философии, которое выработало в первой половине XIX в. теорию, содержащую основные умственные ходы и версии современной теории прототипов. Так, один из наиболее влиятельных английских философов первой половины XIX в., канцлер Кембриджского университета Уильям Уивел писал: «Несмотря на то, что для естественной группы предметов определение совершенно бесполезно как регулирующий принцип, классы отнюдь не становятся бесформенными, лишенными точек фиксации и организующего начала. Класс, бесспорно, существует, пусть он и не ограничен четко. Он дан, хотя и не очерчен. Он определен не снаружи ограничивающей его линией, но центральной точкой изнутри: не тем, что он с определенностью исключает, но тем, что он несомненно содержит; примером, но не правилом. Коротко говоря, руководством здесь служит не определение, но тип» (Whewell W. *History of the Inductive Sciences*. Vol. 1–3. London: Parker, 1837). За несколько десятилетий до Уивела Ричард Пейн Найт и Дьюгалл Стюарт развивали представление о «транзитивном словоупотреблении», ведущем к образованию «сложных

кое распространение в 1970—1980-е гг., когда она послужила базой для так называемой когнитивной революции¹⁷. Вдохновляясь стремлением противопоставить компьютерной модели разума идею естественного мышления, приверженцы когнитивной революции увидели в аристотелевской теории категоризации (на которой основывались все направления мысли, понимавшие мышление как оперирование с символами, от логического позитивизма до когнитивизма) главную мишень для критики. Идея необходимых и достаточных условий была воспринята как крайнее проявление искусственного языка, совершенно чуждого людям.

Теория прототипа исходит из того факта, что часто не удается указать ни одной черты, которую разделяли бы все члены данной категории и никто кроме них. Но вместо того, чтобы усмотреть в этом факте печальное несовершенство — в пределе преодолимое — человеческого мышления, сторонники теории прототипов сочли его свойством естественного, «воплощенного» в человеческом организме разума и, более того, важным фактором его эффективности, его способности экономить когнитивные усилия, с которой не может ровняться компьютер. Отсюда — гипотеза естественной категоризации, не имеющей ничего общего

понятий», необязательно удовлетворяющих принципу необходимых и достаточных условий, с помощью «семейного сходства» между обозначаемыми словом предметами (Knight R. P. *An Analytical Inquiry into the Principles of Taste*. London: Payne and White, 1805; Stewart D. *Philosophical Essays*. Edinburgh: Grech and Constable, 1810). Их идеи позднее были восприняты Миллем, который говорил в связи с этим о «важнейшем законе разума», открытом «небольшой группой мыслителей нынешнего поколения». Но, подчеркивая важность этого закона для логики, Милль тем не менее в основном вернулся к традиционной теории классификации, модифицированной в смысле, который сегодня мы назвали бы пробабилистским. Так, он утверждает, что при всем значении прототипических эффектов категория репрезентируется в сознании прежде всего с помощью перечня ее свойств, которые являются, однако, не необходимыми, но лишь вероятными для ее членов. По-видимому, именно благодаря работам упомянутых авторов Милль осознал необходимость разграничения теории имен и теории классификации. Характерно, что взгляды Найта и Стюарта он анализирует отдельно от взглядов Уивела в соответствующих разделах «Системы логики».

¹⁷ Rosch E. *Human Categorization // Studies in Cross-Cultural Psychology / Ed. by N. Warren*. Vol. 1. London; New York; San Francisco: Academic Press, 1977. P. 1–49; Eadem. *Principles of Categorization // Cognition and Categorization / Ed. by E. Rosch, B. B. Lloyd*. Hillsdale (N. J.): L. Erlbaum, 1978. P. 28–48; Lakoff G. *Women, Fire and Dangerous Things...*; Johnson M. *The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason*. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

с утомительным анализом черт, а следовательно, и с принципом необходимых и достаточных условий. Естественные категории, утверждает теория прототипа, отражают реальное строение мира, что неизбежно влечет за собой их эффективный и экономный характер. А миру нет никакого дела до необходимых и достаточных условий, которые, таким образом, предстают как чистое ухищрение формальной логики. Тем не менее мир структурирован, и естественные категории состоят из похожих друг на друга объектов. Свойственные одновременно и природе, и естественному мышлению, эти категории кодируются в разуме в форме «прототипов» (т. е. идеальных типов, абстрагированных от реальных вещей и воплощающих классы объектов более экономным, нежели описание черт, способом) или в форме «хороших примеров» (т. е. реальных объектов, лучше всего представляющих категорию)¹⁸, с которыми «менее хорошие» примеры и даже пограничные случаи связаны узлами размытого семейного сходства.

Природа таких репрезентаций остается не вполне понятной. Существовала тенденция рассматривать их как ментальные образы, так что теория прототипов была связана с имажинизмом — мощным течением в когнитивных науках, которое в 1960 г. ополчилось на когнитивизм, сводивший мышление к пропозиционной форме¹⁹. Но и идея лингвистического кодирования прототипических понятий не была совершенно отброшена, так что отношения между словами и образами сохраняли некоторую двусмысленность.

Именно на идею ментального воображения опирается одно из центральных понятий теории прототипа, а именно, представление о базовом уровне классификации. Речь идет о таксономическом уровне (обычно родовом), служащем основой классификации. Понятия этого уровня отличаются тем, что они обладают максимальной степенью включительности, совместимой с образным характером репрезентации²⁰. Например,

¹⁸ Эти две версии теории прототипов нередко смешиваются в рассуждениях одного и того же автора.

¹⁹ См. Введение.

²⁰ «Наиболее базовый уровень классификации — это наиболее обобщенный (inclusive) и абстрактный уровень, на котором категории могут отражать структуру атрибутов воспринимаемого мира... Базовые объекты — это наиболее обобщенные категории, которые можно представить в виде ментального образа, изоморфные внешнему виду членов данного класса в целом» (Rosch E. *Principles...* p. 30, 34; Eadem. *Human Catego-*

понятие собаки можно визуализировать в виде образа (или схемы), форма которого воспроизводит обобщенную форму собак. Но репрезентация подобного типа уже не кажется возможной для такого понятия, как животное. Именно применительно к базовому уровню и были констатированы наиболее очевидные прототипические эффекты.

Одно из следствий прототипического подхода состоит в том, что категории выступают как внутренне структурированные, так что некоторые их члены «равны между собой больше», чем другие. Вместе с тем предполагается, что известная часть эмпирических объектов с трудом поддается классификации, так что границы между категориями, резко очерчиваемые логикой необходимых и достаточных условий, в логике прототипа оказываются размытыми.

На первый взгляд, эта новая теория классификации — как раз то, в чем нуждаются социальные науки, чтобы оправдать неопределенность своих понятий²¹. В самом деле, если естественное мышление опирается

rization. P. 29, 30, 35, 37; Lakoff G. *Women, Fire and Dangerous Things...* P. 371). См. также автобиографическое замечание М. Познера о связи между интересом к проблематике воображения и теорией прототипа как причине первоначальной популярности этой последней: Posner M. I. *Empirical Studies of Prototypes // Noun Classes and Categorization* / Ed. by C. Craig. Philadelphia: Benjamins, 1986. P. 55.

²¹ Возможность применения прототипической теории к социальным классификациям была показана рядом исследователей: Lingle J. H., Altom M. W., Medin D. L. *Of Cabbages and Kings: Assessing the Extendibility of Natural Object Concept Models to Social Things // Handbook of Social Cognition*. Vol. 1 / Ed. by R. W. Wyer, T. K. Srull. Hillsdale (N. J.); London: L. Erlbaum, 1984. P. 71–117; Smith E. R., Zarate M. A. *Exemplar and Prototype Use in Social Categorization // Social Cognition*. 1990. Vol. 8. № 3. P. 243–262. Ср. также размышления Л. С. Клейна об особенностях классификации культурного материала, которые уместно, по-видимому, связать с теорией прототипа (Клейн Л. С. *Археологическая типология*. Л., 1991. С. 226–228). Полезность «политетической классификации» (близкой к теории прототипов) в археологии отстаивал Д. Л. Кларк (Clark D. L. *Analytical Archaeology*. London: Methuen, 1968. P. 37; анализ его подхода см.: Клейн Л. С. *Археологическая типология*. С. 56–62). Под влиянием Кларка теорией прототипа заинтересовались некоторые английские социологи (Coxon A. P. M., Davies P. M., Jones C. L. *Images of Social Stratification: Occupational Structures and Class*. London; Beverly Hills: Sage Publications, 1986) и историки, например Питер Берк, который, в частности, пытался с ее помощью проанализировать упоминавшиеся в гл. 1 дебаты П. Виноградова и Ф. Мэтланда об определении манора. Мэтланд, как мы помним, отрицал существование манора на том основании, что ему невозможно дать точного юридического определения. По Берку, Виноградов, будь он знаком с теорией прототипа, мог бы легко отвести эту критику, заявив, что его модель манора

на логику прототипа, то сам объект социальных наук, по-видимому, уже предструктурирован вокруг прототипов сознательным действием субъектов. Впрочем, прежде чем присоединиться к теории прототипа, надо задуматься над рядом трудностей, которым она не уделяет достаточного внимания.

Следует отметить, что несмотря на всю критику, которую ей можно с полным основанием адресовать, теория прототипа схватывает нечто очень важное в нашем мышлении: многие «человеческие» категории в самом деле демонстрируют прототипическую структуру. Но нам представляется не менее очевидным и то, что теория прототипа помещает эту плодотворную интуицию в совершенно неадекватный и противоречивый теоретический кадр²². Прежде всего, эта теория — все что угодно, кроме того, чем она претендует быть, т. е. не теория психологических механизмов классификации²³. Теория прототипа ничего не сообщает о том, что разум привносит «из своей собственной природы» в наши представления о мире. Она, следовательно, опирается на метафизический тезис о том, как структурирован мир²⁴, и дополняет этот тезис теорией отражения,

исходит не из логики необходимых и достаточных условий, но из логики прототипа (Burke P. *Sociology and History*. London; Boston; Sydney, 1981. P. 36—37). О возможности применения политегической классификации в антропологии писал Р. Нидхам (Needham R. *Polithetic Classification...*). В том же смысле можно понять размышления Т. Бургера, приписывающего Максу Веберу идеи, ближайшим образом напоминающие теорию прототипа (см. гл. 5). Автор этих строк должен признать и то, что первое знакомство с теорией прототипа пробудило в нем именно надежду на легкое разрешение логических трудностей социальной истории.

²² См. критику изначальной версии и дальнейшее развитие теории прототипа в работах: Smith E. E., Medin D. L. *Categories and Concepts*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1981; Murphy G. L., Medin D. L. *The Role of Theories in Conceptual Coherence // Psychol. Rev.* 1985. Vol. 92. № 3. P. 289—316; Medin D.L. *Concepts and Conceptual Structure // Amer. Psychologist*. 1989. Vol. 44. № 12. P. 1469—1481; Barsalou L. W. *Ad Hoc Categories // Memory and Cognition*. 1983. Vol. 11. P. 211—227; Kleiber G. *La sémantique du prototype: Catégories et sens lexical*. Paris: Presses Universitaires de France, 1990; Rastier F. *Sémantique et recherches cognitives*. Paris: Presses Universitaires de France, 1991.

²³ Несмотря на то, что Э. Рош недвусмысленно заявляет такое требование как программное для своего подхода: «Человеческую категоризацию следует рассматривать как результат действия психологических принципов категоризации» (Rosch E. *Principles of Categorization...* P. 27).

²⁴ Margolis E. *A Reassessment of Shift from the Classic Theory of Concept to Prototype Theory // Cognition*. 1994. Vol. 51. P. 73—89.

презумпцией симметрии мира и разума²⁵. Это кажется парадоксальным, особенно с учетом акцента, который сторонники теории прототипа делают на идее воплощенного разума и, следовательно, на идее ограничений, налагаемых на мышление человеческой природой его носителей²⁶. «Естественные категории» этой теории «естественны» прежде всего потому, что они отражают структуры мира, а отнюдь не когнитивные механизмы, свойственные нашей психологической организации. И хотя исследователи в других областях, в том числе и в истории, должны бы, по-видимому, пытаться почерпнуть в трудах своих коллег из когнитивных наук сведения не столько об устройстве мира, сколько об устройстве нашего когнитивного аппарата, создается впечатление, что до сих пор теория прототипа обязана своей популярностью прежде всего своему метафизическому тезису, по недоразумению освященному авторитетом когнитивных наук. Ведь именно метафизический тезис может помочь нам оправдать наши попирающие аристотелевскую логику понятия: если так устроен мир, то таковыми должны быть и категории правильного мышления.

Другая трудность возникает, когда мы обнаруживаем, что теория прототипа основывается на экспериментальной технике, напрямую связывающей слова²⁷ с перцептами. Задача, которую ставят обычно субъ-

²⁵ Так, Э. Рош пишет: «Мир предстает в нашем восприятии скорее как структурированная информация, чем как произвольно и непредсказуемо сочетающиеся атрибуты. Поэтому максимум информации при минимуме когнитивных усилий мы получаем, если наши категории насколько возможно точно воспроизводят воспринимаемые структуры мира» (Rosch E. *Principles of Categorization...* P. 28). Собственно, даже идея образного кодирования информации, базовая для теории прототипа именно потому, что образ считался более экономным способом внутренней репрезентации категории, нежели перечень свойств, также самым непосредственным образом связана с теорией отражения.

²⁶ Так, Дж. Лакофф пишет: «Человеческие понятийные категории имеют свойства, по крайней мере частично определяемые телесной природой осуществляющих категоризацию людей, а не только особенностями самих составляющих категории объектов» (Lakoff G. *Women, Fire and Dangerous Things...* P. 371). Кантианская претензия здесь налицо, но она совершенно теряется за счет общей установки экспериментальной психологии на концептуальную рамку теории отражения. На той же странице (!) Лакофф утверждает: «Реальный мир не может быть адекватно понят в терминах классической теории категорий». Иными словами, теория прототипа хороша именно потому, что отражает реальные структуры мира.

²⁷ Речь идет обычно о конкретных именах, прежде всего — существительных. И хотя именно этот тип имен интересует нас здесь, остается фактом, что рассматриваемые концепции касаются не структуры понятий вообще, но структуры только некоторых

ектам эксперимента, состоит в приписывании имен вещам (точнее, образам, чаще всего фотографическим, вещей, и скорость, с которой субъекты приписывают им имена, считается признаком легкости — и, следовательно, естественности — операции). Иначе говоря, эта экспериментальная техника исходит из предположения, что между словами и понятиями существует столь же совершенное соответствие, как между структурой понятий и структурой категорий реального мира. По сути, уровень понятий оказывается излишним²⁸. Форма, в которой понятия ментально репрезентируются (и которая, как уже было сказано, остается несколько неопределенной), во всяком случае не имеет никакого значения для структуры понятий. Более того, рассматриваемая теория вообще не оставляет места для влияния, например, особых свойств ментальных образов на эту структуру²⁹. Независимая роль ментальных репрезентаций принесена в жертву принципу когнитивной экономии. То же относится и к языку, который рассматривается исключительно с точки зрения референциальной семантики, как номенклатура вещей внешнего мира. Лексические связи оказывают не большее влияние на структуру естественных категорий, чем свойства ментальных образов. Язык, таким образом, сводится к таксономии, которая отражает, правда, очень экономично, внешний мир.

К теории прототипа могут быть и другие претензии. Так, она имеет тенденцию игнорировать контекст классификации, что вполне естественно следует из предположения о симметрии мира, языка и разума. Она сталкивается с большими трудностями при объяснении ключевого для нее понятия сходства, которое остается чрезвычайно размытым³⁰. Если

типов понятий, что подчеркивается рядом лингвистов, более внимательных к различиям между лексическими классами. См., например: Rastier F. *Sémantique...* P. 194.

²⁸ Такая логика стала естественной с того момента, когда в лингвистической триаде была прочерчена линия между точками основания семантического треугольника, т. е. установлены непосредственные связи между словами и вещами. Произошло это впервые в книге: Ogden C. K., Richards I. A. *The Meaning of Meaning*. London: Routledge and Kegan Paul, 1923. См. также: Rastier F. *La triade sémiotique, le trivium et la sémantique linguistique // Nouveaux actes sémiotiques*. 1990. Vol. 9.

²⁹ Это отражает положение дел в исследованиях по ментальному воображению, которые остаются в зависимости от лингвистической модели разума. См. Введение.

³⁰ О логических трудностях проблемы сходства см.: Quine W. V. O. *Natural Kinds // Ontological Relativity and Other Essays*. New York; London: Columbia U. P., 1969. P. 114–138.

сходство не есть нечто внутренне присущее объектам и автоматически отражаемое нашим перцептивным аппаратом (а именно в таком понимании сходства нуждается теория прототипов), то непонятно, как можно избежать анализа черт, если не с точки зрения необходимых и достаточных условий, то в форме пробабилистских суждений, что отсылает нас к идее сложного понятия.

Идея кластера в свою очередь ставит новые проблемы — идет ли речь о кластере значений или о кластере объектов? В принципе, возможны оба ответа. Если речь идет о кластере значений, можно сказать, что имя, обозначающее класс объектов, имеет разные коннотации, которые отсылают к различным атрибутам, но, однако, эти атрибуты являются не необходимыми, а только вероятными для входящих в категорию объектов. Напротив, если речь идет о кластере объектов, можно сказать, что эти объекты образуют конфигурацию, в центре которой находятся хорошие примеры (или объекты, напоминающие прототипы), а на периферии — объекты, хуже репрезентирующие категорию. Конечно, два кластера, хотя бы частично, могут быть переводимы друг в друга. Возможно, именно поэтому факт, что их все же два, ускользнул от внимания сторонников теории прототипа, которые имеют тенденцию их смешивать, что, впрочем, и неудивительно, ибо они не различают последовательно значение и референцию и имплицитно отождествляют слова и концепты. Но ведь кластер коннотаций может иметь структуру, не вполне совпадающую со структурой кластера объектов. Не может ли быть, что форма двух кластеров подсказывает нам разные интерпретации имени? Эту гипотезу мы попытаемся развить несколько ниже. Сейчас же заметим еще раз, что теория прототипа не оставляет места для исследования имманентных структур наших понятий.

Наконец, одна из слабостей теории прототипа состоит в том, что она не уделяет достаточного внимания нашей приверженности к определению слов³¹. Трудно отрицать, что по крайней мере часть образуемых нами категорий вполне удовлетворяет требованию необходимых и достаточных условий и что мы очень часто спонтанно пытаемся применить этот демарш даже там, где он имеет очень мало шансов на успех. Конечно, можно объяснить эту привычку губительными последствиями школьного

³¹ Kleiber G. *La sémantique...* P. 27. В другом месте Ж. Клебер пишет: «Теория прототипа совершенно пренебрегает аналитическим измерением» (*Ibid.* P. 121).

образования, которое пытается выдать аристотелевскую логику за единственно возможную. Но хорошо известно, что на формирование самой аристотелевской логики колоссальное влияние оказали структуры греческого языка, который, конечно же, был не более искусственным, чем современный английский³². Не уместнее ли предположить, что требование необходимых и достаточных условий тоже имеет некоторую укорененность в естественном мышлении, подсказываемом языком?

Все перечисленные трудности (и некоторые другие более технического характера) вызвали реакцию против теории прототипа и повлекли за собой ее существенные модификации. Мы ограничимся здесь указанием на некоторые направления пересмотра теории прототипа³³. Новые исследования показывают, что наиболее вероятной является гипотеза множественности естественных типов классификации³⁴. Так, семейное сходство способно произвести категории, организованные вокруг хороших примеров, но также и категории в форме цепи, а возможно, и другие типы категорий³⁵. Далее, достаточно часто мы используем аристотелевские категории. Иногда наши категории следуют одновременно двум принципам — и логике прототипа, и логике необходимых и достаточных условий (иначе говоря, мы способны указать и свойства, разделяемые всеми членами категории, и хорошие примеры, которые служат для ее меморизации). Некоторые исследователи считают, что человеческая категоризация укоренена в пробабилистской инференции, которая все же скорее опирается на анализ черт, нежели на интуитивный галоэффект. Были выявлены подвижный характер категорий и их сильная зависимость от контекста категоризации, равно как и от общих представлений о мире, которые подсказывают нам теории относительно подлежащих категоризации объектов. Опираясь на эти исследования, нам надлежит понять механизмы классификации, повлиявшие на французскую социальную историю 1960-х гг. Но для наших целей принципиально важно понять их не в изоляции, а в связи с работой других механизмов, преж-

³² Benveniste E. *Catégories de pensée et catégories de langue // Problèmes de linguistique générale*. Paris: Gallimard, 1966. P. 63–74.

³³ См. работы, указанные в прим. 22.

³⁴ По словам Ж. Клебера, «невозможно отрицать существования категорий различных типов» (Kleiber G. *La sémantique...* P. 141).

³⁵ Vygotsky L. S. *Thought and Language*. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1962. P. 60–66.

де всего тех, которые зависят от семантических структур имен. Нам предстоит систематически различать логику референции и логику значения, пытаясь понять, как описания социальных структур рождаются из их конфликта и взаимодействия.

Вернемся к социальным терминам. Жесткое противопоставление имен нарицательных как коннотативных и имен собственных как неконнотативных нам кажется недостаточно обоснованным. Точнее, по-видимому, говорить не о разных типах имен, но о разных способах их употребления. Если отвлечься от того, что имя должно с необходимостью означать в любом из возможных миров, и ограничиться тем, что оно обычно означает в каждодневном употреблении сообществом говорящих, можно сказать, что каждое имя способно денотировать объект, о котором идет речь, и коннотировать приписываемые ему свойства. Но это не значит, что всякий раз употребление имени должно вызывать в сознании полное описание свойств своего референта³⁶. Это описание обычно остается доступным, но, так сказать, «в спящем состоянии», не актуализированное конкретным дискурсивным контекстом. Возьмем, например, утверждение, что народные восстания во Франции перед Фрондой были направлены не столько против дворян, сколько против фиска. Чтобы его понять, нам нет необходимости вспоминать, что дворяне похвалялись древностью рода, — достаточно учесть, что в качестве земельных собственников они эксплуатировали крестьян, но что в конкретных условиях Тридцатилетней войны не столько повышение земельных и сеньориальных рент, сколько фискальный пресс спровоцировал всплеск социального насилия со стороны крестьян. Слово «дворяне» в этом случае употреблено прежде всего в смысле земельных собственников. Одновременно оно денотирует и вызывает в сознании группу физических лиц — своего референта. Но случается также, что имя просто денотирует объект, о котором идет речь, не отсылая специально ни к какому его свойству. Имена нарицательные не менее способны к такому использованию, чем имена собственные или собирательные. Классическим примером являются заглавия словарных статей. Всегда, по-видимому, отсылая к своему референту, имя может, по крайней мере в теории, отсылать к полному описанию его свойств, к их сокращенному описанию или не отсылать к их описанию вообще. В таком случае оно выступает как семантическая пустота.

³⁶ Mill J. S. *Système de logique*. Vol. 2. P. 230.

Но эти три варианта отнюдь не одинаково часто встречаются в дискурсе. Семантическая пустота и полное описание выступают скорее как логические возможности, как крайние точки семантического горизонта имени. В большинстве речевых ситуаций мысль опирается на частичные значения. Лишь в специальных контекстах использование имени приближается к семантическим пределам. Мы можем употребить имя как семантически пустую когнитивную точку, чтобы зафиксировать относящуюся к нему информацию, которую намерены передать. Но обычно дискурс отсылает к информации, уже переданной или предполагающейся известной. Если полное описание сообщает полное значение соответствующего имени, это последнее имеет только одну функцию — постулировать целостность, к которой относится описание, иначе говоря, фиксировать референцию. Для социальных терминов типичный случай такого употребления — в подзаголовках, вводящих описания социальных групп. Имена групп служат здесь только для фиксации референции, постулируя существование категорий индивидов, полное значение имен которых должны, как предполагается, дать следующие за этим описания. Создается впечатление, что семантическая пустота и полное описание взаимно предполагают друг друга и сближаются до такой степени, что всегда готовы перейти друг в друга. Отсылка к синтетическому понятию — полному описанию — как бы содержится в деиктическом акте и в то же время растворяется в нем. Но хотя завершенное синтетическое понятие существует только в качестве логического предела значения, оно всегда присутствует на горизонте сознания, влияя на аналитическое использование имен. Отсюда следует заключение, что значение аналитично в своей тенденции и что слово не только отсылает к объекту, но и начинает его логическую интерпретацию.

Эту аналитическую тенденцию воплощают прежде всего коннотации. Не вполне понятен способ, каким они соединяются с именем. Возможно, следует говорить о разных типах коннотаций. Не претендуя здесь на полную их типологию, подчеркнем только роль одного различия в способах соединения коннотаций с именем. Для этого зададимся вопросом, в самом ли деле коннотации имен собственных и имен нарицательных по-разному связаны с соответствующими именами. Конечно, имя Александр не утверждает «само по себе», что его носитель был учеником Аристотеля. Но что в имени «дворянин» (*noble*) способно под-

сказать нам, например, идею земельной собственности, которая входит в наше обычное представление о дворянстве.³⁷ В обоих случаях именно через посредство нашего знания о вещах проходят связи между коннотациями и именами.

Однако интуиция, что имя может утверждать что-то «само по себе», по-видимому, схватывает очень важный аспект нашей лингвистической компетенции. Обычно приводимый пример с Александром слишком упрощен и вводит в заблуждение. Сказать «Александр» не означает точно зафиксировать референцию. Чтобы идентифицировать индивида, следует скорее принять формулу современных администраций, требующих указывать фамилию, имя, национальность, дату и место рождения, равно как и имена родителей. Конечно, полной гарантии точной идентификации эта формула не дает, но опыт показывает, что для обычных административных целей таких данных достаточно — если и не в любом из возможных миров, то в нашем земном мире, с которым имеют дело администраторы. Впрочем, и сами греки имели более сложные номинативные формулы, нежели только имя. Так, чтобы указать на обычно имеющегося в виду Александра, они могли сказать: Александр, сын Филиппа, царь македонян (*Alexandros tou Philippou ton Makedonon*). Конечно, случай монархов специфичен. Но и для рядового гражданина греки могли указать, кроме его собственного имени и имени отца, демотическое имя и город происхождения³⁷. Исторические и антропологические исследования позволяют увеличить число таких примеров до бесконечности³⁸.

Итак, личные имена далеко не являются (как это иногда утверждают³⁹) «маргинальным типом» имен собственных. Напротив, большинство личных имен пытается зафиксировать положение своих носителей по

³⁷ О греческих именах см.: Bresson A. *Nomination et règles de droit dans l'Athènes classique* // *L'Uomo*. 1983. Vol. 7. № 1–2.

³⁸ Под влиянием Леви-Строса (*Levi-Strauss C. La pensée sauvage*. Paris: Plon, 1962) идея, согласно которой имя собственное является важнейшим социальным классификатором, получила широкое распространение в антропологии (*Zonabend F. Le nom de personne* // *L'Homme*. 1980. Vol. 20. № 4. P. 7–23; см также другие статьи этого номера и специальный номер журнала *L'Uomo*. 1983. Vol. 7. № 1–2). Критику позиции Леви-Строса см.: Vuillemin J. *Qu'est-ce qu'un nom propre?* // *Fundamenta Scientiae*. 1980. Vol. 1. P. 261–273.

³⁹ Langendonck W. van. *Proper Names and Pronouns* // *Actes du XVIe Congrès International des Sciences Onomastiques, Québec, 1987*. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1990. P. 570.

отношению к другим людям и тем самым классифицировать их, что, конечно же, входит в значение этих имен. Наряду с указаниями на место индивида в его семейной или родовой группе личные имена содержат и немало других ценных данных⁴⁰. Иногда в номинативные формулы даже пытаются включить указания на социальный статус индивида (например, дворянские титулы или почетные эпитеты) или, что еще более показательно, интерпретировать в качестве таких указаний некоторые элементы имени (например, частицу «де», которая изначально не имела ничего специфически дворянского). Конечно, в повседневном, и даже ученом, обиходе мы всегда пытаемся, если контекст позволяет, прибегать к сокращенным номинативным формулам, но это не меняет факта, что имена собственные могут что-то утверждать «сами по себе». Аналогичное заключение, конечно, справедливо для нарицательных и собирательных имен. Можно предположить, что семантические поля конструируются не только с помощью связей, которые проходят через знание о мире, но и с помощью чисто лингвистических механизмов.

Возьмем, например, феодальные титулы типа «герцог», «граф» и т. д. Грамматическая форма подсказывает нам идею определенного типа отношений (упрощая, скажем — отношений владения), которые существуют между носителями указанных имен и другой категорией вещей, обозначаемых именами герцогства или графства. Даже если бы мы не знали ни значения слова «герцог», ни значения слова «герцогство», знание грамматического правила могло бы подсказать нам по крайней мере некоторые элементы этих понятий. Ту же службу могут сослужить этимологические связи (действие которых порой неотделимо от действия грамматических правил). Буржуа (*bourgeois*) — это, конечно же, те, кто живет в городах (*bourgs*), крестьяне (*paysans*) — в сельской местности (*pays*), а шателены (*chateains*) — в замках (*chateaux*). Рыцарь (*chevalier*) — это воин, сражающийся на коне (*cheval*), оруженосец (*escuyer*) — тот, кто носит за ним щит (*ecu*), а робенов (*gens de robe*) легко отличить по судейской мантии (*robe*).

Значение таких случаев далеко не сводится к тому, что из них можно узнать о положении экойе или буржуа. Акцентируя с помощью лексических связей тот или иной аспект «многомерного» социального

⁴⁰ Retel-Laurentin A., Horvath S. *Les noms de naissance: Indicateurs de la situation familiale et sociale en Afrique Noire*. Paris: SELAF, 1972.

статуса (следовательно, акцентируя одну из входящих в кластерное понятие коннотаций), эти термины показывают склонность нашего разума, и приучают нас, мыслить социальный статус как одномерный и «со-скальзывать» в наших рассуждениях от сложных понятий к простым. Такова, в частности, когнитивная функция спонтанного этимологического анализа — важного элемента нашей лингвистической компетентности, который служит проявлением — и началом осуществления — аналитической функции языка. Иметь сложные понятия, основанные на знании о мире, недостаточно для того, чтобы сопротивляться этой склонности разума, обостренной опытом употребления языка. Так, хотя слово «жантийом» (*gentilhomme*), буквально означающее «благородный человек», может отсылать к сложному понятию, в котором состояние, должности, титулы, древность рода, семейные связи, образ жизни, тип культуры и так далее сливаются в образ многомерного социального статуса, очевидная этимологическая связь этого слова с семантическим полем, организованным вокруг понятия благородства (*gentillesse*) или расы (*race*), подсказывала субъектам истории, и продолжает подсказывать историкам, одномерную интерпретацию социального статуса жантийомов.

Следует подчеркнуть, что коннотации, связанные с именем через лексические или грамматические структуры, далеко не обязательно являются главными из его коннотаций. Так, «жить по-дворянски» (*vivre noblement*) во Франции XV в. означало прежде всего «жить за счет земельных доходов и ничего не делать»⁴¹ — смысл, который едва ли выводим из имени дворянина. Но создается впечатление, что сама вера в возможность определить значение слова каким-то образом коренится в интеллектуальном опыте лексически связанных с именем коннотаций, которые, не исчерпывая значения имени, побуждают думать, что слово может значить что-то «само по себе». Иначе говоря, мы имеем тенденцию рассматривать некоторые коннотации, связанные с именем с помощью опыта вещей, как если бы они были связаны с ним с помощью языковых связей. Именно мысль о том, что часть коннотаций теснее других и особенным образом связана с именем, создает иллюзию определенности слова.

⁴¹ Mourier J. Nobilitas, quid est? Un procès à Tain-l'Hermitage en 1408 // *Bibliothèque de l'École des Chartes*. 1984. Vol. 142. P. 255–269.

Однако опыт языка дает нам нечто большее, нежели набор отдельных аналитических понятий. Он снабжает нас целой системой частных критериев, которые как носители языка мы произвольно используем для описания социальных структур. Имплицитная социология языка разработала для нас некоторые инструменты критериального анализа социальных фактов, своего рода «решетку чтения», пусть почти бессистемную, но зато кажущуюся нам отражением порядка вещей. С этой точки зрения интересно изучить основные типы этимологических связей, которые соединяют социальные термины того или иного языка с семантическими полями, частью которых они являются⁴². Многие социальные термины (часто отглагольного происхождения) выражают функционалистское видение общества, идет ли речь о социальных функциях в целом (*oratores, bellatores, laboratores*) или о более частных, профессиональных, военных и тому подобных функциях. Некоторые термины определяют социальные группы по их отношению к местам обитания (*bourgeois*), в то время как другие — по отношению к богатству (*ricos hombres*) или доходам (*pentakosiomedimnoi*). Многие социальные термины выражают различные формы отношений зависимости (*copyholders, freeholders*). Число таких примеров нетрудно умножить. Наряду с терминами, выражающими аналитическую интуицию частичного социального статуса, имеются и такие, которые обозначают синтетические статусы, однако с помощью их проекции на результирующее измерение социальной иерархии (*magnates, seniores, grands*), мыслимое в очевидно отсылающих к количественному выражению статуса терминах. Это еще раз подчеркивает «одномерную» тенденцию имен.

Вызывая в сознании множество критериев дифференциации, социальная терминология того или иного общества далеко не повинуетя единой логике. Скорее, она зависит от частичных логик, исторически сложившейся системы оппозиций, действительных только для фрагментов социальной структуры. Многие социальные термины мыслятся по противоположности друг другу, без того, однако, чтобы один и тот же

⁴² Batany J. Le vocabulaire des catégories sociales chez quelques moralistes français vers 1200 // *Ordres et classes: Colloque d'histoire sociale (Saint-Cloud, 1967)*. Paris; La Haye: Mouton, 1973. P. 59–72; Michaud-Quentin P. Le vocabulaire des catégories sociales chez les canonistes et moralistes du XIIIe siècle // *Ibid.* P. 73–86; Le Goff J. Le vocabulaire des catégories sociales Saint François d'Assise et ses biographes du XIIIe siècle // *Ibid.* P. 93–123.

принцип дифференциации сохранял значение для всего общества. Так, различие между «людьми шпаги» и «людьми мантии» во Франции Старого Порядка теряется по мере удаления от элит Парижского общества. Эти оппозиции, равно как и другие встроенные в язык классификационные схемы, имеют весьма различную логическую структуру⁴³. Многие термины могут одновременно входить в разные частичные терминологические подсистемы. Так, дворянство, составляя оппозицию с простонародьем (*roture*), входит и в модель трех сословий королевства, список которых уже современники пытались пополнить четвертым сословием — людьми мантии (*gens de robe*). Можно указать и на другие оппозиции, членом которых является дворянство, — например, оппозиции с буржуазией и крестьянством, первая из которых была особенно дорога историкам эпохи Июльской монархии, а вторая — Марксу. Следовательно, приучая нас мыслить социальные группы в терминах частичных критериев дифференциации, социальная терминология вместе с тем нарушает некоторые из стандартов логичности, подсказываемых этими же терминами. Заостряющий нашу аналитическую интуицию язык налагает на нее и ограничения, давая понять, что всякая логика действительна только до определенного предела и что стремление быть слишком логичным может привести к насилию над другими критериями возможного, которые для нас никак не менее важны, чем концепция реальности, подсказываемая аналитическими значениями слов.

Несмотря на то, что социальные термины могут употребляться двояко, скорее аналитически или скорее синтетически в зависимости от ситуации, некоторые из них более других пригодны к синтетическому употреблению. Недостаток синтетического потенциала связан прежде всего со слишком сильной одномерной тенденцией термина, которая может помешать употребить его в контексте, где данное измерение не имеет непосредственного значения для понимания фразы. Это не означает, что такие термины вовсе не отсылают к сложным понятиям. Это означает, что они реально употребимы только в контекстах, актуализирующих лишь одну коннотацию, обозначающую частичный социальный статус. Например, говоря об *экойе*, мы понимаем, что речь идет о мелких дворянах, владевших мелкими сеньориями, иногда отправлявшихся воевать, едва умевших (по крайней мере при Людовике XIII) читать и писать

⁴³ Le Goff J. Le vocabulaire... P. 115.

и т. д. Мы в состоянии понять этот термин не просто как низший дворянский титул, не как выражение частичного социального статуса, но как знак, отсылающий к группе, характеризующейся многомерным статусом, что, конечно же, не заставит забыть об этимологическом смысле слова. Но мы едва ли употребим этот термин, скажем, в контексте отношений сеньоров и крестьян. Скорее, мы скажем: «мелкие дворяне». Можно возразить, что причина здесь не в том, что слово «экуюе» слишком непосредственно отсылает к иерархии дворянских титулов, а в том, что многие экуюе не имели сеньорий. Но последнее в равной мере относится и к дворянам, а мы почти никогда не испытываем колебаний, употребляя этот термин в самых различных контекстах. Другие социальные термины имеют еще меньший синтетический потенциал, чем слово экуюе, например, дворяне рыцарского происхождения (*nobles issus de familles chevaleresques*), аудиторы Счетной палаты или мастера-шляпники. Во многих контекстах, даже имея в виду именно эти группы, мы назовем их либо именами, выражающими имеющее отношение к контексту измерение их статуса, либо родовыми именами дворян, чиновников или ремесленников, поскольку последние имена, пусть и менее точные, могут использоваться в гораздо более разнообразных контекстах. Не случайно Жак Рансьер называет их словами-вездеходами (*les mots passe-partout*)⁴⁴. Именно вокруг слов-вездеходов, подобных терминам базового уровня в биологических классификациях, имеют тенденцию организовываться описания социальной структуры.

Но синтетический потенциал — не только способность отсылать к полному описанию, но также и способность трансформироваться в семантические пустоты. Таким образом, описания социальных структур организуются вокруг терминов, в которых конфликт между значением и деиктическим актом, следовательно, конфликт между лингвистической логикой коннотаций и логикой семантических пустот, указывающей за пределы языка, достигает апогея. Что до терминов, располагающих слабым синтетическим потенциалом, то они служат прежде всего для уточнения дискурса социальной истории. Под этими именами члены больших категорий появляются в частичных, локальных, проходящих контекстах.

⁴⁴ Rancière J. *Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir*. Paris: Seuil, 1992. P. 72.

Едва ли существует устойчивая связь между синтетическим потенциалом и лингвистическими свойствами социальных терминов. Скорее, синтетический потенциал придается практикой словоупотребления. Группы, которые мы называем терминами с высоким синтетическим потенциалом, мы представляем таким образом, что их имена с особой легкостью утрачивают значение и превращаются в семантические пустоты, в бессмысленные знаки, отсылающие к единствам, образованным независимо от значений соответствующих слов.

Все же можно указать на одно лингвистическое свойство этих терминов, которое, впрочем, является скорее следствием, чем причиной общенного им обычая синтетического потенциала. Речь идет о синонимичности некоторых нарицательных и собирательных имен. Так, между дворянством (в смысле социальной группы) и дворянами (во множественном числе) нет, по-видимому, иного различия, кроме грамматического. Два термина отсылают к одному и тому же понятию, к одному кластеру коннотаций, и имеют один и тот же референт. Однако в словаре социальной истории далеко не каждому нарицательному имени соответствует имя собирательное. «Конвертируемость» некоторых нарицательных имен в собирательные имена свидетельствует, вероятно, об их особом логическом статусе. Она, по-видимому, свойственна прежде всего терминам, которые в социальных номенклатурах функционируют в качестве терминов базового уровня. Существуют чистые случаи такой конвертируемости, как, например, пары аристократы — аристократия, дворяне — дворянство, буржуа — буржуазия, крестьяне — крестьянство, пролетарии — пролетариат. Есть и более сложные случаи, когда тоже сказывается влияние этого механизма. Так, говоря о Франции XVII в., мы назовем тех, кто принадлежит к аристократии, не аристократами, но грандами (но уже для XVIII в. мы скажем: аристократы). Или, чтобы конвертировать имя рабочих в имя собирательное, мы скажем: рабочий класс.

В отличие от перечисленных понятий социальные термины со слабым синтетическим потенциалом лишь в порядке исключения имеют эквивалентные собирательные имена, хотя, конечно, при случае таковые можно изобрести *ad hoc*. Так, не существует собирательных имен аудиторов Счетной Палаты или мастеров-шляпников. Если существует слово «рыцарство» (*chevalerie*), то это потому, что для средневековья оно вы-

ступает в качестве термина базового уровня. Но для новой истории термин не имеет большого смысла. Конечно, можно сказать: группа аудиторов Счетной Палаты, но, хотя на первый взгляд структурно идентичное выражению «рабочий класс», это имя в силу ряда причин далеко не имеет того же статуса. Во-первых, оно гораздо менее стабильно и, следовательно, как многие сконструированные *ad hoc* категории, обычно понимается как аналитическая категория, адекватная данному контексту (что не мешает ей в то же время отсылать к сложному понятию как к своему семантическому горизонту). Иными словами, добавить слово «группа» к нарицательному имени недостаточно для того, чтобы заметно увеличить синтетический потенциал этого имени. Лишь обычай способен привести к ослаблению, всегда, впрочем, частичному, его аналитического смысла. Во-вторых, слово «группа» гораздо нейтральнее слова «класс» и не имеет столь сильной коннотации стабильной целостности. В-третьих, слово класс обычно отсылает к родовому уровню социального словаря, который и функционирует в качестве базового уровня, тогда как слово «группа» может быть отнесено к любому набору индивидов.

Интересно заметить, что распространение собирательных имен является относительно недавним феноменом, который датируется приблизительно тем же периодом, что и появление существительных на -изм, а именно, первой половиной XIX в. Однако этот способ думать, хотя и имел сравнительно слабое отражение на уровне лексики, не был, видимо, абсолютно чужд и предшествующей эпохе. Так, при Старом Порядке говорили о духовенстве, дворянстве и третьем сословии, а в средние века — о сословиях клириков, воинов и пахарей. Термин «сословие» (*ordo*) функционировал тогда в качестве такой же отсылки к базовому уровню социальной таксономии, какой сейчас является термин «класс». Подчеркнем, что социальные термины относились тогда скорее к статусу индивидов, нежели к их группам. Характерно в этом смысле приблизительно синонимичное слову *ordre* слово *etat*, означавшее сословие как группу индивидов, но прежде всего — связанное с принадлежностью к сословию «положение». Аналогичным образом понимались и такие категории, как дворянство или буржуазия. Следовало дожидаться возвышения «позитивного разума», сопровождавшегося некоторым высвобождением социальной мысли из-под власти слов⁴⁵, и рождения статис-

⁴⁵ Foucault M. *Les mots et les choses*. Paris: Gallimard, 1966.

тической концепции социального⁴⁶, чтобы стало естественнее мыслить социальные группы как абстрактные многомерные единства. Лингвистическим выражением этой переориентации сознания явилось распространение имен собирательных, более непосредственно, чем имена нарицательных, выражающих идею абстрактных целостностей.

Уместно предположить, что взаимозаменяемость нарицательных и собирательных имен возможна благодаря транзитивности аналитического и синтетического употребления слов. Пока синтетическое значение термина остается на горизонте сознания, а аналитическое выступает как главное, отсутствует нечто, побуждающее присвоить категории имя собирательное. Это нечто заключается в тенденции мыслить категорию в целом по аналогии с объектом. В момент, когда мы полагаем категорию как целостность, превосходящую сумму составляющих ее индивидов, эта тенденция начинает преобладать. Для фиксации идеи множества в качестве сущности высшего порядка, вероятно, необходима некоторая когнитивная точка. Именно эту последнюю мы и начинаем представлять как самостоятельный объект. По-видимому, существует критический порог, изменение ментальной установки, которое приводит в действие новую форму реализма. Единственная универсалия, мыслимая как реальная для имен нарицательных, есть значение, сущность. То, что объединяет всех дворян, — это качество дворянства. С именами собирательными утверждается другая форма реализма, идея множества, помысленного как единство. Буржуазия — это уже не сущность и даже не просто сложное понятие, это прежде всего класс, набор индивидов. Реализм вещей приходит на смену реализму слов.

Конечно, речь не идет об абсолютном разрыве, тем более что индивидуальные собирательные имена способны к двойному соскальзыванию к именам нарицательным, что усиливает аналитический потенциал соответствующих понятий. Имена собирательные не просто взаимозаменяемы с именами нарицательными, они могут в зависимости от контекста пониматься как имена нарицательные. Так, дворянство остается индивидуальным коллективным именем, пока речь идет об одной стране и определенной эпохе, т. е. в контексте, когда возможно только одно дворянство. Но когда речь идет о сравнении многих дворянств (иногда

⁴⁶ Desrosières A. *La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte, 1993.

даже в рамках одной страны), дворянство становится нарицательным коллективным именем, что побуждает нас думать в терминах значения и, следовательно, пытаться определить данное понятие. Впрочем, и эта логика остается незавершенной, потому что даже в качестве нарицательного имени дворянство никогда не превращается в чистое нарицательное имя. Подобно другим терминам социальных наук, никогда полностью не отделимым от конкретных исторических контекстов, в которых они обозначают уникальные социальные явления⁴⁷, оно сохраняет отпечаток индивидуального имени.

Итак, мы склонны заключить, что для объяснения двойственности семантической структуры социальных терминов с заложенным в ней конфликтом логик необходимо постулировать конфликт двух различных видов опыта — опыта слов и опыта вещей. Точнее, речь идет об опыте вещей, обозначенных именами, использованными в качестве семантических пустот, и об опыте слов, использованных в качестве носителей значений.

«Социальные факты следует рассматривать как вещи», — писал Дюркгейм⁴⁸. Обычно мы не задаемся вопросом, как именно наш опыт вещей сказывается на том, как мы мыслим социальные факты. Для целей нашего исследования такой вопрос задать необходимо. Согласно нашей гипотезе, опыт синтетического восприятия объектов приводит нас к формированию сложных понятий, тогда как опыт аналитического употребления слов — к образованию понятий аналитических.

⁴⁷ По Ж.-К. Пассерону, понятия социальных наук выражаются «несовершенными нарицательными именами (*noms communs imparfaits*)» или иначе — «полусобственными именами (*semi-noms propres*)». Особенность этих имен состоит в том, что «за ширмой многочисленных и подвижных родовых определений, которые сами по себе неспособны придать им стабильный смысл, (они) скрывают имплицитное действие деиктических актов (*déictiques*)», состоящих в «подразумевающейся отсылке к пространственно-временным координатам» (Passeron J.-C. *Le raisonnement sociologique: L'espace non-popperien du raisonnement naturel*. Paris: Nathan, 1991. P. 60–61). Иными словами, Пассерон ограничивает роль скрытых в понятиях социальных наук деиктических актов отсылкой к индивидуальным историческим явлениям, которая препятствует именам, обозначающим эти понятия, стать совершенными нарицательными именами. В этом смысле он понимает и теорию идеальных типов Макса Вебера. Нам подобная интерпретация — при всей ее справедливости — кажется неоправданно узкой, поскольку деиктический акт, конечно же, «встроен» далеко не только в «имена истории». Следовательно, нет оснований приписывать «логику имен собственных» только «именам» социальных наук и сводить ее значение к развитию идеи индивидуализирующих понятий.

⁴⁸ Durkheim E. *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: F. Alcan, 1894. P. 33.

Родившиеся из столкновения опыта мира с опытом языка, наши презентации социальных групп выглядят глубоко биполярными. Они организуются вокруг по-разному структурированных полюсов — кластера коннотаций, с одной стороны, и образа множества, с другой. Упомянутые выше теории имен и классификации в недостаточной мере оценивают различие и взаимную непереводимость этих полюсов. Полюс значений представляет собой прежде всего аналитическое измерение понятия. Каждая коннотация отсылает к одному атрибуту объектов, обозначенных данным именем. Но в обычном случае социальный термин имеет более одного значения. Его коннотации поэтому организуются в кластер. Чем более синтетический потенциал понятия становится значимым, тем более понятие мыслится по аналогии с эмпирическим объектом, а его коннотации ассимилируются с атрибутами объекта. Опыт синтетически воспринимаемых объектов поддерживает нашу интуицию синтетических понятий. В пределе (впрочем, редко достижимом на практике) социальный термин теряет свой аналитический потенциал и превращается в семантическую пустоту, в неконнотативное имя, иначе говоря, в чистый внутренний деиктический акт. Он сводится к когнитивной точке, служащей для фиксации как референции, так и описания.

Именно через посредство этой абстрактной точки, без которой невозможна фиксация значения (и, следовательно, образование понятия), полюс значения понятия связан с образом множества, трансформированного в единство той же самой точкой, именем, использованным в качестве семантической пустоты. Речь более не идет об опыте отдельных объектов, который позволяет помыслить синтетические понятия. Речь идет об операции упорядочения, или классификации, множества синтетически воспринятых эмпирических объектов. Если имя отсылает к классу объектов, то оно это делает не непосредственно и не через посредство полюса значений понятия, но через другой концептуальный полюс, зафиксированный деиктическим актом, имплицитно содержащимся в имени, актом, который является существенно внутренним. Но, следовательно, референт получает тем самым двойное существование — в мире и в разуме. Расщепление понятия сопровождается удвоением референта, расщепленного между референциальным полюсом понятия и миром⁴⁹. Референциальный

⁴⁹ Об эфekte проекции референта на мир см.: Jackendoff R. *Semantic and Cognition*. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1983. P. 36.

полюс понятия социальной группы представлен в разуме образом массы семантических пустот, соответствующих вещам, массы, организованной вокруг семантической пустоты более высокого порядка, в свою очередь уподобленной абстрактному объекту, который в то же время служит точкой фиксации значения. Если полюс значений понятия, обращенный к опыту языка, представляется глубоко лингвистическим по своей природе, референциальный полюс, обращенный к опыту мира, кажется по сути нелингвистическим.

Этот удвоенный референт не является ни отражением разума в мире, ни отражением мира в разуме. Он возникает из того постоянного взаимодействия разума и мира, которое называется опытом. Поэтому бессмысленно искать инвариантную структуру человеческой категоризации. Ведь структуры, возникающие из опыта, чрезвычайно разнообразны. Мир дан нам в разнообразии форм, ибо разнообразны формы нашего опыта мира. В зависимости от контекста и подлежащей выполнению интеллектуальной задачи мы конструируем различные категории, опирающиеся преимущественно либо на опыт аналитически употребленных слов, либо на опыт синтетически воспринятых объектов. Поэтому всегда принципиально важно выявить контекст классификации. Но за разнообразием контекстов можно, по-видимому, выявить некоторые типы интеллектуальных задач, связанных с различными стратегиями рассуждения. Каждая интеллектуальная задача выступает как кадр мысли, мобилирующий определенные ресурсы разума. Именно в этих кадрах конструируются различные миры. Репрезентация общества как разделенного на группы множества представляется одним из таких типов.

Как же мы действуем, столкнувшись с такой задачей? Как сблизить между собой семантические пустоты, чтобы создать из них группы, которые в свою очередь будут лишь семантическими пустотами? Другими словами, как можно думать в среде, откуда изгнан смысл? И в самом ли деле, классифицируя, мы абстрагируемся от смысла?

Интересные эксперименты Люка Болтански и Лорана Тевено дадут элементы ответа на этот вопрос⁵⁰. Субъектам было предложено эмпирически разделить на группы несколько десятков карточек, содержащих стандартную информацию о реальных людях. Их первым побуж-

⁵⁰ Boltanski L., Thévenot L. Finding One's Way in Social Space: A Study Based on Games // *Social Science Information*. 1983. Vol. 22. № 4–5. P. 631–679.

дением было классифицировать в соответствии с «сильными» критериями (такими, как, например, профессия), т. е. в соответствии с частичными критериями, более или менее четко зафиксированными в языке. Но по мере увеличения количества индивидуальных случаев субъекты начинали руководствоваться не столько анализом черт, сколько общим впечатлением о социальном положении подлежащих классификации индивидов и совершенно интуитивно устанавливать между ними отношения сходства, позволявшие объединять их в группы, формирующиеся вокруг «хороших примеров» (т. е. вокруг случаев, сочтенных типичными или ясными в свете предшествующего социального опыта субъектов). Создается впечатление, что по достижении определенного численного порога происходит изменение ментальной установки, что влечет за собой модификацию интеллектуальной задачи: вместо распределения новых случаев по уже имеющимся категориям субъекты начинают конструировать новые категории. Иначе говоря, начиная с определенного момента субъекты приходят к тому, чтобы ментально сконструировать множество, подлежащее классификации. Поскольку эта новая задача предполагает определенную свободу по отношению к языковому коду и анализу черт, возникает относительно закрытая интеллектуальная ситуация, которая приводит в действие свои собственные механизмы. Аналитическая интуиция как бы отключается, и классификацию направляет другая интуиция, которая позволяет воспринимать объекты как целостности. Субъекты как бы вовлекаются в особое пространство мысли, относительно изолированное от того, где они размышляли ранее. Но характерно, что когда их затем просят дать имена группам, составленным из семантических пустот, субъекты испытывают очевидное затруднение, как если бы им приходилось вернуться в другое пространство мысли, чтобы назвать эти новые семантические пустоты, которыми являются их эмпирически сконструированные категории. Ничего удивительного, что для того, чтобы их назвать, субъекты часто оказываются вынужденными пересмотреть их состав, иначе в этих эмпирических группах не удастся распознать интеллигибельные категории социального словаря. Аналитическая интуиция слов, конечно, умеренная опытом синтетически воспринятых объектов, опять берет верх, едва завершается путешествие по лингвистической области суждений и меняются условия интеллектуальной задачи.

Что нам показывают эти эксперименты? Три основные вещи. Во-первых, они подтверждают гипотезу нелингвистической среды мышления, где происходит эмпирическая классификация индивидов. Во-вторых, они показывают, что классификация, основанная на интуитивном восприятии синтетических социальных статусов индивидов, приводит к конструированию категорий, которые объединяются узлами сходства вокруг сочтенных образцовыми примеров. В-третьих, эта операция предполагает, что принимается определенная ментальная установка, препятствующая языку присваивать новый опыт элемент за элементом и позволяющая представить ментально эти элементы как подлежащее классификации множество, что и выступает в качестве критического момента в переориентации нашего мышления на вещи, иными словами — как условие классификации, обходящейся без номинации.

Выключение механизма лингвистической классификации связано, таким образом, со специфическими и достаточно «закрытыми» интеллектуальными задачами. Поэтому для корректной интерпретации экспериментов Болтански и Тевено важно понять условия, в которых такие задачи становятся возможными⁵¹.

Эти эксперименты были осуществлены в ходе разработки Национальным институтом статистики и экономических исследований нового социопрофессионального кодекса (1983 г.). Одной из задач было тогда избежать ситуации, когда формализм, свойственный такого рода документам, входит в противоречие с «естественным мышлением» тех, кому приходится испытывать на себе эффекты нового законодательства. Речь поэтому шла не о том, чтобы понять, как субъекты воспринимают друг друга в повседневной жизни. Речь шла о том, чтобы понять, как субъекты повели бы себя, если бы столкнулись с задачей составления социопрофессионального кодекса⁵². Конечно, субъектам предложили класси-

⁵¹ Контекстуализация задач социальной классификации важна потому, что, как подчеркивала Э. Ботт, «не существует способа выяснить, что на самом деле люди думают о классе», поскольку использование этого слова «варьирует в зависимости от непосредственной социальной ситуации и конкретной цели» (Bott E. *Family and Social Network: Roles, Norms and External Relationships in Ordinary Urban Families*. London, 1971. P. 171).

⁵² С этой точки зрения интересны соображения А. Сикуреля, подчеркивавшего, что хотя основные категории, в которых принято описывать социальную структуру (такие, например, как статус или роль), являются категориями наблюдателя, а не субъекта,

фицировать индивидов, а не социопрофессиональные категории, которые надлежало сгруппировать, чтобы получить код. Но с точки зрения интеллектуальных процедур различие смягчается структурным сходством двух задач, равно состоящих в упорядочении множества. В рамках такой задачи категории, подобно индивидам, тоже можно представить, абстрагируясь от их имен, как синтетически воспринятые многомерные объекты.

Итак, субъекты были поставлены в исключительно искусственную ситуацию. В повседневной жизни им обычно достаточно классифицировать новые объекты, распределяя их по уже приобретенным и зафиксированным в словаре категориям. Эти объекты составляют множество только на условии абстрагирования от времени и представления жизненного опыта в качестве синхронического среза. Рассмотренная диахронически, операция эмпирической классификации, какой мы ее осуществляем в повседневной жизни, теряет свою интеллектуальную чистоту под комбинированным воздействием времени, коллектива и слов. Иначе говоря, в повседневной жизни мы действуем так, как действовали субъекты экспериментов до того, как они ментально составили подлежащее классификации множество.

Но вынесение за скобки языка — не единственный когнитивный эффект искусственной ситуации эксперимента. Другой эффект состоит в том, что экспериментальная классификация имеет тенденцию восприниматься как окончательная и исчерпывающая, тогда как в повседневной жизни субъекты не должны классифицировать друг друга ни всех сразу, ни раз и навсегда. Но главное — в повседневной жизни классификационные суждения не должны быть абсолютными. В каждой конкретной ситуации обычно достаточно принять в расчет только некоторые элемен-

все же последний в состоянии при определенных условиях (например, в ситуации социологического интервью) занять позицию наблюдателя и рассуждать в свойственных ему терминах. Сикурель пишет: «Теоретически субъект и исследователь-наблюдатель используют конструкции и методы разного типа. Однако на практике повседневное теоретизирование субъекта, по-видимому, очень похоже на позицию наблюдателя-исследователя» (Cicourel A. V. *La sociologie cognitive*. Paris: Presses Universitaires de France, 1979. P. 50—51). В свете этих соображений особое значение приобретает известная формула Э. Ботт (см. прим. 51). За разнообразием контекстов, в которых слова приобретают различные значения, вероятно, можно выделить некоторые устойчивые формы полагания мира, для выделения которых позиции субъекта и наблюдателя, при всем их взаимопроникновении, являются основополагающей оппозицией.

ты социального статуса другого, и этого бывает достаточно для того, чтобы решить, как себя вести. Мы довольствуемся поэтому категориями, созданными *ad hoc*, по необходимости частичными и доступными пересмотру. Конечно, бывают ситуации, в которых требуются точные и окончательные решения, как, например, некоторые юридические тяжбы (впрочем, в ходе последних также под сомнение часто ставятся лишь отдельные аспекты социального статуса личности — например, дворянство). Но в целом двусмысленность остается характерной для нашего социального опыта.

Эксперименты Болтански и Тевено именно благодаря искусственно поставленной задаче показывают нам идеальный тип операции эмпирического упорядочения, всегда присутствующий в качестве логической возможности на горизонте нашего сознания. Какой бы искусственной она ни казалась с точки зрения социального поведения субъектов, эта задача тем не менее глубоко укоренена в традиции рассмотрения общества, неотделимой от наших ментальных обычаев. Дело не только в том, что субъектам часто приходится ссылаться на категории кодекса (или эквивалентные им): самая необходимость и возможность иметь глобальный образ общества проистекают из склонности разума рассматривать мир не только изнутри, с точки зрения действующего в нем субъекта, но и извне, с точки зрения внешнего наблюдателя, полагающего мир как объект познания. Не так важно, что эти две точки зрения едва ли совместимы. Точка зрения внешнего наблюдателя не становится от этого менее фундаментальной для нашего опыта мира, подсказывая нам, в частности, то имплицитное видение реальности, на котором построена наука.

Впрочем, эта точка зрения является интеллектуальным основанием и других культурных практик, кроме науки. Одна из них — администрация, которой руководит то же стремление овладеть всем и упорядочить все, как и наукой. Социoproфессиональный кодекс представляется классическим местом их встречи, о чем свидетельствует его генеалогия. Вспомним о различных кодификациях XIX в.⁵³ или абсолютистской эпохи (как, например, Тариф капитации). Их одних было бы достаточно, чтобы приучить нас к этому типу репрезентаций. До этого аналогичные

⁵³ Desrosières A. *La politique...*; Desrosières A., Thévenot L. *Les catégories socio-professionnelles*. Paris: La Découverte, 1988.

когнитивные потребности привели к появлению «древа Франции»⁵⁴, торжественных процессий, наглядно представляющих общество разделенным на классы и категории, Марсовых полей и боевых построений (военная организация не в последнюю очередь приучила нас к идее упорядочения множества). Но и вне социальной сферы мы постоянно приобретаем такого рода опыт. Не очевидно ли, что эгоцентрическое видение общества всегда дополняется видением извне⁵⁵, с точки зрения Бога или его заместителей на Земле, каковыми выступают короли и ученые? Именно поэтому эксперименты Болтански и Тевено, заставивших субъектов поиграть в королевей-ученых, показывают нам один из важнейших элементов нашего воображаемого опыта социального. Интеллектуальная задача представить синтетическую социальную иерархию, по-видимому, является для нас совершенно естественной. Она выступает в качестве одной из проецируемых на мир форм разума, в качестве структуры, конструирующей в его же самой определенных рамках мир, который принадлежит только ей⁵⁶.

Это не значит, что наши репрезентации социальных групп всегда образуются вокруг хороших примеров. Спонтанно мы приписываем им скорее ясную структуру аристотелевских категорий. Опыт как беспорядочных социальных номенклатур нашего языка, так и упорядочения множества заставляет нас выбирать осторожные формулировки, чтобы не создать впечатление, что мы говорим не о реальном мире, но о лабораторной модели. Но с того момента, когда мы погружаемся в эмпирическую классификацию, идеальный образ мысли без слов покидает задний план сознания, откуда он может только слегка сдерживать языковую интуицию, чтобы непосредственно вмешаться в наши размышления, либо навязывая нам свою собственную логику, либо настолько запутывая логику языка, что непоследовательность мысли далеко выходит за

⁵⁴ Le Roy Ladurie E. L'Arbre de justice: Un organigramme de l'Etat au XVIe siècle // *Revue de la Bibliothèque Nationale*. 1985. А. 5. № 18. P. 19–35; Idem. Les structures de la monarchie au XVIe siècle // *Historia*. 1987. № 484. P. 7–20.

⁵⁵ О «космическом» и «эгоцентрическом» видении мира см.: Arnheim R. *The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts*. Berkeley; Los Angeles; London: The University of California Press, 1982.

⁵⁶ Способы классификации, следовательно, — иллюстрация к известной формуле Н. Гудмана «мир устроен по-разному (*the world is many ways*)» (Goodman N. *The Way the World Is* // *Review of Metaphysics*. 1960. Vol. 14. P. 103).

обычно терпимые пределы. Создается впечатление, что пока мы размышляем, отправляясь от предсуществующих категорий, мы склонны применять аристотелевскую классификацию, но с момента, когда мы принимаем совершенную эмпирическую установку, наша классификация начинает следовать логике прототипа.

Сказанного о нелингвистических аспектах классификации, по-видимому, достаточно, чтобы стало естественным задаться вопросом о том, в какой мере пространственные паралогики, о которых мы говорили во Введении, могут быть причастными к парадоксам исторических классификаций. «Классификации — область, где с незапамятных времен язык пересекается с пространством», — писал Мишель Фуко, имея в виду двумерные таблицы, иными словами — буквально понятое физическое пространство⁵⁷. Однако и ментальное пространство способно выступать как орудие классификационного мышления⁵⁸. Отсылки к пространственному референциальному кадру характерны для описаний социальной структуры. Порой пространственные образы кажутся единственным способом передать самую идею социальной структуры⁵⁹. Само по себе описание как дискурсивная форма имеет сходство с живописью, основанной на разворачивающейся в пространстве структуре озаначаемого, однако между пространственным опытом и логическими проблемами социальной истории 1960-х гг. были и более непосредственные связи. Как герменевтика социальных терминов, так и упорядочение множества опиралось на пространственный опыт, причем логические кон-

⁵⁷ Foucault M. *Les mots et les choses*. Дж. Гуди также исследовал роль таблиц и списков в развитии классификационного мышления (Goody J. *The Domestication of the Savage Mind*. Cambridge; London; New York: Cambridge U. P., 1977). См. также: Ong W. J. *Ramus, Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason*. Cambridge (Mass.); London: Harvard U. P., 1958.

⁵⁸ Так, некоторые лингвисты подчеркивали роль пространственных метафор для концептуализации иерархии, особенно ее психологически простейшей формы, основанной на пространственном отношении включенности: «Пространственное воображение может оказать существенную помощь для попыток логического рассуждения об иерархических системах отношений» (Miller G. A., Johnson-Laird P. N. *Language and Perception*. Cambridge; London: Cambridge U. P. P. 241, 375).

⁵⁹ По словам П. Берка, «чтобы передать такого рода отношения, невозможно, по-видимому, обойтись без помощи метафор, предпочтем ли мы метафоры социальной лестницы, или пирамиды, или геологический образ социальной стратификации» (Burke P. *Sociology and History*. London, 1980. P. 61).

фликты между ними могут быть прочтены как результат непереводаемости друг в друга разных типов ментального пространства. В той мере, в которой описание разворачивается во времени, оно, как и любая другая вербальная структура, подчиняется закону линейного характера означаемого. Из этого, конечно, не следует, что любой дискурс всегда отсылает к фигуре прямой линии. Дискурс может быть построен так, чтобы, напротив, отсылать к периодически сменяющим друг друга циклам, к образу вечного возвращения⁶⁰. И все же линейная структура изложения представляется взаимосвязанной с тенденцией к линейному упорядочению, особенно в той мере, в которой описания воспроизводят логику списка. Логические принуждения, заложенные в форме списка, изучены Дж. Гудди⁶¹. Он показал, что идея социальной иерархии исторически связана с переходом к письменности, которая в самой своей организации содержала принуждения, аналогичные пространственному образу вертикали⁶².

Ничего удивительного, что подобные эффекты мы встречаем и в текстах социальных историков. Характерно в этом смысле, например, описание Р. Мунье французского общества XVII в. на основе полученной им с помощью исследования брачных контрактов эмпирической модели. Мунье не испытывает ни малейших неудобств в связи с необходимостью передать в адекватной лингвистической форме пространственный образ иерархии, к которому он недвусмысленно апеллирует⁶³. Он по

⁶⁰ Такова, например, как показал Х. Кельнер, базовая метафора броделевского «Средиземноморья», причем одним из создающих этот образ риторических приемов, конечно же, является цикличное построение книги. В одном из шедевров современной историографии историк ментальностей обнаружит такое же представление о времени, как у древних скандинавов, китайцев или нуеров (Kellner H. *Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989. P. 153–187).

⁶¹ Goody J. *The Domestication of the Savage Mind*. P. 81–103.

⁶² Ср. параллелизм последовательного изложения и иерархического расположения групп фактов в рамках стратифицированного образа истории (см. гл. 4). Группы исторических фактов в данном случае, и эта параллель чрезвычайно важна, повинуются той же пространственной паралогике, что и группы индивидов.

⁶³ «Социальная стратификация — это ментальная репрезентация, которую создают себе сами члены общества или его исследователи, когда они рассматривают его, как если бы составляющие его люди располагались в виде ряда горизонтальных социальных страт или иерархизированных социальных слоев или уровней» (Mousnier R. *Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles: L'échantillon de 1634, 1635, 1636*. Paris: A. Pédone, 1975. P. 5).

порядку описывает «страты» общества (подчеркнем использование пространственного термина для обозначения социальных групп), подразделяя каждую из них на «уровни» или «состояния» (*etats* — опять же пространственный термин), т. е. на подгруппы. И как бы для того, чтобы подчеркнуть изоморфность описания-списка и пространственного образа иерархии, рассказ о каждой группе вводится с помощью чередующихся взаимозаменяемых шифтеров — «ниже находятся» (*plus bas sont*) или «далее следуют» (*viennent ensuite*)⁶⁴. Иногда же историки прямо, как будто «проговариваясь», эксплицируют связь между линейным характером означающего — своего повествования — и вертикальной структурой иерархии, которую они описывают. Характерный пример находим в книге А. Д. Люблинской, которая предваряет описание социальной структуры французского общества следующим замечанием. Ей надо объяснить, почему она начинает анализ не с трудящихся масс (к которым должен был быть в первую очередь прикован ее интерес), но с высшей знати, и лишь постепенно спускается по социальной лестнице: «Такой прием, — пишет она, — позволит наглядно показать всю тяжесть угнетения, которому подвергалось крестьянство»⁶⁵. Линейный порядок означаемого в этой фразе как бы материализуется в вес иерархии, а слово «наглядно» акцентирует отсылку к визуальному образу.

Однако иерархию в нашем восприятии, по-видимому, не совсем точно отождествлять с вертикалью. Прямая иерархии на самом деле скорее кривая, и в этом можно усмотреть параллель искривлению лонгитюдных поверхностей в зоне бокового зрения, за пределами фокуса внимания. В упомянутом выше описании французского общества Роланом Мунье образ иерархии лингвистически четко фиксируется лишь до определенного предела. Приблизительно с середины описания жесткая последовательность начинает размываться, шифтеры типа «ниже находятся» и «далее следуют» уступают место формулам другого типа, как, например: «к этой страте, конечно, надо присоединить» (*il faut certainement rattacher à cette strate*) или «аналогичными являются» (*sont analogues*), заставляющие думать о постепенном превращении вертикали в горизонталь, где различия уже не связаны с иерархичес-

⁶⁴ Правда, так продолжается только до определенного уровня, при переходе к народным слоям четкая вертикаль размывается, но об этом ниже.

⁶⁵ Люблинская А. Д. *Франция в начале XVII века*. Л.: Наука, 1959. С. 65.

кими отношениями. В низших стратах подгруппы часто даже не нумеруются (в то время как в верхних имеется очень четкая внутренняя нумерация), что тоже свидетельствует о стремлении ослабить иерархический эффект списка, вызвать идею различия, не отсылающего к иерархии.

Совершенно аналогичную трудность отмечают А. Домар и Ф. Фюре: «Так, особенно в рамках третьего сословия возникает проблема разграничительных линий: к вертикальным разграничениям, охарактеризованным выше (с помощью которых можно было описывать дворянство. — Н. К.), здесь следует добавить горизонтальные купюры»⁶⁶. Такие же эффекты отмечают Ф. Блюш и Ж.-Ф. Сольнон применительно к Тарифу капитации: в нем логично продуманы первые 11 классов, охватывающие 206 рангов, в то время как описание нижестоящих слоев характеризуется полным хаосом⁶⁷. Наконец, на нечто подобное обращали внимание и авторы XVII в., например, Луазо, который говорил, что группы, выделяемые внутри третьего сословия — это «скорее простые призвания (*vocations*), чем оформленные сословия»⁶⁸. Конечно, Луазо имел в виду, что эти «призвания» не соответствуют определенным титулам или почетным эпитетам, которые прежде всего и отсылали к идее сословий, однако здесь, несомненно, присутствует и пространственная паралогика: во-первых, иерархия именно титулов была достаточно бесспорной (хотя бы формально), во-вторых, само слово «сословие» (*etat*) отсылало в данном случае к представлению об иерархически расположенных группах.

Если от фигуры иерархии перейти к логической структуре категорий, то здесь мы прежде всего увидим традиционное использование в теории категоризации пространственных метафор. Разные авторы прибегают к пространственным образам для передачи идеи категорий. Складывается впечатление, что понятию класса подлечит идея группировки в пространстве, интуиция некоторой области, образованной расположенными рядом объектами и очерченной ограничительной лини-

⁶⁶ Daumard A., Furet F. *Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe siècle*. Paris: A. Colin, 1961. P. 92.

⁶⁷ Bluche F., Solnon J.-F. *La véritable hiérarchie sociale de l'Ancienne France: Le Tarif de la première capitation (1695)*. Genève: Droz, 1983. P. 23.

⁶⁸ Loyseau Ch. *Traité des ordres et simples dignités // Oeuvres*. Paris, 1640. P. 2.

ей⁶⁹. При этом, однако, пространство, в котором осуществляется подобная операция, может мыслиться по-разному. Так, категории, предполагаемые герменевтикой социальных терминов, т. е. категории, в которых все члены равны между собой, взаимозаменяемы и никак не сгруппированы, категории, четко отделенные от других аналогичных категорий, видимо, возможны только в рациональном евклидовом пространстве. Образ классов как шеренг в фаланге, т. е. образ непересекающихся параллельных прямых, является наиболее очевидным пространственным аналогом (и до известной степени историческим предшественником) этой классификации.

Еще заметнее сказалась пространственная паралогика на процедуре эмпирического упорядочения. Именно к ментальному пространству отсылает референциальный полюс понятия, представленный в сознании образом множества. Именно в ментальном пространстве происходит и формирование конкретизирующих этот образ эмпирических категорий. Опыт группировки предметов в физическом пространстве (типа опыта раскладываемых карточек в экспериментах Л. Болтански и Л. Тевено) отражает, и формирует, способность к аналогичному воображаемому упорядочению. При этом создается впечатление, что элементарная группировка по семейному сходству в идеале исключает четкую ориентацию по прямым линиям евклидова пространства, благоприятную для наделения пространства иерархическим смыслом. Скорее, она опирается на чисто качественное разграничение групп, репрезентируемых как непересекающиеся области, свойственные топологическому пространству. Топологическое пространство представляется аналогом элементарного разбиения на группы, для идентичности которых второстепенен вопрос об их взаимном расположении, для какого расположения потребовалась бы система координат. Именно методом интуитивного сближения в сгустки осуществляется прототипическая классификация, где единственные ориентиры закреплены в виде соответствующих

⁶⁹ См., например, высказывание У. Уивела, цитированное в прим. 16. Ср. высказывание Э. Дюркгейма и М. Мосса: «Для нас классифицировать вещи означает распределять их по отличным друг от друга группам, разделенным ясно определенными демаркационными линиями... В основе нашей концепции класса лежит идея области (*circonscription*) с четко определенными контурами» (Durkheim E., Mauss M. De quelques formes primitives de classification: Contribution à l'étude des représentations collectives // *L'Année sociologique*. Vol. 6 (1901–1902). Paris, 1903. P. 2–3).

«хорошим примерам» категорий когнитивных точек. Словом, пространственным аналогом прототипической категории выступает, по-видимому, топологическое пространство⁷⁰.

Понятно, что для описания общества такого рода чисто качественного разграничения мало. Общество мыслится как система, в которой заложена некоторая логика функционирования, и обычно эта логика так или иначе предполагает идею иерархии. Иными словами, прототипическая классификация в топологическом пространстве обладает лишь ограниченной свободой, на определенном этапе в нее неизбежно вмешивается некоторая общая концепция, предполагающая смысл, систему координат. Мы видели трудности придания смысла эмпирическим агрегатам, с которыми сталкивались социальные историки. Их стремление руководствоваться некоторым образом, именно, образом синтетической социальной иерархии, было во многом спонтанной тягой к несущей в себе внутренний, простой и понятный смысл фигуре. И эта фигура помещалась уже в совсем другом пространстве. Поскольку классификация осуществляется всегда по нескольким категориям, операция формирования одной категории по необходимости оказывается абстракцией. Формирование одной категории зависит от формирования других — и системы в целом. Топологическое пространство может оставаться основой элементарной группировки только до тех пор, пока единственным отношением, значимым для классификации, является различие. Как только появляется проблема соотнесения групп между собой, возникает необходимость перейти к пространству координат, к пространству линий, т. е. к — пусть сокращенной — версии эвклидова пространства. Уже метафоры кубиков или камней, из которых исследователи складывали свои модели социальной иерархии, отсылают к рациональному трехмерному пространству. Но, пожалуй, они недостаточно точно формулируют логическую суть проблемы. Проблема, в пространственных терминах, состояла в том, что некоторое многомерное, но мыслимое по образцу трехмерного, т. е., так сказать, эвклидообразное пространство надо было перевести в пространство вертикали, которая выражала идею общества как структуры, основанной на неравенстве составляющих его индивидов.

⁷⁰ Saint-Martin F. *Semiotics of Visual Language*. Bloomington; Indianapolis: Indiana U. P., 1990. P. 185.

Отметим в этой связи и эффект ограничения числа вводимых в классификацию категорий⁷¹. Большинство схем общественного устройства ограничивается всего несколькими категориями, будь то сословия средневековья (которых обычно насчитывали три, два или четыре встречались, но редко⁷²) или классы современных обществ (обычно и субъекты, и социологи используют модели, в которых число градаций не превышает пяти—шести). Совершенно аналогичные эффекты мы сможем наблюдать при изучении характерной для историографии хронологической или тематической рубрикации истории. Подробнее мы остановимся на этих ограничениях в гл. 4, сейчас же, забегая вперед, отметим, что они, видимо, тоже связаны с воздействием пространственной паралогики. Существует так называемый порог абсолютного суждения, позволяющий идентифицировать в одном ментальном акте не более определенное количества единиц. При построении модели общества аналогом такой операции выступает, как мы пытались показать, ментальное пространство, в котором мы в состоянии выделить ограниченное количество элементов.

Такое включение в рассуждения исследователей разнообразных форм внутреннего опыта и предполагаемых ими стандартов логичности вряд ли могло дать что-то более последовательное, нежели социальная история 1960-х гг. И все же из этого обзора мы еще раз видим, какую огромную роль в воображении историков играла фигура линии, правильная фигура, которая как бы гарантировала правильность решения задачи, но вместе с тем служила и тем пунктом, в котором логичное евклидово пространство сходилась с логикой, заложенной в традиционном описании, с его линейностью, воспроизводящей идею списка. Именно эта линия поддерживала интуицию особого уровня бытия, который и пытались, насилуя терминологию, назвать обществом самим по себе, социальным в собственном смысле слова и т. д. Если бы не власть линии, интеллектуальный проект социальной истории 1960-х гг. был бы невозможен.

⁷¹ В принципе, возможна классификация в форме открытого списка, в который включаются все мыслимые категории, однако в нормальном случае список социальных категорий включает ограниченное число категорий.

⁷² Duby G. *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*. Paris: Gallimard, 1978. См. также работы Ж. Ле Гоффа и его коллег, указанные в прим. 42.

Показательно, что распад социальной истории 1960-х гг. начался с идеи о том, что для описания общества достаточно описать различные пересекающиеся в нем иерархии, не пытаясь найти их результирующую. С того момента, когда сворачивание многомерного пространства в линию перестало быть логическим императивом, предмет спора оказался утрачен. Но — характерная черта — модель многомерных пересекающихся иерархий не позволила сохраниться проекту социальной истории. Она оказалась кратковременным переходным моментом на пути от истории социальной к истории социокультурной. Это не просто еще раз свидетельствует о том, что идея синтетической социальной иерархии содержит ключ к логическим проблемам социальной истории 1960-х гг. Это заставляет предположить наличие некоторых дополнительных паралогических ресурсов, связывающих идею социального с образом линии.

Образ синтетической социальной иерархии был частью целой системы научного воображения, где смысл социального обосновывался, с одной стороны, с помощью идеи синтетической иерархии, а с другой — с помощью стратифицированного образа истории. Взаимосвязь между той системой научного воображения, в которой казались логичными эти задачи группировки, и историей понятия социального мы проследим в следующих главах.

Глава 3

Рождение общества из логики пространства

Написать историю социального выходит далеко за рамки нашего исследования. Мы сосредоточим внимание лишь на отдельных эпизодах этой истории. Их анализ поможет нам понять генезис той интеллектуальной задачи, которую ставили перед собой социальные историки 1960-х гг. Связи между этими эпизодами мы наметим лишь пунктиром. Иными словами, мы ограничимся частичным «инвентарем мест» профессиональной памяти, когнитивных точек, вокруг которых группировались логические фигуры и смысловые переходы, унаследованные той интеллектуальной традицией, на которой основывалась социальная история 1960-х гг. Особое внимание мы обратим на взаимодействие пространственных паралогик, подлежащих понятию социального, с другими факторами его формирования.

Как термин, так и понятие социального достаточно недавнего происхождения. В античной и средневековой политической мысли понятие социального отсутствовало, равно как и другие основополагающие понятия современного социального словаря. Это прежде всего относится к понятию государства, история которого неразрывно связана с историей социального, поскольку оба понятия происходят из одного и того же источника. Мир античности и средневековья был тематизирован во многом иначе, чем наш современный мир. В античности центральным понятием для описания человеческих сообществ было понятие полиса (*polis* или *civitas*), выражавшее идею общины граждан, организованной с помощью системы правил и учреждений. Этому понятию нет прямого аналога в современном политическом словаре. Полис — это и не общество, и не государство, но в нем есть элементы и того, и другого. Скорее, он мыслится как социально-политическое единство, т. е. относится к уровню, промежуточному между современными понятиями политического и социального, причем с сильным

добавлением правового, этического и религиозного элементов. В средневековой Европе для отсылки к организованному коллективу преобладало понятие *communitas*, также представлявшее собой синтез элементов, относимых нами сегодня к различным уровням общественного бытия. К тому же образованные с использованием этого слова формулы (такие, как *communitas ecclesiae*, *communitas regni* или *communitas christiana*) функционировали отчасти как собственные имена соответствующих общностей, статус которых лишь довольно слабо квалифицировался именем.

Наряду с понятием полиса и производного от него понятия политики (*politeia*) в античности существовало и понятие койнонии (*koinonia*), к которому иногда возводят генеалогию социального¹. У Аристотеля оно выражало в самом общем виде идею склонности человека к общению и совместной жизни с себе подобными и могло означать любые формы человеческих сообществ. В этом смысле оно служило скорее дополняющим и конкретизирующим, нежели противоположным понятием по отношению к понятию полиса.

Первым шагом на пути становления современного понятия общества стало выделение из семантического комплекса политики понятия государства. Начало этому было положено в XV в. вместе с попытками эмансипации политики от религии и морали. Наряду с этим, понятие государства развивалось благодаря постепенному вычленению публичного права из того смешения публично- и частноправовых понятий, которое представляло собой право средневековое. Именно на скрещении этих двух логик возникла в XVI—XVII вв. проблема государственного интереса, которая стала центральной темой новых теорий абсолютной монархии, разрабатывавших идеи общественного блага, публичного права, суверенитета — важнейшие составные элементы нашего понятия государства. Теоретики абсолютизма стремились обосновывать концентрацию власти в руках монарха, но для этого они прежде всего должны были осознать, что именно подлежит концентрации, иными словами, представить государственную власть как некоторую особую сущность, как сферу бытия, отличную от других, не подлежащих по-

¹ Riedel M. Gesellschaft, Gemeinschaft // *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Stuttgart: E. Klett, J. G. Cotta, 1972—1993. Bd 2. S. 801—805.

добной концентрации сфер². Иными словами, чтобы быть сосредоточенной в руках монарха, власть должна была быть отделена от общества. Монарх же мог претендовать на абсолютную власть уже не столько в качестве ее патриархального носителя, каковыми являлись все традиционные носители власти, сколько в качестве ответственного за общественное благо представителя некоторой высшей сущности, «общей вещи» — государства. Именно слово «республика» (*res publica*, *république*) или даже его буквальные переводы (*chose publique*, *commonwealth*) было в XVI в. обычным термином для обозначения государства³ (слово *état* применительно к государству начинает широко употребляться лишь в XVII в.)⁴. Отделение власти от общества сопровождалось, следовательно, ее отделением и от личности монарха, поскольку без этого невозможно было помыслить ее как некоторую абстрактную сущность.

Не говоря уже о трудностях политического характера, это было достаточно сложной ментальной операцией. Как нередко бывает, процесс осознания чего-то как некоторой самостоятельной абстрактной сущности опирался на пространственную паралогику. Отделенное от имен и образов конкретных носителей власти, лишь в слабой мере имеющее возможность найти адекватную лингвистическую опору, понятие государства образовывалось вокруг когнитивной точки — возможно, оставшейся от конкретного образа государя, — и именно точка служила неотрази-

² Такое разграничение было тем более важно, что над абсолютизмом постоянно нависала угроза обвинения в тирании, и все абсолютистские теории четко разграничивали восточную деспотию, где государю принадлежит решительно все, вплоть до жизни и имущества подданных, и абсолютную монархию, в которой подданные остаются свободными людьми. Это означало, в частности, что сфера политики не совпадала с жизнью общества в целом.

³ Характерно, что даже теория нераздельности суверенитета была впервые обоснована в сочинении под названием «Шесть книг о республике» (Bodin J. *Les six livres de la république*. Lyon, 1577).

⁴ Skinner Q. *The Foundations of Modern Political Thought*. Vol. 2. Cambridge: Cambridge U. P., 1978. P. 349–358; Idem. *The State // The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe* / Ed. by A. Pagden. Cambridge U. P., 1987. P. 90–131. К. Скиннер, в частности, показывает, как в текстах XVI в., в том числе и у Жана Бодена, слово *état* начинало постепенно употребляться в его более или менее современном значении наряду с более традиционным значением «положения» монарха и взаимозаменяемо с термином *république* (например, в формуле *états et républiques* у Мишеля Лопитала).

мым паралогическим доводом в пользу теории нераздельности суверенитета: «Суверенитет не более делим, чем точка в геометрии»¹.

Конечно, на практике концентрация публичной власти в руках абсолютного монарха оставалась достаточно ограниченной, диффузия власти в обществе сохранялась, и даже идеологически новое государство значительную часть своего престижа черпало из традиционных источников, связанных с концепцией патриархальной власти. Это не могло не сказываться и на теоретических построениях идеологов абсолютизма, которые стремились найти компромисс между концепцией нераздельности суверенитета и традиционными представлениями об обществе, близкими скорее к модели политики. Но тем не менее идея государства как некоторой независимой сущности, идея «автономии политического», была в основном выработана на протяжении XVII в.

Вычленение идеи государства из семантического комплекса политики далеко не сразу, однако, привело к консолидации оставшихся элементов этого комплекса в понятии общества. То, что мы называем обществом, в XVII в. по традиции воспринималось как нечто, состоящее из сословий и корпораций, т. е. юридически оформленных общностей, входивших в структуру политики — королевства (*regnum, gouaite*). Отчуждение своих «прав и свобод» в пользу монарха было для этих общностей логически затруднительным делом: ведь если отчуждение было безвозвратным, корпорации лишались права на существование, а если нет, то ставилась под вопрос теория нераздельности суверенитета. Иными словами, в логическом пределе новая концепция государства требовала такой дополнительной концепции, которая опиралась бы на образ атомарного множества подданных. И хотя в крайних этатистских теориях (например, у Томаса Гоббса) получившему неограниченную власть государству-Левиафану противостояла именно атомарная масса подданных, в повседневных политических представлениях эпохи имел место компромисс между двумя моделями, причем компромисс, порой гораздо более близкий к модели общества сословий и корпораций, того общества, которое прекрасно описывалось с помощью традиционной социальной лексики — титулов, почетных эпитетов, названий должностей, профессий и т. д. Описание общества корпораций было как бы продолжением описания государства, и различие описываемых сущностей не

¹ Le Bret C. *De la souveraineté du roi*. Paris, 1632. P. 71.

осознавалось до такой степени, что на протяжении всего описания сохранялся один и тот же принцип — соотношение властных полномочий было главной темой описания как общества, так и государства⁶. Неудивительно, что в словаре социальных категорий этого периода мы не найдем сколько-нибудь значительных новаций. Не ощущали современники и особой потребности найти слово для обозначения общества. Обществом для них оставалось королевство.

Решающий этап формирования идеи общества приходится уже на XVIII в. Именно тогда эта идея получила и новое лингвистическое выражение в слове *société*⁷. Слово это, известное во французском языке с XII в., до середины XVIII в. оставалось сравнительно мало употребляемым и значило нечто совсем иное, чем сейчас. Его два основных значения сводились соответственно либо к понятию в самом общем смысле общению между людьми⁸, либо, напротив, к совершенно конкретным деловым связям — например, купеческим союзам⁹. Соответственно и слово «общественный» (*social*) значило прежде всего «общительный»,

⁶ Как это показала Б. Бадеван-Годме на примере трактатов Шарля Луазо (Basdevant-Gaudemet B. *Aux origines de l'état moderne: Charles Loyseau (1564–1627): Théorie de la puissance publique*. Paris: Economica, 1977. P. 250–255).

⁷ Историю слов *société* и *social* см.: Brunot F. *Histoire de la langue française des origines à nos jours*. Paris, 1966. Vol. 6. Pt. 1. Fasc. 1; Godefroy F. *Dictionnaire de l'ancienne langue française*. Paris, 1892; Littré E. *Dictionnaire de la langue française*. Paris, 1882; *Grand Larousse de la langue française*. Paris, 1977; *Grand Robert de la langue française*. Paris, 1985.

⁸ В смысле человека как «общественного животного» (*zoon koinonikon*) — идеи, вполне выразимой словом «койнония». Естественно, что это значение непосредственно восходило к Аристотелю. Слово «общество» в этом смысле значило скорее «общение» и могло характеризовать не только общение между людьми, но и общение человека с Богом (*société de l'homme à Dieu*) — например, у Мишеля Монтеня (Villey P. *Lexique de la langue des Essais // Montaigne M. de. Les Essais*. Vol. 5. Bordeaux, 1920–1933. P. 625).

⁹ Эти два значения дают основные словари XVII в. — Антуана Фюретьера (1672) и Французской академии (1694): «общение и сношения (*fréquentation, commerce*), которые люди естественно склонны поддерживать между собой; компания, союз двух или более лиц, соединенных общим интересом» (*Le Dictionnaire de l'Académie Française*. Paris, 1694; Furetière A. *Le Dictionnaire universel*. Paris, 1978). Аналогично значение этого слова у Монтеня (Villey P. *Lexique de la langue des Essais...* P. 625). В таких же двух смыслах употреблялось слово *Gesellschaft* в немецком и слово *Society* — в английском языке того времени (Williams R. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Glasgow: Fontana, 1976. P. 243–247).

и характерно, что только в XVIII в. оно вполне отделилось от слова *sociable* (т. е. «социабельный», «любезный», «общительный»)¹⁰. Иногда оно, в соответствии со вторым значением слова «общество», употреблялось как существительное в смысле делового партнера, «компаньона» (*sociable, compagnon, associé*).

Однако идея общечеловеческой природы имела тенденцию истолковываться в политическом смысле. Она оказывалась частью того этического идеала воспитанного, светского, благородного человека, который получил широкое распространение в XVII в. и служил выражением — безусловно, политического — проекта «цивилизации нравов», являвшегося важнейшим измерением процесса становления абсолютизма¹¹. Неудивительно, что слово *social* (или *sociable*) легко приобретало оттенок, связывавший его с идеей гражданственности — в том, конечно, ее смысле, в котором она была возможна в условиях абсолютизма, т. е. в смысле политической лояльности или «гражданственности подданных». В этом смысле, по-видимому, иногда употреблялось выражение *vie sociale* или даже *vie civile et sociale*¹², и отсюда становится понятным происхождение выражения «гражданское общество» (*société civile*), которое словари XVII в. непременно приводят как пример употребления слова «общество»¹³. Но мы поспешили бы, приписав подданным Короля-Солнца современную концепцию гражданского общества¹⁴. Под этим

¹⁰ Так, в «Энциклопедии» эти два слова рассматриваются уже как различные, причем слово *social* характеризуется как «недавно появившееся в языке», что не совсем точно, поскольку оно изредка встречалось и раньше (иногда, правда, в ином правописании — *sociel*, не говоря уже о правописании *sociable*), хотя, конечно, вошло в широкое употребление именно в XVIII в. (*Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*. Paris, 1765. Vol. 15. Article «Social»). Напротив, словари Фюретьера и Французской академии говорят только о слове *sociable*, но приписывают ему, в частности, значение приспособленности для жизни в обществе — *animal sociable*.

¹¹ Elias N. *The Court Society*. Oxford: B. Blackwell, 1983. Любопытно, что уже Фюретьер рассматривал общество как свойственное тому, что вскоре стали называть цивилизацией: «Дикари почти не знают общества (*les sauvages vivent avec peu de société*)» (Furetière A. *Le Dictionnaire universel*).

¹² Например, у Шаррона (Littre E. *Dictionnaire...*) или у Бейля (Brunot F. *Histoire de la langue française...* P. 101).

¹³ Furetière A. *Le Dictionnaire universel; Le Dictionnaire de l'Académie Française*.

¹⁴ Анализ концепции гражданского общества у политических теоретиков XVII—XVIII вв. как «политически конституированного» общества, далеко еще не ставшего противопоставленным государству, см.: Riedel M. *Gesellschaft, bürgerliche // Ge-*

именем для них еще скрывалось состоящее из сословий и корпораций общество привилегий¹⁵.

Только в середине XVIII в. слова «общество» и «общественный» получают широкое распространение. Принято считать, что с появлением «*Общественного договора*» Руссо общество становится едва ли не центральным понятием политической теории, и отчасти это верно. Однако в трактате Руссо слово «общество» встречается гораздо реже, чем «государство» (*etat*) и даже «правительство» (или, точнее, «управление» — *gouvernement*). Правда, слово «общественный», действительно, широко используется Руссо, но оно неизменно выступает синонимом слова «гражданский» (*civil*) и появляется в сочетаниях типа «гражданский дух» (*esprit social* или даже *poead social*)¹⁶. Общество, следователь-

schichtliche Grundbegriffe. Bd 2 / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. S. 732–748. По справедливому замечанию Луи Дюмона, «для Гоббса социальное ограничивается политическим» (Dumont L. *Essai sur l'individualisme: Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne*. Paris: Seuil, 1983. P. 112).

¹⁵ Например, Жан Дома говорит об обществе как состоящем из разных «сословий и профессий (*conditions et professions*)» (Domas J. *Les loix civiles dans leur ordre naturel*. Vol. 2. Paris, 1767. P. 64). Следует учесть, что слово «*condition*», буквально означающее «положение» или «состояние», в XVII в. употреблялось в смысле юридического и отчасти «престижного» статуса, иными словами, было примерным эквивалентом сословия, но могло отсылать к более дробной, нежели тройственная, стратификации. Связь идеи гражданского общества с идеей «прав и привилегий» с очевидностью выступает, например, из определения гражданского общества Ж.-Б. Боссюэ: «Человеческое общество может быть рассмотрено с двух точек зрения, либо как охватывающее весь род человеческий..., либо как народы, состоящие каждый из множества отдельных семей, каждая из которых имеет свои права... Общество, рассмотренное в этом последнем смысле, называется гражданским обществом (курсив наш. — Н. К.)» (Bossuet J.-B. *Politique tirée de propres paroles de l'Écriture Sainte*. Paris, 1709). То, что Боссюэ говорит о гражданском обществе как о составленном из отдельных семей (а не непосредственно из сословий и корпораций), т. е. приближается к атомарной модели общества, выдает в нем одного из наиболее «современных» мыслителей конца XVII в., но поскольку каждой из этих семей он приписывает свои особые права (а отнюдь не общие права граждан), которые реально зависели именно от сословной и корпоративной принадлежности, очевидно, что его образ общества гораздо ближе к обществу привилегий. Характерно и понимание гражданского общества в XVIII в. Фергюсоном — его «*История гражданского общества*» в известном смысле является историей перехода к цивилизации, так что гражданское общество есть синоним цивилизованного общества (Ferguson A. *Essay on the History of Civil Society*. Edinburgh, 1767).

¹⁶ Rousseau J.-J. *Du contrat social*. Paris: Aubier, 1943. P. 184, 362. Аналогичный смысл приписывается слову *social* в «*Энциклопедии*»: оно служит «для обозначения

но, по-прежнему понимается здесь прежде всего как гражданское общество, т. е. как коллектив граждан, рассмотренный с точки зрения его участия в политике. Характерно, что иногда синонимом слова «общество» выступает слово «республика» (*république*), которое Руссо понимает как управляемое в соответствии с законами, причем независимо от формы «администрации», государство¹⁷. Аналогичным образом в «Энциклопедии» ставится знак равенства между гражданским и политическим обществом (*société civile et politique*)¹⁸. Конечно, Руссо мыслит уже не в терминах сословий и корпораций, но в терминах сообщества граждан (*corps social*)¹⁹. Более того, это сообщество для него до такой степени не связано с корпоративной структурой и очевидно ассоциируется с образом множества атомарных индивидов, что он чувствует себя обязанным оговориться, что общество как раз и не сводится к такому множеству: «Всегда будет большая разница между тем, чтобы подчинить множество, и тем, чтобы управлять обществом»²⁰. И хотя в «Общественном договоре» позднее усматривали идеологическую предпосылку якобинского террора и поспраивания государством гражданских свобод, сам Руссо в какой-то мере понимал опасные импликации исчезновения промежуточных инстанций между властью и коллективом граждан и пытался отвести угрозу тирании с помощью идеи законосообразного правления (той же самой идеи, к которой до него постоянно прибегали теоретики абсолютизма). Общественный договор для Руссо — это именно тот «акт, в силу которого народ является народом»²¹, а не множеством.

Следовательно, гражданское общество Руссо — нечто предельно далекое от «общества в собственном смысле», как его понимала соци-

качества, которые делают человека полезным для общества и способным к общению с людьми. Например: общественные доблести (*vertus sociales*)» (*Encyclopédie... Vol. 15. Article «Social»*).

¹⁷ Rousseau J.-J. *Du contrat social*. P. 93, 171. В другом месте Руссо фактически определяет предмет своего интереса как «политическое общество (*société politique*)» (*Ibid.* P. 60).

¹⁸ *Encyclopédie... Vol. 15. Article «Société»*.

¹⁹ Rousseau J.-J. *Du contrat social*. P. 173. Идея равенства граждан, исключаяющая представление о сословно-корпоративной структуре, прямо подчеркивается и в «Энциклопедии» (*Encyclopédie... Vol. 15. Article «Société»*).

²⁰ Rousseau J.-J. *Du contrat social*. P. 85. Подчеркнем, что «множество» в языке того времени было синонимом «черни».

²¹ *Ibid.* P. 86.

альная история 1960-х гг., т. е. от специфической реальности социальной стратификации. И тем не менее к концу XVIII в. ряд существенных элементов современной концепции социального был налицо. Прежде всего, единство семантического комплекса политики уже не было безусловным. Несмотря на известную синонимичность понятий гражданского общества и государства, у Руссо уже присутствует интуиция двух не вполне совпадающих сущностей. Отчетливо представляющийся разуму образ множества вместе с именем общества стали теми интеллектуальными инструментами, которые позволили расщепить королевство на общество и государство. При этом особое значение имел успех не столько существительного «общество», сколько прилагательного «социальное». Именно он прежде всего свидетельствует о распространившемся ощущении того, что у общества есть особый онтологический статус, некоторая особая сущность. Интуиция особых уровней бытия в значительной мере связана с именами прилагательными в рамках той более или менее упорядоченной системы абстрактных категорий, которая на грани XVIII–XIX вв. быстро надстраивалась над традиционным социальным словарем²².

Окончательный распад политики на общество и государство произошел в «Философии права» Гегеля. Но в паре *Staat — Gesellschaft* общество долго оставалось тем же гражданским обществом (*bürgerliche Gesellschaft*), что и в паре *Etat — Société*. И главной проблемой Гегеля была та, которую видел еще Руссо, а именно, проблема сохранения коллективом атомарных индивидов гражданских свобод перед лицом государства, проблема, оставшаяся нерешенной после рождения Левиафана. Задача состояла в том, чтобы, сохраняя идею государства, создать такую модель общества, в которой гражданам, рассматриваемым как равные друг другу и никак не связанные между собой индивиды, были бы гарантированы естественные права, свободы и, шире, человеческое достоинство. Иначе говоря, следовало обосновать свободу индивида и гуманистический идеал в рамках оставшегося после распада политики атомарного множества. Демарш Гегеля для достижения этой цели был, возможно, более последовательным, но в основе тем же, что и демарш

²² Именно потому, что нас в данном случае прежде всего интересует понятие общества как явления определенного уровня бытия, мы будем обозначать этот семантический комплекс как понятие социального.

Руссо: речь шла гораздо больше о правовой охране индивидов государством, нежели о структурировании социальной сферы. Но особо акцентировал Гегель различие государства и общества: именно наличие у гражданского общества самостоятельного уровня бытия позволяло ему говорить о формировании вне государства «всеобщей воли» (*allgemeine Wille*), которая придавала обществу единство²³, но вместе с тем служила гарантией от деспотизма, поскольку только в рамках общества как самостоятельной сущности и был возможен общественный договор, охранявший и свободу индивида, и общие интересы. Но все же, пусть объединенное общей волей, общество для Гегеля состояло из атомарных индивидов. И лишь постепенно в сочинениях немецких юристов первой половины XIX в. (таких, как Лоренц фон Штейн и Рудольф Гнейст) гражданское общество стало восприниматься как нечто структурированное «в соответствии с обладанием и приобретением внешних и духовных благ»²⁴.

Тот факт, что и после распада политики на общество и государство общество еще долго рассматривалось преимущественно в политическом аспекте, характерным образом подчеркивается судьбой прилагательного «социальное» в таком ключевом для фиксации его значения словосочетании, как социальная наука (*science sociale*). Это выражение впервые зафиксировано в первом издании знаменитого памфлета аббата Сийеса «Что такое третье сословие» (1789), и характерно, что в последующих изданиях оно заменено на «науку о социальном порядке» (*science de l'ordre social*) — выражение, несомненно, акцентировавшее прежде всего политические аспекты общественного устройства. Конечно же, это свидетельствует о неустойчивости термина «социальная наука». Все же подобные формулы быстро входят в обиход в годы Французской революции, причем *science sociale* выступает как взаимозаменяемое со *science morale et politique* и даже с *art politique* выражение²⁵. Очевидно, что

²³ О близости Руссо и Гегеля в этом пункте см.: Wokler R. The Enlightenment and the French Revolutionary Birth Pangs of Modernity // *The Rise of the Social Sciences and the Foundation of Modernity* / Ed. by J. Hailbron e.a. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1998. P. 57.

²⁴ Цит. по: Tönnis F. The Concept of Gemeinschaft // *On Sociology*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1971. P. 63.

²⁵ «Термин *социальная наука* был введен как приблизительный эквивалент политики» (Wokler R. The Enlightenment... P. 44). См. также: Head B. The Origins of 'La Science Sociale' in France, 1770–1800 // *Australian Journal of French Studies*. 1982.

общество, отделившееся от государства, рассматривалось тогда прежде всего с точки зрения его отношений с государством, а не его внутренней организации. В эпоху революции проблема «толщи социального» еще не стала первоочередной²⁶.

Однако такое понимание социального в политических теориях конца XVIII — начала XIX в. не было единственной составляющей этого формирующегося из разных источников весьма сложного понятия. Параллельно концепции гражданского общества развивался его второй семантический полюс, а именно, комплекс представлений, связанных с идеей класса. Известно, что распространение теории классов в первой половине XIX в. было следствием осознания в годы Французской революции того факта, что после установления гражданского равенства в обществе сохранились другие формы неравенства, всегда чреватые социальными потрясениями. Современникам бросалось в глаза прежде всего неравенство экономическое (даже если сейчас историки революции подчеркивают преимущественную роль культурных границ)²⁷, и к такому пониманию их склоняли, в частности, политэкономические теории, еще в XVIII в. в основных чертах выработавшие модель классового общества. То обстоятельство, что политическая экономия была тогда едва ли не единственной более или менее сложившейся наукой об обществе, неизбежно ставило теории общества в зависимость от ее понятий и свойственного ей угла зрения²⁸. Такая ситуация сохранялась и на протяжении значительной части XIX в., так что в течение приблизительно столетия теории организации общества, ранее разрабатывавшиеся прежде всего

Vol. 19. P. 115–132; Baker K. The Early History of the Term Social Science // *Annals of Science*. 1964. Vol. 20. P. 211–226.

²⁶ Лишь после 1795 г. в кругах так называемых «идеологов» термин социальная наука стал постепенно выражать нечто отличное от политического искусства, а именно, новую науку о природе человека, интересующуюся прежде всего ее психологическими и даже физиологическими основаниями. Традицию «идеологов» продолжил позднее Сен-Симон (Wokler R. Saint-Simon and the Passage from Political to Social Science // *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe* / Ed. by A. Pagden. Cambridge: Cambridge U. P., 1987. P. 325–338).

²⁷ Furet F. *Penser la Révolution française*. Paris: Gallimard, 1978.

²⁸ Дюмон показал, что атомарная номиналистическая модель общества коренится в значительной мере в том, что именно так рассматривала индивидов политическая экономия (Dumont L. *Homo aequalis: Genèse et épanouissement de l'idéologie économique*. Paris: Gallimard, 1977; Idem. *Essai sur l'individualisme*.).

юристами и, естественно, отражавшие свойственный им стиль мысли и их профессиональную культуру, оказались под влиянием интеллектуальных моделей политической экономии. Именно в этих условиях в первой половине XIX в. произошло становление второго семантического полюса понятия социального, иными словами, понятия общества как организованного в социальные группы множества индивидов, группы, которые в этот период чаще всего называются классами (причем это слово понимается прежде всего в смысле выделенной по экономическим критериям группы). Слово «класс», несомненно, выступает центральным элементом этого семантического полюса идеи общества.

История языка свидетельствует о том, что к 30–40-м гг. XIX в. «классовый» полюс понятия социального вполне сформировался. Не говоря уже о выражении «социальные классы», общепринятыми в это время становятся формулы типа «социальное положение», «социальные слои», «социальные отношения», «социальное неравенство», «социальная иерархия» и т. д.²⁹ Вместе с тем, за счет преимущественно экономической точки зрения на организацию общества только что начавшее высвобождаться из-под главенства политики понятие социального попадало в новую зависимость, в этот раз — от экономики. Точнее сказать, два полюса социального ориентировались соответственно на политическую теорию (понятие гражданского общества) и на политическую экономию (понятие общества классов), т. е. были концептуально зависимы соответственно от понятий политической теории и политической экономии. Конечно, изначальная полицентричность³⁰ делала понятие общества крайне неопределенным, но вместе с тем облегчала его формирование, придавала ему устойчивость и глубину, создавая особый эффект реальности, только усиливавшийся по мере дальнейшего усложнения этого понятия.

Подчеркнем, что между семантическими полюсами понятия социального существовали некоторые взаимосвязи, объяснявшиеся отчасти общностью происхождения этих полюсов из распадающегося комплекса политики, отчасти же характерным для эпохи их формирования стилем мысли. Тем главным, что связывало оба полюса, был образ множества.

²⁹ *Le Grand Robert*. Article «Social».

³⁰ Уже в это время существовал и третий полюс понятия социального, а именно, представление о социальном как противоположности природному, но его развитие мы подробнее рассмотрим ниже (см. Заключение).

Мы уже отмечали роль интуиции множества в формировании концепции гражданского общества. Неразрывная связь между идеями множества и общества характерным образом подчеркивается историей такого важнейшего аспекта становления концепции гражданского общества, как история всеобщего избирательного права.

Введенное с небольшими ограничениями в 1792 г. всеобщее избирательное право долго вызывало критику, поскольку противоречило традиционному для европейской политической мысли убеждению в неспособности народа к принятию разумных и ответственных решений. Иными словами, между природой гражданского коллектива как множества и его способностью формулировать рациональную волю ощущалось противоречие, и один из первых радикальных сторонников всеобщего избирательного права, Кондорсе, пытался преодолеть это противоречие с помощью пробабилистских вычислений, рассматривая проблему рациональности воли множества как вероятностную проблему³¹. Невозможно более ясно связать идею общества с математической концепцией множества. С другой стороны, политическая экономия уже в XVIII в. разработала представление об автономном индивиде, поведение которого определяется рациональным учетом собственных интересов. Это представление было основой классической экономической теории, так что первая из социальных наук рассматривала общество именно как набор атомарных индивидов. Понятие социального, следовательно, изначально несло в себе образ множества, и в известном смысле общество было именем множества. Не случайны поэтому разнообразные и прочные семантические связи социального с идеями анонимной массы³².

Но именно обнаружение связи социального с образом множества позволяет по-новому взглянуть на предысторию этого понятия и увидеть

³¹ Rosanvallon P. *Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universel en France*. Paris: Gallimard, 1992. P. 175.

³² Парижская коммуна в своих листовках рекомендовала себя как «социальную и анонимную революцию». Позднее в социальной истории 1950–1960-х гг. эта тема всплывает в определении социальной истории как анонимной Пьером Губером (Goubert P. *Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730*. Vol. 1. Paris, 1960. P. 5). Понимание социальной истории как истории неизвестных, позволяющей услышать голос тех, кого традиционная историография лишала права быть услышанными, было важнейшей составляющей пафоса демократически и социалистически ориентированных историков 1960–1970-х гг.

его зародыш в применении к рассуждениям об обществе определенного типа пространственных паралогик. И действительно, мы увидим, что важные элементы понятия социального сформировались еще до того, как это слово получило широкое распространение в середине XVIII в. Первым когнитивным носителем идеи общества выступало не слово, но образ подлежащего эмпирическому упорядочению множества, и если слово привело к консолидации понятия, родилось это понятие не в слове. Общество рождается из логики пространства, но для того, чтобы стать носителем идеи общества, само пространство должно было быть определенным образом помыслено.

Понятие социального развивается из правовых и административных теорий XVII в. и в особенности из интеллектуального опыта того, что тогда называли политической арифметикой, а с XVIII в. стали называть статистикой³³. Правда, в статистике того времени преобладали процедуры чисто качественного описания, но тем не менее она стремилась использовать и количественные методы, воздействие которых на мышление современников не приходится недооценивать. Опыт статистики вел к математизации социальных теорий, на которые распространялся стиль мысли, свойственный эпохе рождения современной науки, глубинное убеждение которой состояло в том, что мир написан на языке математических формул³⁴. Иными словами, в XVII в. имела место такая же переориентация мысли на опыт невербального характера, на опыт эмпирического упорядочения, как и та, которая дала рождение социальной истории 1960-х гг. Пространственный опыт, который в XVII в. привел к рождению социального, настолько глубоко отпечатался в этом понятии, что может, по-видимому, рассматриваться как данный в нем, так что при благо-

³³ Desrosières A. *La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte, 1993.

³⁴ В частности, между построениями юристов и математическими теориями XVII в. существовали прочные, причем двусторонние связи. Так, на широко обсуждавшийся юристами (и богословами) XVII в. вопрос о сопоставимости ожиданий участников социальных взаимодействий многие, в том числе Паскаль и Лейбниц, пытались найти ответ с помощью математического конструирования пространства сопоставимости различных величин, так что проблематика математики, в данном случае приведшая к открытию теории случайностей, как бы предфигурировалась проблематикой юриспруденции. Тем более социальные теории испытывали влияние математики. См.: Coumet E. *La théorie du hasard est-elle née par hasard? // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1970. Vol. 25. № 3. P. 574–598; Desrosières A. *La politique des grands nombres...* P. 45–64.

приятных условиях он легко актуализируется, приводя к воспроизведению одних и тех же фигур мысли. Поэтому ничего удивительного нет в том, что между теориями общества юристов XVII в. и социальных историков 1960-х гг. мы найдем немало структурных аналогий³⁵.

«Рождение социального» было связано в XVII в. с формированием той же логической структуры проблемы, с какой имели дело социальные историки 1960-х гг., именно в связи с необходимостью описания общества в условиях, когда обнаружилась множественность факторов социальной иерархии и несовпадение разных иерархий между собой. Эти проблемы естественно возникли как результат стремительных социальных трансформаций раннего нового времени. Здесь нет необходимости подробно останавливаться на этих трансформациях³⁶. Подчеркнем только, что в эпоху развития раннего капитализма и становления централизованного государства с его административным аппаратом и фискальной системой для социального положения индивидов повышенное значение приобрели факторы, связанные с новыми формами богатства и участия в политической власти. В особенности формирование богатого и влиятельного чиновничества — «дворянства мантии» — вызывало у современников чувство нарушения традиционного социального порядка, и даже привычная модель трех сословий, на протяжении столетий служившая непререкаемым кадром размышлений об обществе, была поставлена под сомнение, поскольку о чиновниках иногда говорили как о четвертом сословии. Колоссальную роль в общественном мнении играла и проблема денег как нового фактора социального положения. В эпоху, когда богатство отождествляли с золотом, символом богатства выступали финансисты и банкиры, многие из которых принадлежали к третьему сословию (или недавно вышли из него), так что между иерархией богатств и иерархией сословий образовывалось очевидное несовпадение. Чрезвычайно остро стоял и вопрос о критериях дворянства, поскольку тенденция к

³⁵ Конечно, отчасти эти аналогии могут быть объяснены воздействием на историков использовавшихся ими источников, что может быть рассмотрено как проявление сосредоточенной в понятиях власти памяти, которая передается по самым разнообразным каналам. Вместе с тем актуализация отложившихся в понятиях форм воображения зависит и от ее контекста, иными словами, определяется трудно объяснимыми флуктуациями форм исторического воображения.

³⁶ Копосов Н. Е. *Франция // История Европы*. Т. 3. М.: Наука, 1993. С. 50–57, 174–187.

замыканию родовитого дворянства перед лицом массового аноблирования чиновников и буржуа постоянно ставила, в том числе и в весьма конкретных формах судебной практики, вопрос о том, как отличить дворянина от простолюдина. Все это с неизбежностью вызывало острую символическую борьбу, а бурные обсуждения индивидуальных случаев, как обычно и бывает, очень быстро переходили в споры о принципах и критериях суждения. Иными словами, перед общественным сознанием встали вопросы о структуре общества, о границах между отдельными группами и о критериях, позволявших определять индивидуальные «ранги». Характерно, что все эти вопросы возникали в связи с задачей эмпирического упорядочения множества, ибо королевской власти приходилось на практике «упорядочивать» массу подданных, социальный статус которых вдруг начал вызывать сомнения.

Во второй половине XVI и в XVII в. во Франции было опубликовано значительное количество трактатов о дворянстве³⁷, самый факт появления которых свидетельствует, безусловно, о злободневности проблемы социальных границ. Главное место среди них занимают вполне практически ориентированные пособия по праву, которые знаменитые юрисконсульты составляли в помощь коллегам. Развитие политической мысли во Франции XVI—XVII вв. вообще было прежде всего делом юристов, из-под их пера вышли и наиболее значительные описания общества (в соответствии с моделью политики рассматриваемого с точки зрения организации его государством). Авторы трактатов стремились не только поведать читателям, в чем сущность дворянства (хотя многие из них не удержались от такого соблазна и почти все хотя бы кратко касались данного вопроса), но и указать правила для решения конкретных

³⁷ Укажем наиболее значительные из них: Tiraquellus A. (Tiraqueau). *Commentarii de nobilitate et jure primigeniorum // Opera omnia*. Vol. 1. Francofurti, 1574; L'Alouette F. *Traité des nobles et des vertus dont ils sont formés*. Paris, 1577; Bacquet J. *Traité des droits de francs-fiefs, de nouveaux acquets, d'annoblissements et d'amortissements // Les oeuvres*. Vol. 2. Paris, 1664; Thiériat F. *De la noblesse de race, de la noblesse civile et de l'immunité des ignobles trois parties ou traités*. Paris, 1605; Loyseau C. *Traité des offices // Les oeuvres*. Paris, 1640; Idem. *Traité des ordres et simples dignités // Ibid.*; de La Roque G.-A. *Traité de la noblesse*. Paris, 1710; Belleguise A. de. *Traité de la noblesse et de son origine suivant les préjugés rendus par les commissaires députés pour la vérification des titres de noblesse*. Paris, 1700; Ménéstrier C.-F. *Les diverses espèces de noblesse et les manières d'en dresser les preuves*. Paris, 1684. Их анализ см.: Копосов Н. Е. *Высшая бюрократия...* С. 70—87.

казусов, будь то тяжбы о наследстве или об уплате налогов. Классификация индивидов с очевидностью выступает как разделенный интеллектуальный опыт авторов и читателей трактатов о дворянстве. Логика трактатов была обычно такова: сначала набрасывалась схема основных категорий, по которым происходила классификация³⁸, а затем начиналось обсуждение вопроса о принципах классификационных суждений. Естественно, что, пока излагалась общая схема, социальные термины понимались как сущности³⁹. Однако с их определением возникали трудности, и при попытках дать таковые авторы либо ограничивались общими формулами⁴⁰, либо предвосхищали некоторые элементы правил идентификации, о которых они говорили далее⁴¹. Уже в этом заметна харак-

³⁸ Таковыми категориями обычно оказывались родовитые дворяне, аноблированные и простолюдины или дворяне шпаги, дворяне мантии и простолюдины.

³⁹ Обычно социальная категория называлась именем нарицательным во множественном числе (например, «дворяне»), и общим свойством ее членов и сущностью категории считалось соответствующее абстрактное имя (например, «дворянство») — слово понималось почти исключительно не как собирательное, но как абстрактное имя, т. е. характеризующее не группу лиц, но их статус). При этом очевидны отсылки к аристотелевским категориям как к логической модели: «Сословие ... есть род достоинства..., которое одинаково и под одним и тем же именем (*d'une mesme sorte et d'un mesme nom*) принадлежит многим лицам» (Loyseau С. *Traité des ordres...* Р. 4). В другом месте Луазо характеризует сословие как «неотделимую (от лица. — Н. К.) акциденцию (*accident inséparable*)», т. е. квалифицирует его как логическую категорию (Loyseau С. *Traité des offices...* Р. 14). Не менее характерны и замечания Луазо о том, что к сословию «нельзя принадлежать наполовину (*les ordres... ne peuvent estre à demy*)» и что «во Франции дерзкая фраза: “Я такой же дворянин, как и король” по сути вполне правильна» (Loyseau С. *Traité des offices...* Р. 107; Idem. *Traité des ordres...* Р. 66). Все это, конечно же, подразумевает логику необходимых и достаточных условий. Последняя фраза вообще может считаться настолько же классическим примером аристотелевской категории, насколько оруэловское «некоторые животные равны между собой больше» является примером прототипической категории.

⁴⁰ Например, Луазо понимал дворянство как «особую пригодность к получению должностей или сеньорий», т. е. к осуществлению публичной власти (Loyseau С. *Traité des ordres...* Р. 4).

⁴¹ Например, Жан Баке определяет родовитых дворян как тех, «кто происходит из дворянских семей и чьи предки всегда жили по-дворянски, поступали по-дворянски и называли себя дворянами и никогда не облагались тальей, эд или другими налогами, которыми обычно облагают простолюдинов» (Vacquet J. *Traité des droits de francs-fiefs...* Р. 2). Эта формула — лишь краткая версия даваемой Баке характеристики тех показаний, которые королевские комиссары должны получить от свидетелей для того, чтобы удостовериться в дворянстве того или иного человека. Ср.: *Ibid.* Р. 51.

терная тенденция к пренебрежению определениями и акциденциями в пользу идентификационных свойств. Однако эти группы свойств далеко не обязательно совпадают между собой. Более того, наиболее эффективно идентифицировать индивидов как членов той или иной категории обычно позволяют вторичные свойства, не попадающие в определение данной категории⁴².

В рассматриваемых трактатах о дворянстве вопрос об идентификации обычно сводился к доказательству дворянства. На протяжении XVI–XVII вв. во Франции была разработана сложная система доказательства дворянства. Она была созданием как юристов, рассматривавших тяжбы о дворянстве, так и генеалогистов, использовавших для составления дворянских родословных разнообразную исследовательскую технику, созданную историками века эрудиции⁴³. Для доказательства разных форм дворянства предусматривалось представление документов разных типов⁴⁴. Но подобные критерии, позволявшие судить о дворянском происхождении отдельных лиц, носили слишком практический характер и никак не продвигали вперед с определением дворянства. Критерии классификации были лишь слабо связаны со значением понятия. В самом деле, можно ли считать правила представления доказательств дворянства логическим определением соответствующих категорий дворян? Естественно, что это — весьма неудачные определения, поскольку они мало что сообщают нам о сущности определяемых категорий. Кроме того, категорий дворян было много, и если для каждой можно было разработать правила идентификации, из суммы этих правил, впол-

⁴² Boltanski L., Thévenot L. Finding One's Way in Social Space: A Study Based on Games // *Social Science Information*. 1983. Vol. 22. № 4–5. P. 672. В этом обычно усматривают одну из слабостей аристотелевской логики. См.: Кассирер Э. *Познание и действительность: Понятие о субстанции и понятие о функции*. СПб.: Шиповник, 1912. С. 15–16.

⁴³ О генеалогической службе во Франции XVII в. см.: Копосов Н. Е. *Высшая бюрократия...* С. 23–30.

⁴⁴ Для дворян мантти, например, доказательством дворянства считалось представление документов, свидетельствовавших о том, что дед и отец претендента занимали аноблирующие должности и служили в них не менее чем по двадцать лет (или умерли, облеченные ими). Другие дворяне должны были представить не менее чем по три документа для каждого поколения своих предков, в которых эти предки именовались дворянами и выступали в роли дворян (например, упоминались в списках дворянского ополчения).

не эффективных на практике, тем более никак не следовала «идея дворянства». Иными словами, между представлением о дворянстве как о некоторой сущности и суммой правил, разработанных для идентификации индивидов как дворян, существовал зазор, и преимущественное внимание, которое в трактатах о дворянстве уделялось проблемам идентификации, свидетельствует об ориентации мысли авторов трактатов не на значение понятия, но на индивидуальные случаи. С этой точки зрения характерно и то, что важнейшим источником развиваемых в трактатах теорий были не только королевские указы, кутюмы или комментарии знаменитых предшественников, но и судебная практика. Трактаты нередко цитируют судебные прецеденты. Создается впечатление, что перед умственным взором их авторов стоят целые серии классификационных суждений в виде судебных приговоров.

Ориентация мысли на индивидуальные случаи не менее очевидно выступает в деятельности генеалогистов, как королевских, так и частных, составивших родословные многих тысяч дворянских семей. В ходе «реформаций дворянства» при Людовике XIV в провинции были посланы комиссии, которые должны были проверить доказательства у всех дворян королевства, и в некоторой степени справились с этой задачей. На основе опыта таких комиссий были написаны дворянские трактаты (например, Бельгиза и Менетрье), и он, безусловно, проник в общественное сознание. Иными словами, элементарный опыт множества в условиях, когда королевская власть делала попытки «информационного освоения» королевства, стимулировал применение статистических форм мышления к обществу. Конечно, когда генеалогист выдавал дворянский сертификат или когда королевский комиссар признавал дворянство той или иной семьи, речь шла о распределении новых случаев по предсуществующим категориям социального словаря. Эмпирически упорядочивать множество в чистом виде здесь не приходилось, но все же ориентация мысли на индивидуальные случаи была несомненной, а количество этих случаев не могло не дать элементарного опыта множества⁴⁵. В итоге наряду с представлением о множественности факторов социального статуса и об отличии идентификационных критериев от определения

⁴⁵ В практике генеалогистов такие множества накапливались диахронически в виде собираемых из поколения в поколение многих тысяч фамильных досье, но, например, в работе разъездных комиссий элемент синхронического множества был весьма силен.

сущности разделенным опытом становилось ощущение подлежащего классификации множества — даже если пока речь шла лишь о распределении индивидов по предсуществующим категориям.

Идея множественности факторов социального статуса постепенно формулируется на протяжении XVII в. Еще в трактатах конца XVI — начала XVII в., в том числе и у Луазо, она появляется лишь в форме традиционного представления о различных социальных функциях, носителями которых выступали разные категории подданных короля. Эти категории никак не пересекались. Напротив, юристы мыслили их как параллельные и стремились по возможности последовательно разграничить их. Идея множественности факторов статуса каждого индивида, предполагающая модель пересекающихся иерархий, в каждой из которых индивид мог занимать весьма различное положение, постепенно распространяется на протяжении XVII в.⁴⁶ К концу столетия представление об обществе как о множестве индивидов также стало достаточно обычным. Логические выводы из нового интеллектуального опыта общества были сделаны Жаном Дома, наиболее значительным юристом эпохи Людовика XIV и последним крупным представителем той традиции политической мысли, в рамках которой во Франции была выработана теория абсолютной монархии.

Жан Дома эксплицитно формулирует тезис множественности критериев социального статуса и решительно отрицает схему трех сословий⁴⁷. Ранее представлявшиеся параллельными категории, выделенные на основании различия их социальных функций, в его воображении пересеклись. Это было решающим разрывом с традиционной моделью общества. Дома, несомненно, мыслит в терминах подлежащего упорядоче-

⁴⁶ Генеалогии многих дворянских семей, опубликованные в этот период, воспроизводят формулу, сообщающую, что данная семья прославлена древностью рода, службой королю, крупными сеньориями, почетными брачными союзами (Du Chesne A. *Histoire de la maison de Chastillon sur Marne*. Paris, 1621. P. 3–5; Idem. *Histoire généalogique de la maison de Vergy*. Paris, 1625. Epistre) — иными словами, что ее статус как бы определяется суммой статусов по разным параметрам. Позднее «Энциклопедия» интерпретировала Тариф капитации именно как иерархию, выработанную на основании разных критериев (*Encyclopédie... Article «Capitation»*).

⁴⁷ «Мы должны дать (в этой книге. — Н. К.) более точные представления о различиях положений (*conditions*), чем дает слишком общее различие трех сословий» (Domas J. *Les loix civiles... Vol. 1. P. 65*).

нию на основе различных критериев множества. Правда, создается впечатление, что он колеблется между пониманием этого множества как множества «состояний» (*conditions*), своего рода «минисословий», и множества индивидуальных рангов, хотя прекрасно понимает, что статус индивида далеко не равен статусу его сословия⁴⁸. Однако слово *condition*, которое может значить и то, и другое, позволяет сохранять некоторую неясность в этом вопросе. С одной стороны, безусловно главной темой Дома является соотнесение между собой индивидуальных рангов, с другой — он очевидно говорит не только о множестве индивидов, но и о множестве «положений», «профессий» и «классов», об их группировке в сословия и в конечном итоге — об их объединении в «общество» (*société*)⁴⁹. Но в любом случае, даже коллективных «рангов состояний» в его понимании настолько много, и они настолько различны между собой, что вполне оправдана аналогия между упорядочением индивидов и социальных категорий⁵⁰. Не пытаясь перечислить все слишком многочисленные «положения и профессии», Дома предпочитает просто выделить основные критерии, с помощью которых можно решать вопросы соотношения индивидуальных рангов. Таких основных принципов, с его точки зрения, пять — честь, достоинство, власть, необходимость и полезность для общества⁵¹. Опираясь на них, можно эмпирически классифицировать индивидов, соотнося их друг с другом.

⁴⁸ «Следует различать между преимуществом (*préséance*) одного сословия перед другим и преимуществом лица, принадлежащего к одному сословию, перед лицом, принадлежащим к другому» (Domas J. *Les lois civiles...* P. 73).

⁴⁹ Приведем высказывание Дома по поводу того, что в каждом сословии (*ordre* — этим термином он обозначает три сословия королевства) много иерархически чрезвычайно различных между собой «классов»: «Не было необходимости выделять столько же сословий, сколько существует классов, но следовало... свести разнообразие положений и профессий к насколько возможно малому числу общих родов, следя, чтобы между этими родами сохранялись различия, позволяющие распознать в каждом роде свойство, разделяемое входящими в него классами» (Domas J. *Les lois civiles...* P. 76). Здесь совершенно очевидно сходство с цитируемыми выше рассуждениями историков 1960-х гг., и в особенности Аделин Домар, по поводу конструирования агрегированных категорий, с тем только различием, что Дома эксплицитно формулирует в связи с этим принцип необходимых и достаточных условий (см. выше, гл. 1).

⁵⁰ См. выше, с. 82. Мы обращали внимание на то, что у историков 1960-х гг. классификация индивидов выступала идеальным образом эмпирического упорядочения, а образ классификации социoproфессиональных категорий — его практической реализацией.

⁵¹ Domas J. *Les lois civiles...* Vol. 1. P. 66.

Дома формулирует правила этой процедуры настолько недвусмысленно, что не остается сомнений, что речь идет именно о соотношении синтетических индивидуальных статусов⁵². Создается впечатление, что до этого момента он рассуждает прежде всего в терминах многомерной модели: индивидуальные ранги соотносимы на основании множества критериев, но для описания общества бессмысленно перечислять слишком многочисленные ранги и лучше просто охарактеризовать основные принципы, т. е. основания частичных пересекающихся иерархий⁵³. Это — именно та позиция, которую на исходе спора о классах и сословиях заняли Ж.-К. Перро и Г. Шоссинан-Ногаре, отказавшись от поиска синтетической социальной иерархии в пользу модели пересекающихся иерархий, описания которых достаточно для характеристики социальной структуры. Но не случайно Дома не мог выбрать между пониманием множества как множества индивидов и множества минисловий. Группировка последних делала такую позицию невозможной. Как и участники спора о классах и сословиях, Дома пытался свести многомерное пространство к единой иерархии общества. И, подобно позднейшим историкам, он не имел лингвистических средств для выражения идеи синтетической иерархии. Дома предлагает свою рубрикацию, несколько модифицировав предшествующие схемы общества сословий, но тоже в основном опираясь на принцип параллельных выделенных на основе социальных функций категорий, иными словами, переходя от многомерной модели к одномерной частичной иерархии, однако с некоторыми логическими нарушениями, создающими ощущение приближенности к синтетической⁵⁴. Иначе говоря, не умея справиться с задачей описания синтетической иерархии, но испытывая потребность в ней, Дома вместо проецирования своей многомерной модели на синтетическое измерение

⁵² «Ранги лиц, принадлежащих к разным сословиям и разным классам (т. е. иерархически расположенным подсословиям. — Н. К.), не соотносимы на основании точной оценки одних лишь рангов их сословий и классов... Но к этому следует добавить оценку чести, достоинства и других свойств, отличающих функции каждого из этих лиц, и взвесить преимущества каждого (*mettre en balance les avantages de part et d'autre*), чтобы таким образом соотнести их ранги» (Domas J. *Les lois civiles...* P. 77; см. также: *Ibid.* P. 73).

⁵³ *Ibid.* P. 71.

⁵⁴ Domas J. *Les lois civiles...* P. 74–75. Эта иерархия социальных категорий не вполне совпадает со списком полезных социальных функций, на котором в принципе должна бы быть основана. Ср.: *Ibid.* P. 70.

производит бриколаж, ориентирующийся на одномерную иерархию, сформированную по разным основаниям, о логических достоинствах которой можно сказать все то же самое, что и о классификациях современных историков. Иными словами, он проделывает ровно то же, что и социальные историки 1960-х гг., и мы видели предпосылки к этому в его мысли — стремление упорядочивать минисословия. Конечно, Дома еще не знал, что эта неуловимая прямая будет называться подлинной социальной иерархией, но искал он именно ее же — и по тем же причинам. Поэтому можно говорить о рождении социального из пространственных паралогик, подлежащих процессу эмпирической группировки, рождении первоначально в образе линии, в которую сворачивается многомерное пространство и вокруг которой позднее стали группироваться новые элементы, затем покрытые пришедшим из другой традиции именем общества⁵⁵.

Именно в такой интеллектуальной обстановке был выработан Тариф первой капитации. Как уже отмечалось, Ф. Блюш и Ж.-Ф. Солнон считают его выражением подлинной социальной иерархии Старой Франции⁵⁶. На наш взгляд, Тариф, хотя и с некоторыми погрешностями,

⁵⁵ Рождение социального напоминает анализ Ж. Ле Гоффом рождения чистилища из образа очищающего огня, столь сильного образа, что на протяжении нескольких столетий он служил когнитивной точкой, вокруг которой накапливались другие образы и обрывки теорий, позднее объединенные понятием чистилища, которое одновременно было именем двух других когнитивных точек — географической локализации чистилища и срединного элемента трехчленной концептуальной схемы (в качестве посредующего элемента между раем и адом), типичной для эпохи, увидевшей переход от бинарных к трюичным моделям упорядочения (Le Goff J. *La naissance du purgatoire*. Paris: Gallimard, 1981).

⁵⁶ См. выше, гл. 1. До Ф. Блюша и Ж.-Ф. Солнона аналогичную оценку капитации высказывал М. Марион. По его словам, классы Тарифа были сформированы «в соответствии с социальным положением» индивидов (Marion M. *Les impôts directs sous l'Ancien Régime*. Paris, 1910. P. 49). Такая точка зрения восходит к критикам капитации из числа оппозиционных режиму Людовика XIV публицистов (например, к Буагильберу), которые подчеркивали порочность положенных в основу нового налога принципов, не пытаясь, однако, более внимательно отнестись к намерениям (не всегда злым) и возможностям (всегда ограниченным) критикуемого ими правительства. Напротив, как отмечает А. Гери, странно говорить о том, что Тариф отражает подлинную социальную иерархию общества, совершенно игнорируя при этом условия его создания, доступную для этого технику и конкретные цели, которые преследовало правительство (Guéry A. *Etat, classification sociale et compromis sous Louis XIV: la capitation de 1695 // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1986. Vol. 41. № 5. P. 1042).

отражает скорее иерархию богатств. Тем не менее по своей форме он мог бы быть описанием той синтетической иерархии, которая рисовалась воображению и Жана Дома, и социальных историков 1960-х гг. Интеллектуальные процедуры, с помощью которых был выработан Тариф, были близки к тем, которые необходимы для конструирования «подлинной социальной иерархии», так что Ф. Блюш и Ж.-Ф. Солнон приписали авторам Тарифа свои собственные цели на том основании, что те использовали аналогичные методы. Для нас поэтому Тариф интересен тем, что использованные в нем процедуры показывают доступность современникам Короля-Солнца логики эмпирического упорядочения и возможность ее применения при размышлениях об обществе. Наряду с трактатом Жана Дома Тариф капитации склоняет к мысли, что эмбрион понятия социального сформировался в конце XVII в. в виде пространственных паралогик, по сию пору с трудом отделимых от этого понятия.

Капитация была первым в истории Франции всеобщим прямым налогом, который Людовик XIV вынужден был ввести в тяжелые годы войны с Аугсбургской Лигой. «Дитя необходимости» (по словам М. Мариона), капитация была тем не менее не просто конкретной мерой покрытия бюджетного дефицита, подобной переплавке серебряной посуды. Она вписывается в несомненную, хотя и крайне неустойчивую, политику модернизации архаичной и неэффективной фискальной системы королевства и может считаться одной из относительно удачных в череде состоявшихся в основном из провалов финансовых реформ. Как и другие реформы Людовика XIV, она была половинчатой, тем более что именно в финансовой сфере модернизация слишком непосредственно задевала интересы привилегированных. В ней изначально был заложен компромисс между новаторской идеей подоходного налога и логикой общества сословий и корпораций, не считаться с которой отнюдь не обделенные чувством реальности руководители финансового ведомства, конечно, не могли.

Генеральному контролеру финансов Понтшартрену и его клеркам приходилось учитывать различные соображения, начиная от трезвой оценки эффективности собственного аппарата и взимаемости налогов, наличия информации, позиции общественного мнения (вплоть до опасности налоговых бунтов), реакции за рубежом и т. д. Надо было, чтобы новый налог стал относительно популярным и, следовательно, не очень походил

на считавшиеся несправедливыми традиционные налоги⁵⁷. Но он не должен был и слишком нарушать привычные представления об обществе, чтобы не спровоцировать массу новых конфликтов необдуманном новаторством. Принцип всеобщего участия подданных в финансовом бремени тяжелой войны мог быть (и, действительно, в известной мере был) встречен с пониманием. Но механизмы реализации этого принципа должны были быть по возможности простыми, чтобы налог мог быть собран быстро и не вызвал ненужных осложнений⁵⁸. С этих позиций генеральный контролер и рассматривал предложенные проекты капитации.

Новаторские проекты капитации как подоходного налога были представлены двумя видными военными советниками Людовика XIV — маршалом Вобаном и маркизом де Шамле, проявлявшими интерес к экономической политике (Вобан был одним из крупнейших экономистов своего времени)⁵⁹. Поскольку практически оценить подлежащие обложению доходы без вмешательства «в секреты семей» было затруднительно, речь шла об обложении в соответствующей пропорции всей приносящей доход собственности. Эффективность такого подхода, однако, вызывала сомнения (причем не только у генерального контролера, но и у самих авторов проекта), поскольку оценка доходности, например, поместий должна была быть поручена местным финансовым чиновникам, а никакого доверия к ним правительство не испытывало. Возникал риск злоупотреблений, бесконечных жалоб, судебных процессов, а в итоге — общественного недовольства и затяжек с уплатой налога⁶⁰.

⁵⁷ Ср. замечание М. Мариона, что в глазах генерального контролера «главным достоинством (капитации. — Н. К.) было то, что она была еще не использованным налогом» (Marion M. *Les impôts directs...* P. 49).

⁵⁸ Исследователь капитации С. Митар подчеркивал, что избранный в конечном итоге вариант налога с «положения» как раз и был «более грубым, но более простым и легким для осуществления фискальным инструментом», чем предлагаемый Вобаном и Шамле подоходный налог (Mitard S. *La crise financière en France à la fin du XVIIe siècle: La première capitation (1695–1698)*. Rennes, 1934. P. 64).

⁵⁹ Проект Вобана опубликован: *Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces*. Vol. 1. / Pub. par A. M. de Boislisle. Paris, 1874. P. 561–565. Ср. знаменитый трактат Вобана о королевской десятой: Vauban. *Projet d'une dixme royale* / Pub. par J.-F. Perrot. Paris, 1988. См. также: Mitard S. *La crise financière...*

⁶⁰ См. письмо Понтшартрена д'Аблежу от 27 октября 1693 г., где генеральный контролер предупреждает интенданта о трудностях введения подоходного налога: *Correspondance...* Vol. 1 / Pub. par A. M. de Boislisle. P. 343–344.

Поэтому Понтшартрен предпочел воплотить идею подоходного налога в форме налога с «положения»⁶¹. Здесь, конечно, существовала возможность явного несоответствия ранга и платежеспособности, но генеральному контролеру это представлялось меньшим злом, поскольку всегда можно было сделать индивидуальные скидки (известно, что в итоге их было сделано столько, что налог принес гораздо менее ожидаемого). К тому же перечень в Тарифе всех должностей и рангов, начиная от дофина, должен был иметь пропагандистский эффект, демонстрируя разделенность бремени войны. Иными словами, отсутствие надежного инструмента для исчисления индивидуальных доходов привело к тому, что первый подоходный налог был реализован в более привычной форме налога с «положения». Но если на первый взгляд может показаться, что составители Тарифа мыслили категориями Луазо, то более внимательный анализ показывает характерные отступления от этой логики.

Главная трудность для авторов Тарифа заключалась в соотношении «положений». В их распоряжении не было единой оценочной шкалы. Как, в самом деле, сопоставить титул и должность? Далее, даже для должностей не существовало единой иерархии. Должности делились на военные, судейские и финансовые (не говоря о более мелких категориях), и для каждой из этих групп имела особая, хотя порой и небесспорная, иерархия. Такое положение одновременно и облегчало, и усложняло задачу составителей. С одной стороны, они получали для каждой категории должностей оценочную шкалу, с другой — оказывались связанными ее авторитетом. Для учета соображений богатства здесь просто не оставалось места. Несколько большую независимость составители Тарифа могли проявить при наложении шкал друг на друга⁶², и именно здесь они проявили тенденцию мыслить в терминах богатства.

⁶¹ Знаменитый автор истории финансов французских королей Верон де Форбонне справедливо подчеркивал, что «изначальным духом закона (капитации. — Н. К.) было обложение в соответствии с платежеспособностью» (*Veron de Forbonnais F. Recherches et considérations sur les finances de France depuis l'année 1595 jusqu'à l'année 1721. Vol. 2. Basle, 1758. P. 82*).

⁶² К концу XVII в. в административной традиции накопился известный опыт соотношения этих иерархий между собой. Сохранились документы, отразившие подобные процедуры, как, например, тариф командировочных расходов 1601 г. или многочисленные тарифы золотой марки (специальный сбор с собственников должностей). Соотношение шкал позволяло выразить разные интенции, от соображений престижа до чисто материальных соображений, и в разных случаях превалировала разная логика. Но харак-

Сравнение оценок Тарифа с данными о состояниях некоторых социальных категорий показывает довольно правдоподобный учет реального положения дел, при том, что некоторые категории пользовались благосклонностью правительства (военное дворянство), а некоторые, напротив, были систематически переобложены (финансисты)⁶³, что также только могло приветствоваться общественным мнением и с самого начала входило в намерения авторов проекта⁶⁴. Иными словами, при составлении классов капитуации клерки Понтшартрена стремились схватить их соотношение между собой именно по частичной имущественной иерархии. Однако поскольку в классификационное суждение вмешивалось несколько типов соображений — от социальных симпатий правительства и мифов о сказочных богатствах финансистов до оценки перспективности взимания налогов со знати и необходимости считаться с традиционными шкалами, — классификационное суждение носило синтетический характер, т. е. было структурно таким же, как если бы составители Тарифа пытались описать синтетическую социальную иерархию. В самом деле, всего клерки выделили 569 рангов, названных настолько пестрыми терминами, что масса их наименований производила эффект приглушения аналитической интуиции. Именно поэтому группировка рангов в 22 класса была подобна группировке имен собственных. Ибо иначе, чем с помощью абстрагирующегося от коннотаций синтетического суждения, соотносить между собой это обилие терминов было невозможно. Иными словами, суть процедуры состояла в распределении по универ-

терно, что, например, в тарифах золотой марки исследователи отмечают постепенное повышение роли чисто финансовых соображений, так что если тарифы конца XVI — первой половины XVII в. имели тенденцию считаться с «престижностью» должности, с 1704 г. они ориентируются почти исключительно на цену должностей. См.: Barbiche V. *La hiérarchie des dignités et des charges au début du XVIIe siècle, d'après l'Etat des taxes des voyages' du 25 août 1601 // XVIIe siècle*. 1987. № 157. P. 359–370; Nagle J. *Le droit de marc d'or des offices: Tarifs de 1583. 1704, 1748: Reconnaissance, fidélité, noblesse*. Genève: Droz, 1992. P. 63. Подчеркнем, однако, что сам Жан Нагль под влиянием Ф. Блюша и Ж.-Ф. Солнона рассматривает тарифы золотой марки как такие же отражения «подлинной социальной иерархии», как и Тариф капитуации (*Ibid.* P. III).

⁶³ Копосов Н.Е. *Высшая бюрократия...* С. 212–219.

⁶⁴ *Projet de capitation présenté par M. de Vauban // Correspondance...* Vol. 1 / Pub. par A. M. de Boislesle. P. 561–565. § 13; См. также цитируемую Ж. Наглем докладную записку одного из составителей Тарифа, подчеркивающего необходимость повышенного обложения финансистов: Nagle J. *Le droit de marc d'or...* P. 75.

сальной шкале обобщенных образов индивидов — типичных представителей рангов. При небольших подвижках такая схема позволяла уловить разные иерархии, но в любом случае слова Тарифа должны были пройти семантическое опустошение, чтобы быть соотносенными с квотами налога. Поэтому Ф. Блюш и Ж.-Ф. Солнон так легко приняли Тариф за выражение той самой синтетической иерархии, которую они искали.

Итак, интеллектуальный аппарат, необходимый для конструирования синтетической социальной иерархии, сформировался к концу XVII в., и можно сказать, что важнейший элемент понятия социального был тем самым выработан с помощью невербальных ресурсов. Это явилось характерным проявлением свойственного эпохе стиля мысли. Имеющаяся социальная терминология оказалась слишком тесно связана с привычными способами думать и традиционными репрезентациями социального мира. Лексического материала решительно не хватало для формулировки новых идей. Постепенная, болезненная выработка новой системы понятий, причем понятий нового типа, — по-видимому, один из важнейших элементов формирования нового мира. Решающим этапом этого процесса обычно считают вторую половину XVIII — первую половину XIX в., «переломное время» (*Sattelzeit*), в терминологии Райнхарда Козеллека. Именно тогда окончательно сформировались и современные понятия общества и государства. Набросанная здесь предыстория социального — прелюдия переломного времени. Но она связана с семантическими трансформациями переломного времени не только по своему содержанию, но и по мобилизованным ею интеллектуальным ресурсам. Остановимся на этом подробнее.

Две основные концепции семантических трансформаций переломного времени принадлежат М. Фуко и Р. Козеллеку⁶⁵. Оба автора говорят о некотором высвобождении социальной мысли по отношению к словам. По мнению М. Фуко, «эпистема» научной мысли этого периода, в отличие от классической эпистемы XVII—XVIII вв., уже не исходит из обязательного соответствия слов и вещей, что создает основу для формирования понятий нового типа. Р. Козеллек приходит к близкому

⁶⁵ Foucault M. *Les mots et les choses*. Paris; Gallimard, 1966; Koselleck R. *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. Характерна хронологическая близость этих концепций — 1960-е гг., когда формируется и интеллектуальная задача социальной истории, мобилизующая те же ресурсы воображения.

заключению, анализируя изменение темпоральных структур социальных понятий. По Козеллеку, каждое понятие отражает некоторый наличный опыт и набрасывает определенный проект будущего. Поэтому можно говорить о двух по-разному ориентированных во времени частях понятия — об области опыта и о горизонте ожиданий. В средние века и в раннее новое время социальные понятия характеризовались преобладанием области опыта, поскольку в них описывалось чрезвычайно гетерогенное общество партикуляристского типа, общество привилегий. Напротив, в «переломное время» социальные понятия решительно устремляются в будущее, разрывают связи с областью опыта и ориентируются на горизонт ожиданий. В них формулируется, оспаривается, переформулируется проект общества будущего, зачастую лишь весьма слабо подкрепленный наличным социальным опытом. Но ведь проект будущего не может быть столь же детальным, как описание наличного бытия. Новые понятия по необходимости являются прежде всего общими понятиями, так что над пестрым словарем партикуляристского общества как бы надстраивается новый словарь более абстрактных социальных категорий. Иными словами, социальная мысль отчасти высвобождается из-под власти слов прошлого, и несовпадение структуры общества будущего, описанного в новых абстрактных категориях, со структурой общества прошлого, описанного в конкретных понятиях, лучше всего показывает это. В итоге происходит приблизительно то же, о чем говорит и Фуко: понятия, создавая для себя новые формы языкового воплощения, получают большую, чем раньше, независимость от слов.

Мы не будем подробно анализировать эти теории. Подчеркнем только то обстоятельство, что высвобождение мысли из-под власти слов по необходимости предполагало ее ориентацию на иные когнитивные носители, и среди последних особое место принадлежало пространственному воображению. Мы видели связь описываемых Фуко и Козеллеком трансформаций со становлением нового типа реализма, проявившегося в обострении скрытого в социальных понятиях конфликта опыта слов и опыта вещей⁶⁶. Анализ предыстории социального приводит к аналогичному выводу, поскольку, как мы видели, именно пространственные паралогики способствовали оформлению интуиции особого уровня бытия, позднее названного социальным, и кристаллизации понятия общества, прооб-

⁶⁶ См. гл. 2.

разом которого послужила идея множества. Такая ориентация мысли на пространственные паралогики была в значительной мере обусловлена происшедшей в XV—XVII вв. революцией в визуальной культуре⁶⁷.

Историки искусства многократно описывали эту революцию, открытую изобретением перспективы в ренессансной Италии и достигшую апогея в галилеевской науке и классической живописи XVII в.⁶⁸ Ее результатом стала актуализация опыта зрения и зрительных форм пространства как референциального кадра абстрактного мышления. Рациональное пространство декартовых координат становится непререкаемой метафорой мира, оттеснив на второй план опыт как других чувств, прежде всего слуха и осязания, так и других форм пространства⁶⁹. Это яви-

⁶⁷ Конечно, специализация мысли не была исключительно уделом этой эпохи. По-видимому, она свойственна периодам усиления рациональности мышления и усложнения классификационных схем. А. Рей показал взаимосвязь развития евклидова пространства как источника логических инференций со становлением рационалистической науки и философии в Древней Греции (Rey A. *La science dans l'Antiquité*. Vol. 1. Paris, 1930. P. 440—450). Жак Ле Гофф подчеркивает роль специализации мысли для важнейших интеллектуальных перемен XII—XIII вв., т. е. периода схождения «с небес на землю», важнейшего этапа секуляризации европейской мысли (Le Goff J. *La naissance du purgatoire*. P. 11, 13, 17, 305; см. также: Ле Гофф Ж. С небес на землю: Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII—XIII вв. // *Одиссей 1991*. М.: Наука, 1991. С. 25—47).

⁶⁸ Panofsky E. *La perspective comme forme symbolique*. Paris: Minuit, 1975; Dalmisch H. *L'origine de la perspective*. Paris: Flammarion, 1987; Alpers S. *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*. London; New York: Penguin Books, 1989.

⁶⁹ Среди многих других Февр подчеркивал роль этой переориентации на зрение в формировании рационалистического мировоззрения и картины мира галилеевской науки (Febvre L. *Le Problème de l'incroyance au XVIe siècle: La religion de Rabelais*. Paris: A. Michel, 1962. P. 461—475. См. также: Mandrou R. *Introduction à la France moderne (1500—1640): Essai de psychologie historique*. Paris: A. Michel, 1961. P. 76—82). Другие исследователи проследили связь развития логики с ориентацией мысли на опыт зрения, в частности, с превращением трехмерного пространства в непререкаемый кадр логических референций. На связь между специализацией мышления и стремлением юристов второй половины XVI в. к точным классификациям обращал внимание Э. Леруа Лядюри (Le Roy Ladurie E. *Les structures de la monarchie au XVIe siècle* // *Historia*. № 484. 1987. Avril. P. 11). В этот процесс и вписывается использование пространственных паралогики для конструирования социального *avant la lettre*. Для теорий классификации пространственные аналогии в XVI в. систематически использовал Пьер де Ла Раме (Ong W. J. *Ramus: Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason*. Cambridge (Mass.); London: Harvard U. P., 1958. P. 314).

лось важнейшей интеллектуальной предпосылкой отмеченных выше перемен в образах общества, которые произошли за время, разделяющее Шарля Луазо и Жана Дома. Интеллектуальным аналогом теории Луазо выступает неопределенно мобилизованное пространство списка, тогда как аналогом теории Дома — напряженно прочувствованное пространство декартовых координат. Мысль Луазо следует логике имен, обозначающих сущности. Дома стремится мыслить в пространстве, где вещи повинуются власти координат⁷⁰.

Однако родившееся из пространственных паралогик понятие социального *avant la lettre* — или, точнее, его эмбрион — не получило непосредственного развития в общественной мысли XVIII в. Ориентация на сложную многомерную модель, проецируемую на одно результирующее измерение, была сравнительно кратким моментом в истории социальных теорий Старого Порядка. Этого момента оказалось достаточно для того, чтобы сформировался один из элементов будущего понятия социального, одна из воплощенных в образе фигур мысли, вошедших в семантический комплекс данного понятия. По-видимому, возникновение образа синтетической иерархии существенно облегчило формирование идеи общества и, возможно, послужило исходным пунктом кристаллизации различных семантических элементов в единый комплекс.

Век Просвещения не благоприятствовал развитию сложных интеллектуальных моделей, скрывавших попытки найти компромисс между традициями общества привилегий и более современными представлениями о человеческой природе. Утонченная интеллектуальная культура «юрисконсультов», в рамках которой взаимодействие традиционного социального словаря с новым пространственным воображением впервые породило интуицию социального, уходила в прошлое. Лишь намеченное в образе синтетического измерения многомерной структуры, не вполне

⁷⁰ Типом своей культуры Жан Дома был предрасположен к тому, чтобы в его мысли принесла плоды визуальная революция XVII в. Он принадлежал к кругу янсенистских интеллектуалов, в среде которых легко мобилизовывался опыт современной науки с ее интересом к проблемам света и зрительного восприятия (вспомним об исследованиях Паскаля), новейшие логические теории Арно и Николя и, наконец, эстетический опыт классической живописи, характеризовавшейся (например, в творчестве Шампэня) вниманием к свету, в котором виделся аналог центральной темы янсенистской теологии — благодати. Не забудем, что именно Нидерланды были центром и визуальной революции XVII в., и янсенистского движения, и французские янсенисты не были в неведении относительно культурной жизни Нидерландов.

отделившееся от традиционной модели лингвистического описания, еще не имеющее имени и, как мы знаем, противоречащее важным языковым интуициям, новое представление о социальном оказалось весьма непрочным, и уже в XVIII в. происходит зарождение классовой модели общества, типологически гораздо более близкой к отвергнутой в XVII в. модели общества сословий. Главным местом выработки новых представлений об обществе стала политическая экономия. Новая школа, забыв о тех трудностях, которые были связаны с осознанием многообразия факторов социальной дифференциации, строила свое понимание общества прежде всего на основе анализа экономических функций различных групп населения. После достигнутого в какой-то момент баланса между концепцией общества сословий и осознанием роли денежного богатства, когда зародилась пространственная интуиция синтетической социальной иерархии, вновь началось движение к одномерной модели, сопровождаемое переменой в типе профессиональной культуры главных теоретиков общества. Эта новая тенденция становится доминирующей на столетие—полтора.

Уже в конце царствования Людовика XIV некоторые элементы концепции классов использовались зарождающейся либеральной оппозицией. Именно в связи с критикой первой капитации, главный недостаток которой он видел в очевидном несовпадении «положений» и богатств, Буагильбер писал: «Классов имеется столько же, сколько степеней богатства»⁷¹. Физиократы говорили о классе сельскохозяйственных производителей, промышленном классе и т. д.⁷² А накануне Французской революции у авторов типа Антуана Барнава исследователи констатируют вполне сложившееся классовое видение общества⁷³. Опыт революции привел к дополнению концепции классов идеей классовой борьбы, которая с тех пор стала неотъемлемым элементом понятия класса. Но несмотря на то, что именно с этими концепциями обычно связывают окончательное формирование понятия общества, в известном смысле теоретики классовой борьбы были менее последовательны по сравнению

⁷¹ Le Pesant de Boisguilbert P. *Le Détail de la France*. Vol. 1. S. 1., 1707. P. 157.

⁷² См.: Perrot J.-C. *Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle // Ordres et classes: Colloque d'histoire sociale (Saint-Cloud, 1967)* / Pub. par D. Rosch. Paris; La Haye: Mouton, 1973. P. 145.

⁷³ Mousnier R. *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*. Vol. 1. Paris: Presses Universitaires de France, 1974.

с Жаном Дома и клерками Понтшартрена, поскольку «автономия социального» в их теориях оказалась утрачена. Именно поэтому последующие попытки обнаружить «социальное в собственном смысле», в том числе и социальная история 1960-х гг., интеллектуально ближе к Дома, чем к Марксу.

На протяжении значительной части XIX в. понятийный аппарат для анализа общества оставался примерно таким же, каким он сложился в послереволюционные десятилетия. С одной стороны, имелась теория гражданского общества, с другой — теории классов и классовой борьбы. Дальнейшее развитие идеи социального приходится уже на последние десятилетия XIX в., и оно было связано прежде всего с двумя факторами: во-первых, с возникновением «социального вопроса» и его продвижением на авансцену политической борьбы и, во-вторых, с формированием новых концепций сознания. Именно тогда понятие социального в полной мере сложилось в его современном виде, а именно, в качестве предмета социальных наук. Однако прежде чем перейти к этим сюжетам, мы должны остановиться на проблеме формирования социальной истории, ибо она стала местом выработки одного из важнейших для понимания спора о классах и сословиях аспектов понятия социального. Речь идет о стратифицированном образе истории, в рамках которого сложилось «узкое» понимание социального, являвшееся коррелятом идеи синтетической социальной иерархии и входящее наряду с ним в одну систему исторического воображения.

Глава 4

Невроз рубрикации

А. Маслоу называл рубрикацией «патологическую категоризацию» — одну из свойственных ученым «когнитивных патологий», невротических реакций, скрывающих страх перед познанием живой действительности, который порождает стремление укрыться в мире формализованных научных объектов и дискурсивных категорий¹. Видимо, «невротическую составляющую» науки имел в виду и Х. Кельнер, подчеркивая, что «области формальных исследований суть комплексы защиты против состояний беспокойства»². Эти состояния, по Кельнеру, вызываются навязчивым, хотя и скрытым, присутствием в общественном сознании некоторых болезненных тем, равно как и нарушениями когнитивного комфорта, который обеспечивается благодаря соблюдению предписываемых интеллектуальной практикой профессии правил мышления и вытеснению порождающих тревогу фигур мысли³. Если следовать этим оценкам, рубрикация истории — и, шире, метадискурс социальных категорий — представляет интерес с двух точек зрения. В той мере, в какой рубрикация обеспечивает когнитивный комфорт, ее можно рассматривать как проявление работы некоторых когнитивных механиз-

¹ Maslow A. *The Psychology of Science: A Reconnaissance*. New York; London: Harper and Row, 1966. P. 29, 81. С точки зрения Маслоу, для науки характерен постоянный конфликт между стремлением к познанию и страхом познания, так что «познание включает защиту от самого себя», и при соответствующих обстоятельствах наука становится «защитной реакцией... философией спокойствия... изощренным способом избежать состояний тревоги и неприятных проблем. В пределе она может стать бегством от жизни» (*Ibid.* P. 16, 33). Подробнее А. Маслоу анализирует психологию рубрикации в книге: Маслоу А. *Мотивация и личность*. СПб.: Евразия, 1999. С. 285–308.

² Kellner H. *Triangular Anxieties: The Present State of European Intellectual History // Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives* / Ed. by D. La Capra, S. L. Kaplan. Ithaca; London: Cornell U. P., 1982. P. 112.

³ Kellner H. *Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989. P. 12–13.

мов, иными словами, как проявление форм разума, проецируемых на историю. Но вместе с тем рубрикация позволяет на языке формальной тематизации мира выражать внеположенное своему буквальному смыслу содержание. Именно поэтому она служит важнейшим семиологическим механизмом исторического дискурса, основой современной историографии как символической формы⁴.

С когнитивной стороны рубрикация истории в значительной степени является делом пространственного воображения. Анализ небольшого текста Люсьена Февра послужит нам введением в эту тему. Речь идет о рецензии на вышедшую в 1929 г. с предисловием Шарля Сеньбоса «Историю России». В этой рецензии Февр подверг критике интеллектуальную модель позитивистской историографии, проявившуюся (если воспользоваться словами Сеньбоса) в «раздельном и последовательном изложении групп фактов различной природы — политической, социальной, экономической, интеллектуальной». По этому поводу Февр пишет:

«Вот то, что я называю системой комода, доброго старого комода из красного дерева, гордости хозяйства скромного буржуа. Все так хорошо разложено, в таком замечательном порядке! Верхний ящик — политика, “внутренняя” — справа, “внешняя” — слева. Второй ящик: правый угол — “движение населения”; левый угол — “организация общества” (организация кем? Полагаю, политической властью, которая с высоты ящика номер один руководит, управляет и повелевает всем). — Это концепция. Концепция и в том, чтобы поместить “экономiku” после “общества”. Но она не нова. Я был зеленым юношей, искавшим свой путь, когда в лависсовской “Истории Франции” появился “Шестнадцатый век” Анри Лемонье. Я до сих пор вспоминаю свое искреннее возмущение (мне было двадцать лет!), когда я с ужасом обнаружил, что автор в простоте душевной рассматривал “классы” общества до того, как рассказать нам об экономической жизни... С тех пор прошло тридцать лет. И мы можем оценить достигнутые успехи, видя, как, победоносно заперев организацию общества во второй ящик, “История России” помещает в третий... экономические явления? Нет, все тех же трех старух...: агркультуру, промышленность и торговлю, за которыми следуют литература и искусство»⁵.

⁴ Koppsov N. *Dos au vent: Une histoire sans surveillance // EspacesTemps*. 1995. Vol. 59–61. P. 224–230.

⁵ Febvre L. *Pour la synthèse contre l'histoire-tableau: Une histoire de la Russie moderne: Politique d'abord ? // Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 72.

Приведенный отрывок типичен для февровской полемики против «позитивистской» историографии, воплощением которой для него именно и являлся Шарль Сеньбос⁶. Нам отрывок интересен прежде всего потому, что наряду с обычными мотивами этой полемики, красной нитью проходящими через работы Февра (такими, как призыв к историческому синтезу — не случайно цитированная рецензия озаглавлена «*За синтез против истории-картинки*»), в нем содержится, пусть в несколько беглой и метафорической форме, пронизательный анализ парарпространственных принуждений мысли, заложенных в рубрикации исторического дискурса. Рассмотрим поэтому метафору старого комода более внимательно и попытаемся эксплицировать скрытую в ней логику февровского анализа.

Понятно, что визуальный образ комода, вещи грубой и старомодной, служит для того, чтобы наглядно показать упрощения, свойственные позитивистской концепции истории. По словам Гастона Башляра, «метафора ящиков является рудиментарным полемическим инструментом», часто используемым «в несложных текстах для отрицания стереотипных идей»⁷. В эпоху, когда происходило интеллектуальное формирование Февра, метафора ящиков была типична для риторики недолюбляемых им бергсонистов⁸. Превращаясь в риторическую конвенцию, метафора банализируется, утрачивает спонтанность и суггестивность образа. Но если Февр все же работает с этой метафорой, то прежде все-

⁶ О создании Л. Февром «черной легенды» о Ш. Сеньбосе как воплощении «историзирующей истории» см.: Noiriol G. *Sur la «crise» de l'histoire*. Paris: Belin, 1996. P. 277–278. См. также: Prost A. *Seignobos révisité // Vingtième siècle*. 1994. № 43. P. 100–118.

⁷ Bachelard G. *La poétique de l'espace*. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 81. Ср. весьма похожее описание позитивистской модели истории у Бенедетто Кроче, осуждающего историю, «которая по очереди излагает в отдельных главах разные типы фактов, как страты, или (если использовать обычное сравнение критиков) разложенными по коробочкам — политическая история, история промышленности и торговли, история костюма, история религии, история философии и науки, история литературы и искусства и так далее» (Croce B. *Teoria e storia della storiografia*. Bari; Laterna, 1966. P. 111). На основе таким образом упорядоченных фактов невозможно, по Кроче, написать историю. Зато эти воображаемые рубрики имеют тенденцию в силу «натуралистической иллюзии» восприниматься как исторические факты (*Ibid.* P. 117).

⁸ Bachelard G. *La poétique de l'espace*. P. 80. Об аллергии Февра к Бергсону см.: Бродель Ф. Свидетельство историка // *Французский ежегодник 1982*. М.: Наука, 1984. С. 187.

го потому, что, модифицируя ее логику, он находит в ней новые семантические ресурсы. В форме школьной метафоры он предлагает далеко не банальный анализ.

Хорошо известно, что Люсьен Февр отстаивал необходимость изучать исторические явления в их многообразных взаимосвязях и выступал против наложения на единую органическую действительность социальной жизни искусственной решетки абстрактных категорий. «Идти прямо к проблемам», чтобы схватить в них «единство человеческого духа»⁹, было главным принципом его «практической эпистемологии»¹⁰. Но неправильно было бы видеть в рассматриваемой метафоре только протест против «перегородок и этикеток»¹¹. Не случайно в подзаголовок своей рецензии Февр помещает вопрос: «*Прежде всего политика?*»¹² То, что он отрицает, — это не столько упрощения, свойственные учебникам, — ведь в конце концов «хорошие учебники хороши»¹², — сколько концепцию истории, скрытую за внешней объективностью методичного изложения исторических фактов. В самом деле, изоляция групп фактов «различной природы» в «ящиках» позитивистской историографии лишь кажущаяся. Жесткая логика связывает их воедино таким образом, что порядок изложения материала не допускает иной истории, чем та, где главенствует политика. И если этот «порядок» вызывал постоянные нападки Люсьена Февра, то прежде всего потому, что он навязывал логику событийной, «историзирующей» истории, которой основатели «Анналов» бросили вызов. Именно эта логика — главная мишень рассматриваемой метафоры. «Раздельное изложение» разных групп фактов служило только сокрытию концепции, имплицитно содержащейся в их последовательном изложении.

Именно эффекты последовательного изложения Люсьен Февр пытается проанализировать с помощью метафоры старого комода. Расска-

⁹ Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 105.

¹⁰ Massicotte G. *L'histoire-problème: La méthode de Lucien Febvre*. Québec; Paris, 1981; Mann H. D. *Lucien Febvre: La pensée vivante d'un historien*. Paris: A. Colin, 1971.

¹¹ «Долой перегородки и этикетки!» (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 425). О борьбе Февра против «метафизики каменщика», как он называл стратифицированный образ истории, см.: Noiriel G. *Pour une approche subjectiviste du social // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1443.

¹² Febvre L. *Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle: La religion de Rabelais*. Paris: A. Michel, 1962. P. 1.

зять сначала о политике, затем — об обществе, затем — об экономике и культуре означает установить между этими группами фактов иерархические отношения, подсказывающие выбор соответствующей экспликативной модели. Иначе говоря, это означает спроецировать на историю внутреннюю логику структуры текста. Методичность последовательного изложения, как бы демонстрирующая верность фактам и стремление описать прошлое таким, каким оно было на самом деле, оказывается риторическим приемом, предназначенным для того, чтобы заставить читателя принять логику текста за логику вещей. Здесь есть от чего прийти в раздражение и менее вспыльчивому человеку, чем Люсьен Февр.

Но как формальная структура изложения может нести в себе концепцию? Самое простое объяснение в том, что для понимания получаемой информации мы обычно используем ту, которая уже известна. К тому же в исторических текстах мы редко имеем дело с простой линейной последовательностью причин и следствий¹³. Обычно, чтобы понять новую информацию, ее соотносят с разными аспектами сообщенной ранее, и ранее сообщенная информация в свою очередь многократно учитывается при интерпретации последующей. Отсюда чем более факт способен объяснять другие факты, тем важнее, чтобы он был сообщен с самого начала (если, конечно, речь не идет об инверсии, когда история рассказывается как детектив). Именно поэтому в метафоре Февра политика управляет организацией общества, именно поэтому странно говорить о классах, ничего не сказав об экономической жизни (тем более что само слово «класс» отсылает к представлению о выделяемых по экономическим критериям социальных группах).

Мы без труда понимаем смысл, вкладываемый Февром в рассматриваемую метафору. Но попробуем задуматься, за счет чего возникает

¹³ См. анализ структур исторического повествования М. Мандельбаумом, который подчеркивает многообразие его форм, в том числе и наличие сложных повествовательных структур (например, основанных на инверсии): Mandelbaum M. *The Anatomy of Historical Knowledge*. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1977. P. 24–45. Однако зависимость Мандельбаума от теорий исторического повествования сказывается в том, что он пренебрегает проблемой рубрикации истории, которая неизбежно заставляет задуматься над структурами исторических описаний. Анализируемая модель позитивистской историографии весьма характерна в этом плане потому, что она показывает роль в историческом дискурсе не только эффекта развития интриги, но и эффекта упорядочения с помощью описания.

этот смысл. Весь анализ позитивистской концепции истории основан здесь на образе комода. Конечно, Февр подчеркивает роль организации текста (Лемонье «рассматривал “классы” общества до того, как рассказать нам об экономической жизни»), но затем немедленно возвращается к своей метафоре, как если бы в ней заключалось нечто подобное эффекту последовательного изложения, как если бы визуальный образ комода содержал внеязыковое принуждение мысли, параллельное принуждению языковому, заложенному в организации текста. Иными словами, в метафоре старого комода есть нечто, заставляющее нас поверить, что некая примитивная модель навязала авторам *«Истории России»* свою нелепую логику. Но запираение групп фактов в ящики комода не имеет отношения к установлению логических связей между ними. Действительно, чем ящик, в котором заперты политические факты, лучше ящиков, где помещены факты социальные или экономические? Единственная разница состоит в их взаимном расположении — именно «с высоты ящика номер один» политика «руководит, управляет и повелевает всем». Но к этому уже не имеет отношения образ старого комода из красного дерева. Чтобы возникло значение февровской метафоры, этот образ должен трансформироваться в образ другого типа. Политика правит не из ящика, но сверху. Иначе говоря, метафора соскальзывает на другой уровень абстракции, где чувственный образ комода растворяется и от него остается только конфигурация точек в абстрактном пространстве, точек, соответствующих исчезнувшим ящикам. Такую конфигурацию точек принято называть пространственным образом, а пространство, в котором такие образы являются нам, — ментальным пространством.

В отличие от чувственных образов, будь то визуальные, тактильные или аудитивные, пространственные образы мобилизуют не опыт какого-то конкретного чувства, но коренятся в синтетическом опыте пространства. Конечно, пространственный образ легко визуализировать, представив себе материальную вещь или нарисованную на листе бумаги геометрическую фигуру. Граница между визуальным и пространственным образом остается весьма размытой, но все же, по-видимому, это — разные образы, формирующиеся на разных уровнях абстракции и функционирующие по разным правилам.

Ментальное пространство далеко не нейтрально. Напротив, оно наделено определенной логикой, или, точнее, множеством различных ло-

гик¹⁴. Так, в метафоре Февра пространственный образ черпает свою принудительную силу из различия в «энергетическом потенциале» точек, соответствующих разным ящикам комода. В данном случае у верхней точки более высокий потенциал. Но легко представить себе образ, где нижняя точка окажется сильнее: вспомним хотя бы марксистскую метафору базиса и надстройки, где экономика из своего подвала «руководит, управляет и повелевает всем». Конфигурации точек и их динамические взаимоотношения могут быть самыми различными, но это не отменяет принудительной силы пространственных образов по отношению к мышлению. Именно отсюда и происходит суггестивность метафоры Люсьена Февра.

В самом деле, нам не кажется странным, что из одного ящика можно управлять другим. Конечно, читая Февра, мы не думаем, что это авторы «Истории России» воображали себе комод. Нам понятно, что метафору изобрел Февр, чтобы осмеять их логику. Но если метафора достигает цели, то не потому ли, что она схватывает нечто важное в этой логике, что она предъявляет ее нам в узнаваемом виде, позволяя мобилизовать нашу собственную способность воображения? Иначе говоря, мы не смогли бы получить метафорическое послание Февра, если бы сами не имели опыта подобных принуждений мысли, если бы не испытывали влияние пространственных паралогик на наше собственное мышление.

В приведенном примере влияние парапространственной логики испытала тройственная операция мысли. Именно, речь идет об идентификации целостностей (групп исторических фактов), репрезентации некоторой группы целостностей как системы и наделении системы той или иной логикой функционирования. Подчеркнем, что это — триединая операция, ибо идентификация целостностей как раз и происходит в рамках определенным образом функционирующей системы. Излишне под-

¹⁴ Ср. анализ принудительных сил визуального пространства у Ф. Сен-Мартен: «Визуальное поле определяется как силовое поле, где данные энергии производят особые эффекты, приводящие к возникновению различных типов пространств» (Saint-Martin F. *Semiotics of Visual Language*. Bloomington; Indianapolis: Indiana U. P., 1990. P. 65). Речь здесь идет о фиксируемых глазом особенностях специфически визуального поля, провоцирующих определенное напряжение сетчатки. Но аналогия с пространственным медиумом мысли — при всех различиях «визуального говорящего» и пространственного визионера — очевидна.

черкивать значение этой операции для разума — в том числе и для ментальности историков. Мы уже имели возможность убедиться, что именно такая триединая операция дает рождение образам общества. В данной главе мы продолжим исследование ее роли в конструировании проблематики социальной истории, и прежде всего рассмотрим этапы и механизмы формирования пространственного образа истории. Возникновение и развитие социальной истории неотделимы от эволюции этого образа. Сложившийся в рамках позитивистской историографии, он сыграл решающую роль в формировании идентичности как истории в целом, так и отдельных ее областей, «частных историй». Именно поэтому при всем своем грубо упрощающем характере и несмотря на всю адресованную ему критику этот образ по сию пору остается имплицитным кадром исторических исследований. В его рамках сформировалась и та «узкая» концепция социального, которая определила проблематику социальной истории 1960-х гг. и сделала возможным спор о классах и сословиях.

Стратифицированный образ истории, однако, далеко не является ее единственным пространственным образом. Более того, он сформировался довольно поздно, и ему предшествовала череда других ментальных визуализаций, составляющих важнейший аспект меняющегося понятия истории. Последнее с самого своего возникновения было, по-видимому, связано с пространственным воображением, которое в значительной степени определило интеллектуальную возможность истории. Целый ряд исследователей исторической мысли подчеркивал связь между идеей истории и пространственным воображением. Из их наблюдений вырисовывается следующая картина.

Прежде всего, о роли пространственных паралогик в формировании современного понятия истории говорил Райнхарт Козеллек. С его точки зрения, это понятие, как и другие базовые понятия современного социального словаря, формируется в «переломное время» европейской истории, а именно — во второй половине XVIII—первой половине XIX в. Именно в эпоху Просвещения появляется, по выражению Козеллека, собирательное имя истории (*kollektiv-singular Geschichte*), иначе говоря, слово «история» начинает пониматься как имя собирательное, выражающее идею некоторой абстрактной сущности. Ранее преобладающей формой употребления этого слова в немецком языке было множественное число (*Geschichten* или *Historien*), причем обычно уточнялось, об

истории чего именно идет речь. Такое словоупотребление отражало, по Козеллеку, модель истории — учительницы жизни (*historia magistra vitae*), когда прошлое воспринималось как амальгама поучительных историй. Именно на смену этой модели приходит уже не требующее никаких уточнений понятие единственной в своем роде Истории, схватывающей как целостное единство прошлое, настоящее и будущее человечества¹⁵. Это понятие и имело тенденцию быть визуализированным. Ментальная визуализация позволяла помыслить историю как абстрактное целое, как собирательное понятие для входящих в нее эпизодов.

Однако при всей суггестивности своих размышлений Козеллек несколько преувеличивает контраст представлений об истории до и после «переломного времени». Идея истории как судьбы человечества, безусловно, старше XVIII в. Вспомним, например, христианскую концепцию истории, которая, в свою очередь, опиралась на некоторые традиции эллинистической и римской историографии¹⁶. По-видимому, интуиция созерцаемого извне целостного объекта была условием возникновения идеи истории и с самого момента ее рождения в Древней Греции неизменно сопутствует ей, иногда притупляясь и отступая на задний план, иногда же, напротив, властно направляя нашу мысль. Именно стремление возвыситься над повторяющимися, частными эпизодами и осознать их совокупность как значимое целое выражает самое имя истории. Если следовать Франсуа Артогу, историк для Геродота — это очевидец, *histor*, который «знает потому, что видел», причем видел не обычным человеческим зрением, но божественным взором Аполлона, охватывающим всю панораму дел человеческих, взором, который историк присваивает себе, называя свой труд историей¹⁷. Конечно, здесь речь может идти не более чем о первом проблеске идеи всеобщей истории¹⁸, но все же у ее истоков мы встречаем ту же интеллектуальную установку внешнего наблюдателя. Это, естественно, не значит, что образ

¹⁵ Koselleck R. *Historie/Geschichte // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Bd 2 / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Stuttgart: E. Klett, J. G. Cotta, 1972–1993. Bd 2. S. 647–717; Idem. *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. S. 38–66, 130–143.

¹⁶ Коллингвуд Р. Д. *Идея истории: Автобиография*. М.: Наука, 1980. С. 32–37.

¹⁷ Hartog F. *Le Miroir d'Hérodote: Essai sur la représentation de l'autre*. Paris: Gallimard, 1991. P. VIII, XIII.

глобальной истории всегда стоял перед глазами историков¹⁹. Скорее, периодически происходили его возвращения, вызываемые, в частности, чувством разрыва преемственности, начала новой эпохи, которое актуализировало проблему самолокализации во времени. Нечто подобное — с особой силой, но отнюдь не впервые — произошло в «переломное время».

Важнейшим из таких периодов до эпохи Просвещения был, конечно, Ренессанс. Неудивительно, что применительно к Возрождению исследователи также констатируют роль пространственного воображения для концептуализации истории. Так, Эрвин Панофски обратил внимание на то, что формирование в эпоху Возрождения трехчленной концепции истории, разделенной на древнюю, среднюю и новую, концепции, рожденной ощущением прихода нового времени и до сих пор остающейся основой нашего восприятия истории, было связано со способностью осознать исторические эпохи, и прежде всего — античность, как целостные феномены, как некоторые абстрактные объекты, основанные на системе внутренних взаимосвязей составляющих их элементов²⁰. Эту способность он поставил в связь с изобретением перспективы как базо-

¹⁸ Сегодня набросанная Геродотом панорама греко-персидских войн может показаться локальным эпизодом. Коллингвуд, например, подчеркивал «партикуляризм, который окрашивал всю (греческую. — Н. К.) историографию до Александра Великого» (Коллингвуд Р. Д. *Идея истории*. С. 32). Но самому отцу истории эти войны вполне могли представляться событием глобального масштаба, поскольку в них, с его точки зрения, проявилось противостояние греческого и варварского миров и, более того, конфликт двух типов времени — времени вечного возвращения и линейного исторического времени.

¹⁹ Видимо, между осознанием истории как целого и разложением ее на эпизоды — *exempla* всегда существовало определенное напряжение, и даже наличие всемирной истории как литературного жанра вовсе не свидетельствует об остроте переживания пространственного образа глобальной истории. Так, в средневековой историографии ощущение всеобщности судьбы человечества, логически подлежащее жанру всемирной истории, во многих формально принадлежащих к этому жанру произведениях ослабляется настолько, что они представляют собой лишь локальные хроники с крайне ограниченным кругозором, и только краткая преамбула напоминает об этой идее.

²⁰ Следует обратить внимание на тот факт, что периодизации истории, внешне подобные трехчленной схеме древней, средней и новой истории, получили распространение в историографии начиная с раннехристианского периода (например, схема шести возрастов человечества Августина или схема четырех империй Иеронима). Такие схемы стали возможными постольку, поскольку история представлялась как единый, причем наде-

вой символической формы современного искусства. По этому поводу Панофски пишет:

«Подобно тому, как средневековые были неспособны выработать современную систему перспективы, основанную на обнаружении фиксированной дистанции между глазом и объектом и позволяющую художнику создавать целостные и непротиворечивые образы видимых вещей, точно так же оно не могло выработать современную идею истории, основанную на обнаружении интеллектуальной дистанции между настоящим и прошлым и позволяющую историку создавать целостные и непротиворечивые понятия об ушедших эпохах»²¹.

Конечно, эпоха Возрождения была лишь началом той «визуальной революции», которая преобразовала интеллектуальную культуру нового времени. Апогей ее пришелся уже на XVII в., и именно тогда ее плоды в полной мере сказались на новых научных и социальных теориях, в том числе и на понимании истории. Панофски рассматривает рождение перспективы в ренессансной Италии как художественное предвосхищение концепции пространства и, шире, картины мира галилеевской науки и философии нового времени в целом, как эстетическое открытие, сделав-

ленный смыслом процесс, логику которого пытались передать с помощью периодизации. Неслучайно периодизации, подобные августиновской, приходят не смену хронологическим системам, основанным на фиксации логически слабо соотнесенных между собой индивидуальных событий (типа римской системы летоисчисления, отсылающей к годам консульства таких-то консулов). Однако, судя по всему, периодизациям раннехристианского периода и тем, которые получили распространение в раннее новое время, подлежали несколько различные механизмы. В первом случае речь шла о разложении целого на части, последовательность которых передавала смысл целого, во втором — о группировке частей в интеллигибельное целое. Иными словами, периодизации нового времени имели более непосредственное отношение к логике упорядочения, конструирования целого из предсуществующих элементов, тогда как раннехристианские периодизации не столько служили соотнесению между собой отдельных эпизодов (изложение которых вполне могло подчиняться чисто хронологическому принципу), сколько стремились указать на сверхсмысл истории как истории спасения.

²¹ Panofsky E. *Meaning in the Visual Arts*. Harmondsworth: Penguin Books, 1970. P. 78. Панофски, испытывавший сильное влияние неокантианской философии и рассматривавший искусство как конструирование, а не миметическое воспроизведение мира, видел в концепциях пространства важнейший источник интеллектуальных интуиций и систематически проводил параллели между концепциями пространства, господствовавшими в те или иные эпохи в изобразительных искусствах, и характерным для этих эпох стилем мысли. См., например: Panofsky E. *Gothic Architecture and Scholasticism*. New York, 1957.

шее возможным появление новых интеллектуальных форм²². Изобретение перспективы способствовало, в частности, и развитию исторического воображения особого типа. Оно повлияло прежде всего на формы тех образов, в которых проявилась работа «структурного воображения»²³. Язык таких образов — это язык «понятных», несущих в себе смысл пространственных конфигураций. Козеллек приводит многочисленные примеры «структурных» пространственных метафор, к которым, говоря об истории, охотно прибегали авторы XVII—XVIII вв., включая и знаменитую фразу Фенелона о том, что историк, желающий хорошо расположить материал своего повествования, должен уметь «единым взглядом охватить целое истории»²⁴. Именно соотнесение между собой в ментальном пространстве составных элементов повествования позволяет сконструировать «целое истории». Речь идет о пространстве внешнего наблюдателя, в котором упорядочиваются в интеллигибельное целое иначе рационально не соотносимые между собой элементы²⁵. Помысленная в пространстве история как бы течет перед нашим умственным взо-

²² Panofsky E. *La perspective comme forme symbolique*. Paris: Minuit, 1975.

²³ Это термин Коллингууда, который противопоставляет структурное воображение, организующее историческое повествование, орнаментальному воображению, которое служит лишь украшению его (Коллингууд Р. Дж. *Идея истории...* С. 230). Конечно, во все времена как историки, так и их читатели могли визуализировать, и визуализировали, отдельные сцены истории или ее героев. Насыщенные театральными метафорами названия исторических сочинений (типа «*Сцен истории*», «*Театра истории*» и т. д.), типичные для XVIII в. и отражающие характерную для эстетики классицизма мобилизацию зрительного опыта, отсылают к орнаментальному воображению. Историческая живопись позволяет представить, как могут выглядеть орнаментальные визуализации (и она же одновременно причащает нас к определенному их стилю). Для иллюстрированных хроник средневековья изображение отдельных сцен или персонажей было не менее свойственно, чем для учебников истории нового времени. Любопытно, что об основополагающей роли воображения в истории писал и Ш. Сеньобос, подчеркивавший, что исследователи в области социальных наук работают «не с реальными объектами, но с репрезентациями», с воображаемыми «людьми, объектами, поступками, мотивами». Из этого Сеньобос заключает: «Именно эти образы являются эмпирическим материалом (*matière pratique*) социальных наук. Именно эти образы мы анализируем» (Seignobos Ch. *La méthode historique appliquée aux sciences sociales*. Paris: F. Alcan, 1901. P. 118). Но характерно, что Сеньобос при всей радикальности своего утверждения имел в виду исключительно «образы фактов», но отнюдь не образы тех конфигураций, в рамках которых эти факты конституировались и наделялись смыслом.

²⁴ Koselleck R. *Vergangene Zukunft*. S. 188.

²⁵ Например, Л. Госман так характеризует эстетическую программу историографии века Просвещения: «Постоянные сравнения исторического повествования с живописью

ром, который тем самым выступает ее когнитивным условием, но вместе с тем неизбежно проецирует на нее свои собственные разрешающие возможности. Она дана и внятна нам постольку, поскольку упорядочена нами. Конституирование истории как абстрактного объекта, как интеллигибельного целого неразрывно связано с работой пространственного воображения. Актуализация этого воображения в XVII—XVIII вв. создала возможность становления в логически завершенной форме идеи истории. Именно напряженное ощущение пространственного образа, называемого этим именем, делало излишним уточнять, об истории чего идет речь. История была именем собственным этого образа.

Но парапространственное упорядочение позволило не только помыслить идею истории. Оно же позволило представить историю как структуру, основанную на взаимодействии различных «уровней» бытия. Пространственный образ истории как бы подсказывал такого рода задачи, поскольку он был идеальной формой репрезентации целого как состоящего из частей. Такими частями едва ли могли быть отдельные эпизоды, слишком многочисленные для того, чтобы образовать имеющую смысл конфигурацию. Мышление в пространстве несло в себе императив рубрикации. Помысленная в пространстве история должна была быть разделена на составные элементы. По-видимому, первоначально подобными элементами были исторические эпохи, представленные как «ансамбли» культурных форм. Постепенно наряду с ними стали появ-

и ссылки на правила построения перспективы, столь характерные для споров об истории в XVIII веке, ясно показывают цель, которую ставила перед собой историография эпохи неоклассицизма: преобразовать свойственную хроникам простую последовательность неважно связанных эпизодов таким же образом, каким мастера перспективы преобразовали живопись. Вместо того, чтобы быть поставленным в непосредственное отношение к предмету повествования, читатель, как и рассказчик, должен был помещаться на определенном расстоянии от него... Повествование должно было приобрести свойства картины, которая могла быть одновременно охвачена взглядом... Следя за разворачиванием событий, читатель должен был предвосхищать сюжет в целом... Выбрав правильную точку зрения, с которой надлежало «рассматривать» повествование, читатель... сможет правильно воспринять группировку фигур и отношение деталей к основным фигурам или действиям... Лишь такой читатель сможет понять произведение в целом, осознав порядок и иерархию его частей... Идеальный читатель XVIII века — это отстраненный философский наблюдатель..., который овладевает историей, сводя ее к порядку или теории» (Gossman L. *History and Literature: Reproduction or Signification // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding* / Ed. by R. H. Canary, H. Kozicki. Madison: The University of Wisconsin Press, 1978. P. 16–17).

ляться другие разделения, в том числе и спроецированная на прошлое оппозиция общества и государства. Анализируя взгляды Лоренца фон Штейна, в теории прусской конституции которого получило развитие гегелевское противопоставление государства и общества, Козеллек подчеркивает невозможность помыслить историю как стратифицированную структуру вне парапространственного кадра:

«Если история переживается как движение различных потоков (в данном случае — социального и политического. — Н. К.), взаимоотношения которых постоянно изменяются — интенсифицируются, окостеневают, ускоряются, — ее общее движение можно схватить только с некоторой сознательно избранной точки зрения»²⁶.

Распад истории на параллельные потоки, у каждого из которых могли быть свои ритмы движения (вспомним позднейшее утверждение Броделя о том, что «каждая социальная реальность порождает собственное время»²⁷), делал, таким образом, необходимой мобилизацию пространственных ресурсов мышления, в частности, фиксацию постоянной точки наблюдения, которая становится с тех пор условием *sine qua non* истории. Механизм, который имеет в виду Козеллек, в точности тот же, что и подразумевавшийся Фенелоном: парапространственное упорядочение выступает инструментом соотнесения между собой частей целого. Чем сложнее структура репрезентации, тем значительнее роль ментального пространства в ее формировании (впрочем, лишь до определенного предела сложности, точнее, до свойственного нам порога различения). Именно поэтому возникновение стратифицированного образа истории, весьма усложнившего традиционную «линейную» структуру исторического повествования, в решающей степени зависело от пространственного воображения.

Подчеркнем, что эта идея всеобщей истории отсылала к трехмерному пространству, доминировавшему в живописи XVIII в., но при этом непосредственно опиралась на его сокращенные формулы, и прежде всего — на его линейный и плоскостной парафразы. Как и время, текущее слева направо в системе декартовых координат, история в эпоху, увидевшую возникновение религии прогресса, представлялась прочерченной на плоскости перед нашими глазами линией. Ее образ принадлежал к той

²⁶ Koselleck R. *Vergangene Zukunft*. S. 92.

²⁷ Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. Paris: Flammarion, 1969. P. 119.

же культуре пространственного воображения, основанной на интуиции рационального линейного пространства с варьирующей мерностью, что и образ синтетической социальной иерархии, и неудивительно, что эти образы оказались тесно взаимосвязанными. Именно такая линия, «рас-слоившаяся» на несколько параллельных «частных» историй, взаимодействие между которыми должно было объяснять движение целого, послужила основой для возникновения стратифицированного образа истории.

Мобилизация пространственного воображения для усложнения нарративных структур — хорошо известный литературной критике феномен²⁸. Он исследован, в частности, на примере литературы модернизма, с помощью парапространственного упорядочения дискурса стремившейся отойти от доминировавших в традиционном романе структур линейного повествования. Нечто подобное такому усложнению в XIX в. происходило с историей. Связь между романом и историей как жанрами была многообразной²⁹. Порой они выступали альтернативами и самоопределялись по отношению друг к другу, но иногда развивались параллельно, и в рассматриваемом нами случае в усложнении структур повествования история шла впереди: роман всемирной истории был своего рода метароманом, складывавшимся из множества самостоятельных повествований, которые необходимо было организовать в единое целое, тогда как литература не ставила задачи сюжетного соотнесения между собой отдельных произведений.

История до XIX в. сообщала преимущественно о «деяниях» (*res gestae*), она была событийной, политической историей. Какие бы сюжетные конфигурации она ни принимала, основная масса входивших в нее фактов были фактами одного порядка. Однако уже в исторической мысли XVIII в. распространяется восходящая к Возрождению тенденция понимать историю как смену культурных эпох. Поначалу характеристики культуры и быта народов прошлого без труда умещались в

²⁸ Frank J. *Spatial Form in Modern Literature* // *The Widening Gyre: Crisis and Mastery in Modern Literature*. New Brunswick: Rutgers U. P., 1963. P. 3–62; *Spatial Form in Narrative* / Ed. by J. R. Smitten, A. Daghistany. Ithaca; London: Cornell U. P., 1981; Kermode F. *The sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction*. New York: Oxford U. P., 1967; Genette G. *Espace et langage* // *Figures I*. Paris: Seuil, 1966; Idem. *La littérature et l'espace* // *Figures II*. Paris: Seuil, 1969.

²⁹ Gossman L. *History and Literature...*

рамки рассказа о событиях их истории. Античные историки служили здесь примером, а характерный для просветителей жанр рассуждения благоприятствовал сочетанию элементов повествования и описания. Однако ощущение некоторой разнородности культурных и политических фактов присутствовало в сознании историков, и по мере становления обновленного жанра всеобщей истории распространялось обыкновение сопровождать рассказ об отдельных периодах краткими главками, дающими систематический обзор быта и нравов эпохи. И хотя вкрапление таких главок пока не нарушало плавного течения повествования, начало тематической рубрикации истории, когда для фактов разной природы выделялись соответствующие элементы структуры текста, было положено.

Если следовать Козеллеку, роль катализатора в процессе «расслоения» истории сыграло оформление оппозиции государства и общества, отчетливо зафиксировавшее представление о разных уровнях общественного бытия. Однако рубрикация истории развивалась из разных источников. Помимо только что упомянутых историко-культурных экскурсов, из которых во второй половине XIX в. вырастает самостоятельная история культуры³⁰, важный толчок в этом направлении дало становление в середине столетия экономической истории. Именно она, по-видимому, и может считаться первой выделившейся из всеобщей истории «частной историей», со своими собственными теориями, специальными научными исследованиями, а позднее — и своими журналами.

Такое опережающее развитие экономической истории неудивительно: ведь она опиралась на интеллектуальный опыт политической экономии, а эта последняя, как мы уже подчеркивали, была тогда едва ли не единственной вполне сложившейся «социальной наукой». Впрочем, «хозяйство», предмет как политической экономии, так и экономи-

³⁰ Haas S. *Historische Kulturforschung in Deutschland 1880–1930: Geschichtswissenschaft zwischen Synthese und Pluralität*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1994; Jaeger F. *Bürgerliche Modernisierungskrise und historische Sinnbildung: Kulturgeschichte bei Droysen. Burkhardt und Max Weber*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992; *Kultur und Kulturwissenschaften um 1900: Krise der Moderne und Glaube an die Wissenschaft* / Hrsg. von R. vom Bruch, F. W. Graf, G. Hübing. Stuttgart: F. Steiner, 1989; Kelley D. R. *The Old Cultural History // History of the Human Sciences*. 1996. Vol. 9. № 3. P. 101–126. Несомненным стимулом для оформления истории культуры, прежде всего в Германии, были культурный пессимизм и критика модерности.

ческой истории, понималось в XIX в. не столько как заключенное в формулы движение финансовых и товарных потоков (каким оно является для сегодняшней экономики, фактически превратившейся в область прикладной математики), сколько как подлежащие качественно-му анализу отношения людей по поводу производства. Иными словами, автономия экономического, помысленного как система количественных отношений, не получила еще современного развития. Скорее, экономическое и социальное (или, точнее, один из полюсов социального) сливались тогда в рамках социально-экономического. Неудивительно, что экономическую историю, в недрах которой начинали формироваться элементы истории социальной и которая изучала не только формы хозяйства, но и формы организации общества, в XIX в. часто называли историей социально-экономической, и это название надолго закрепилося в профессиональной памяти: даже социальную историю 1960-х гг., насквозь пронизанную пафосом автономии социального, часто называли социально-экономической историей. И хозяйственные, и социальные формы историки XIX в. нередко рассматривали сквозь призму истории права и учреждений, но во второй половине столетия эта последняя стала формироваться и как самостоятельное направление исследований, как особая «частная история», предметом которой были прежде всего государственные учреждения. Иными словами, к концу столетия в основных чертах сложилась близкая к современной рубрикация истории.

Социальная история возникла, наверное, последней из частных историй. Характерно, что когда мы сегодня говорим о социальной истории применительно к XIX или даже к началу XX в., мы имеем в виду прежде всего Мишле, Лампрехта или Робинсона, т. е. социальных историков в весьма широком смысле слова³¹. Подобно тому, как зарождающаяся социология в XIX в. претендовала на положение универсальной науки об обществе, социальная история в таком понимании была скорее подходом ко всеобщей истории, нежели одной из частных историй. Во французской традиции такое понимание истории, в значительной мере предвосхитившее программу дюркгеймовской социологии, было представлено прежде всего крупнейшим историком Н.-Д. Фюстелем де Ку-

³¹ Burke P. *The French Historical Revolution: The Annales School, 1929–89*. Cambridge: Polity Press, 1990. P. 8–9.

ланжем³². Тем не менее происходило постепенное вычленение проблем истории социальной стратификации как основы «частной» социальной истории³³, и, вероятно, не последним по важности фактором ее формирования была подлежащая заполнению ячейка, в значительной мере авансом, за счет общей логики схемы, отведенная ей в стратифицированном образе истории. В итоге к концу XIX в. понята в узком смысле социальная история занимает свое место в таксономии исторических сюжетов наряду с историей политической, экономической и культурной³⁴.

³² Характерно, что Фюстель резко протестовал против претензий социологии на роль теоретической науки об обществе, заимствующей у истории фактический материал, говоря, что настоящая история и есть социология (Hartog F. *Le XIXe siècle et l'histoire: Le cas Fustel de Coulanges*. Paris: Presses Universitaires de France, 1988). Это предвосхищало будущую полемику Симиана и Сеньобоса, непримиримый тон которой в гораздо большей степени был следствием соперничества дисциплин, нежели принципиальных расхождений во взглядах (Mucchielli L. *La découverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870–1914)*. Paris: La Découverte, 1998. P. 420, 425. Ср.: Ribérioux M. *Le débat de 1903: historiens et sociologues // Au berceau des «Annales» / Pub. par Ch. O. Carbonnel, G. Livet*. Toulouse: I. E. P., 1983. P. 219–230). О роли Фюстеля для социологии Дюркгейма см.: Lukes S. *Emile Durkheim: His Life and Works*. Stanford: Stanford U. P., 1985. P. 61.

³³ Материалы по истории социальных структур накапливались в работах по смежным проблемам (прежде всего, по экономической истории, но также и по истории права и государственных учреждений, иногда включавших, например, данные об «административном персонале»). В конце столетия стали появляться и первые специальные исследования отдельных социальных групп, которые предвосхищали будущую историю общества «в собственном смысле». Любопытно, что одним из важнейших мест накопления этого материала были многочисленные в XIX в. генеалогические и просопографические словари, остававшиеся, однако, маргинальным историографическим жанром, поскольку в большинстве своем были делом эрудитов-любителей и местных антикваров, т. е. группы, отличной от складывающейся среды профессиональных историков и не разделявшей приверженности к вырабатываемым этой средой исследовательским приемам, критериям иерархии фактов и т. д. За редкими исключениями «профессиональная» социальная история до 1950-х гг. не обращалась к этим работам, и в ее проблематике лишь косвенно отражался порождаемый ими интеллектуальный опыт множества.

³⁴ Рубрикация истории своеобразно проявлялась в преимущественно «классификационном» историографическом жанре — публикации источников. При публикации рубрики имели особое значение, поскольку здесь было невозможным установление связей между фактами с помощью повествования. Естественно, что в разных публикациях использовались самые различные типы рубрикации. Так, например, для публикации административной переписки наряду с хронологическим (см., например: *Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces*. Vol. 1–3 / Pub. par

Итог развития стратифицированного образа истории был подведен в книге, обобщившей практику позитивистской историографии XIX в., — во «Введении в изучение истории» Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса³⁵. Вполне консервативный даже по меркам конца прошлого столетия³⁶, этот текст содержит описание рубрикации истории, какой она сложилась в эмпирических исследованиях. Ланглуа и Сеньобос перечисляют три способа «группировки исторических фактов» — по их «времени, месту и природе». Последний они считают главным и предлагают схему из следующих шести элементов: материальные условия (историко-географические и демографические факты), интеллектуальные устои (язык, религия, искусство, наука), материальные обычаи (то, что после Броделя называют материальной цивилизацией), экономические обычаи (производство, торговля), социальные институты (семья, социальные классы) и публичные институты (государственные учреждения, право). Из этих шести рубрик вторую и третью (т. е. духовную и материальную культуру) они считают желательными, но необязательными элементами исторического исследования. Эта схема из четырех уровней заставляет вспомнить февровскую «систему комода» (если изгнать географические условия — к слову сказать, столь дорогие Февру — и вернуть духовную культуру, сходство становится совершенным). С небольшими вариациями такой и была доминирующая модель,

A. M. de Boislisle. Paris, 1874–1876) иногда применяли и тематический принцип (*Lettres, instructions et mémoires de Colbert*. Vol. 1–8 / Pub. par P. Clement. Paris, 1861–1882). Роль этого жанра для позитивистской историографии невозможно переоценить. Конечно, мнение Ш.-В. Ланглуа о том, что совершенное историческое исследование — это публикация источника (Keylor W. R. *Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1975. P. 178), отражало крайнюю позицию, но отождествление сообщения источника с историческим фактом было достаточно распространено. Рубрикация источников поэтому и была самым непосредственным проявлением рубрикации исторических фактов.

³⁵ Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. *Introduction aux études historiques*. Paris: Hachette, 1897. P. 200–203.

³⁶ Конечно, наиболее консервативным историкам всякая теория (включая методологический курс Ланглуа и Сеньобоса в Сорбонне) казалась избыточной (Keylor W. R. *Academy and Community*. P. 137), но, как показал Л. Мюкьелли, большинство французских историков начала столетия рассматривало книгу Ланглуа и Сеньобоса как устаревшую и было готово бросить им упреки, аналогичные тем, которые позднее бросили Блок и Февр (Mucchielli L. *Une relecture de Langlois et Seignobos // Espaces Temps*. 1995. № 59–61. P. 130–136).

положенная, в частности, в основу «Истории Франции» Эрнеста Лависса — канонического текста, ставшего символом республиканской истории и исторической профессии во Франции¹⁷.

Рассмотрим к примеру три тома «Истории» Лависса, посвященные XVI—XVII вв.¹⁸ Пятый том (тот самый «Шестнадцатый век» Анри Лемонье, по поводу которого иронизировал Люсьен Февр) посвящен периоду 1492—1559 гг. и включает следующие разделы: «Итальянские войны», «Франция в период Итальянских войн» (главы «Политика Карла VIII и Людовика XII» и «Начало Французского Возрождения»), «Политика Франциска I» (главы «Король и его окружение» и «Монархическая система»), «Социальная эволюция» (главы «Дворянство и чиновничество», «Клир», «Буржуа и ротюрье» и «Экономическое положение»), «Интеллектуальная эволюция», «Религиозная эволюция», «Борьба между Франциском I и Карлом V», «Политика Генриха II», «Французский кальвинизм», «Возникновение духа классицизма во Франции», «Люди и творения» (имеются в виду произведения литературы и искусства). Шестой том, написанный Жаном Марьежомом, охватывает период с 1559 по 1643 г. и включает книги: «Начало религи-

¹⁷ Эта рубрикация с небольшими вариантами воспроизводится и сегодня — например, библиотечными каталогами или официальными отчетами — и составляет основу традиционного «образа историографии». Так, опубликованный Национальным центром научных исследований в 1980 г. доклад о состоянии исторических исследований во Франции в разных разделах воспроизводит следующие рубрикации: история политическая, экономическая, социальная, ментальностей, религиозная, международных отношений. Или: политическая, права и учреждений, экономическая и социальная, церкви, цивилизации, искусства. Или: права и учреждений, экономическая, социальная, религиозная, культуры, колонизации. Или: политическая, военная, экономическая, социальная, религиозная. См.: *La Recherche Historique en France depuis 1965*. Paris: C. N. R. S., 1980. Более или менее сходные рубрикации используют и другие историографические обзоры. Характерно, что все эти списки постоянно колеблются между двумя логическими моделями: стабильный набор базовых категорий отсылает к стратифицированному образу истории, т. е. к исчерпывающей закрытой таксономии, тогда как периодическое появление меняющихся и явно второстепенных рубрик заставляет думать о модели открытого списка. В этом последнем случае из суммы категорий гораздо менее очевидно вырисовывается интеллигибельное целое, зато гораздо ближе оказывается «измельченная история».

¹⁸ Lavissee E. *Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution*. Vol. 5—7. Paris: Hachette, 1911. О роли этого коллективного труда в истории французской историографии см.: Nora P. *L'Histoire de France de Lavissee // Les lieux de mémoire / Pub. par P. Nora*. Paris: Callimard, 1984—1993. Vol. 2. Livre 1. P. 317—375.

озных войн», «Религиозные войны при Карле IX», «Царствование Генриха III», «Генрих IV», «Политика Генриха IV» (главы «Итоги религиозных войн», «Восстановление королевской власти», «Сюлли», «Производство материальных благ», «Интеллектуальное и моральное положение», «Генрих IV и внешняя политика», «Смерть Генриха IV»), «Мария Медичи и Людовик XIII», «Министерство Ришелье» (наряду с главами по политической истории включает главы «Армия и флот», «Политические идеи и государственная политика Ришелье», «Ришелье и церковь», «Дворянство, парламенты и провинциальные штаты», «Администрация Ришелье», «Литература и искусство при Генрихе IV и Людовике XIII»). Наконец, седьмой том, написанный самим Эрнестом Лависсом, посвящен времени между 1643 и 1685 гг. и состоит из следующих разделов: «Период Мазарини», «Приход к власти Людовика XIV», «Экономическая политика» (главы «Финансы», «Производство», «Торговля и колонии»), «Политика в области государственного управления», «Управление обществом» (главы «Ремесленники и крестьяне», «Сословие чиновников», «Дворянство», «Клир»), «Религиозная политика», «Культурная политика», «Внешняя политика», «Конец периода».

Какие выводы следуют из такой структуры текста? Прежде всего, конечно, мы видим господство политической, событийной истории, которая служит организующей нитью повествования в целом и с точки зрения которой нередко рассматривается материал социальной, экономической или культурной истории (характерны названия ряда разделов: не «Общество», но «Управление обществом» и т. д.). Более того, только политическая история рассказывается подряд, как непрерывная серия событий. Все прочие частные истории появляются в «Истории» Лависса лишь более или менее частым пунктиром, как если бы, например, в годы Религиозных войн или в период между правлениями Генриха IV и Людовика XIV в экономике, социальной сфере или культуре не происходило никаких серьезных перемен, достойных большего, нежели беглое упоминание в других разделах. Иными словами, экономическая или социальная жизнь описываются только применительно к периодам относительной политической стабильности и, конечно, не случайно, что тогда они рассматриваются с точки зрения политики сильной государственной власти, как если бы у них самих не было независимых от нее источников движения. Но дело не только в этом.

Создается впечатление, что авторы «Истории Франции» просто не знали, как совместить описание структур с рассказом о событиях. Только тогда, когда события останавливаются или хотя бы замедляют свою калейдоскопическую смену, историки обретают способность на время отвлечься от развития интриги и посмотреть, как выглядела та сцена, на которой действовали их герои. Следы той практики истории, когда отдельные главки о быте и нравах вкрапливались в рассказ о событиях, отчетливо видны в этой организации текста. История еще не в полной мере превратилась в параллельное движение непрерывных потоков, каким она представлялась воображению Броделя. По-видимому, для того, чтобы это произошло, было необходимо изгнать из истории рассказ о событиях³⁹. И тем не менее все основные частные истории, названные Ланглуа и Сеньобосом, в полной мере присутствуют в «Истории» Лависса — история «организации общества», «экономических явлений», культуры (из которой периодически в самостоятельную рубрику выделяется история религии и церкви — но не забудем, что речь идет об эпохе Реформации и Религиозных войн) и, конечно же, история государства, которое «с высоты ящика номер один руководит, управляет и повелевает всем». В февровской метафоре старого комода узнаваемы, следовательно, не только наши ментальные механизмы, но и реальная практика критикуемой им позитивистской историографии.

Для того чтобы в полной мере оценить значение рубрикации истории, следует учесть ее когнитивные и социальные функции. В самом деле, если любая группировка исторических фактов условна, то почему из-за «границ», будь то хронологические или предметные, между «отделами» истории столь часто возникают споры, и столь значительные⁴⁰?

³⁹ Иными словами, для окончательного формирования «частных» историй был необходим отказ от политической истории как организующего начала истории. Не в этом ли одна из причин агрессивного неприятия «Анналами» событийной истории?

⁴⁰ Таковы, например, все споры о периодизации истории, включая и длительную полемику о роли Французской революции в становлении современного общества. Но таковы же и многие споры, основанные на стремлении «частных историй» к экспликативной автономии, например, споры советских историков 1960-х гг., связанные со становлением истории культуры, безусловно, находящие параллель в становлении «истории ментальностей» во французской историографии (Kopossov N. *Dos au vent*. P. 228–229).

Остановимся сначала на когнитивных функциях стратифицированного образа истории и вспомним прежде всего идейную программу позитивистской историографии в целом и, более конкретно, некоторые логические проблемы, с которыми она имела дело (и с которыми — подчеркнем это — до сих пор имеет дело историческая наука). Как известно, позитивистская историография стремилась к открытию законов истории⁴¹. Что, однако, понимать под законом? Обычно под законом подразумевается установление причинно-следственных связей между фактами, а тем самым — и объяснение этих фактов. Однако выведение такого закона предполагает выполненной другую операцию, которая кажется логически предшествующей, — установление подлежащих объяснению фактов, фактов-следствий, которые и соотносятся в процессе объяснения с фактами-причинами (они, естественно, тоже должны быть предварительно установлены). При этом предполагается, что речь в обоих случаях идет не об отдельных фактах, но о категориях фактов. Даже если в истории объяснению обычно подлежат отдельные события, в той мере, в какой они объясняются с помощью законов, они выступают как члены категорий. Ведь закон — нечто, обладающее регулярностью, когда определенные причины всегда производят определенные следствия. Иными словами, речь идет о повторяющихся связях между повторяющимися фактами, так что регулярность относится не только к связям, но и к фактам.

Следовательно, установление законов неразрывно связано с классификацией⁴². Но тогда возникает вопрос об относительной независимости повторяемости фактов от повторяемости связей, иначе говоря — о независимости классификации от открытия законов. Входит ли установление повторяемости фактов в открытие закона? Мыслимы ли регулярные факты вне регулярных связей и если да, то какая операция позволяет устанавливать регулярность фактов? Из знаменитой формулы

⁴¹ См., например: Бокль Г. Т. *История цивилизации в Англии*. СПб., 1906. С. 1–15.

⁴² Ср. теорию коллигации в истории, согласно которой имеется особый этап трансформации исторических данных в интеллигибельные концепции, который до известной степени уже является объяснением и поэтому делает ненужными дальнейшие объяснения (Walsh W. H. *The Intelligibility of History // Philosophy*. 1942. Vol. 17. P. 128–143; Idem. *Introduction to the Philosophy of History*. London: Hutchinson, 1951. P. 23–24, 59–64).

Ипполита Тэна — «после сбора фактов — поиск причин» (*après la collection des faits, la recherche des causes*) — совершенно выпадает систематизация фактов, не связанная с открытием законов⁴³. Следует ли думать, что позитивисты представляли себе открытие законов на основе хаотической массы фактов? Тогда выведение закона означало и группировку фактов, и установление причинно-следственных связей между ними.

Применительно к естественным наукам, которые позитивисты принимали за образец, этот вопрос стоял гораздо менее остро, чем применительно к истории, поскольку естественнонаучный факт как бы имманентно содержит в себе категорию. В таком случае сбор фактов включает в себя их классификацию. Что касается наук об обществе, то применение к ним двухступенчатой позитивистской схемы оставляло несомненную лакуну, поскольку нам гораздо труднее абстрагироваться от индивидуальных аспектов «дел человеческих». Однако довольно долго эта лакуна не была замечена — даже тогда, когда противопоставление повторяющихся естественнонаучных фактов и уникальных явлений, изучаемых науками о человеке, стало общим местом.

Можно указать на некоторые психологические механизмы, делавшие эту лакуну менее заметной. Во-первых, идет ли речь о классификации фактов или об открытии законов, в обоих случаях предполагается индуктивная процедура. Ведь законы эмпирических наук — по необходимости индуктивные законы. Формальное сходство процедур способно создать иллюзию тождества описываемых с их помощью явлений. Во-вторых, в поле зрения наук о человеке индивидуальные факты попали уже в известной мере разнесенными по категориям. Таковыми были, конечно же, категории языка. Даже если имена истории никогда не бывают совершенными нарицательными именами⁴⁴, использование нарицательных имен как элементов имен собственных, имен отдельных ис-

⁴³ Разумеется, одной из причин невнимания к проблеме систематизации было то, что понимание причинности как действия законов, где одна серия фактов определяет другую, применительно к истории постоянно смешивалось с образом индивидуальных фактов, организованных в хронологически упорядоченные цепочки причинно-следственных отношений. См. также: Carbonell Ch.-O. *Histoire et historiens: Une mutation idéologique des historiens français, 1865–1885*. Toulouse: Privat, 1876. P. 301.

⁴⁴ Passeron J.-C. *Le raisonnement sociologique: L'espace non-popperien du raisonnement naturel*. Paris: Nathan, 1991. P. 60–61.

торических событий, вводит категории в состав значения собственных имен, создавая иллюзию упорядоченности мира.

Следует также учесть, что жесткое разведение сбора фактов и открытия законов является, конечно же, упрощением. С точки зрения позитивистов, факты предстают независимыми и от нашего сознания, и друг от друга, атомарными, изолированными сущностями. Напротив, сегодняшние теории классификации подводят к выводу, что такого рода «чистая индукция» есть абстракция и что наш разум, устанавливая факты, одновременно осуществляет предварительную интерпретацию их, т. е. воспринимает их уже как принадлежащие к тем или иным категориям. Разум руководствуется при этом некоторыми общими представлениями о мире, о месте в нем устанавливаемых фактов, об их взаимосвязи с другими фактами и т. д.⁴⁵ Иными словами, факты устанавливаются в рамках некоторой системы, наделенной определенной логикой функционирования. Это означает, что классификация включает элемент объяснения. В частности, частью значения категории может быть регулярность тех или иных взаимоотношений ее членов с членами других категорий. В этом смысле, если считать подлежащую объяснению группу фактов логическим субъектом, а закон предикатом, то их отношение выразимо в лейбницовской формуле «предикат содержится в субъекте» (*predicatum inest subjecto*). Речь здесь, следовательно, может идти лишь о степени эксплицирования логики системы, в рамках которой происходит классификация. Но в таком случае психологически вполне понятно, почему позитивисты не задавались вопросом об особой процедуре группировки фактов, отличной от установления законов. Эти две процедуры достаточно взаимосвязаны в мысли для того, чтобы их логическая неразведенность не казалась нонсенсом⁴⁶.

Не забудем также и некоторых особенностей мысли XIX в. по сравнению с современной. Сегодня тематизация мира в общих понятиях,

⁴⁵ Murphy G. L., Medin D. L. The Role of Theories in Conceptual Coherence // *Psychological Review*. 1985. Vol. 92. № 3. P. 289–316; Medin D. L. Concepts and Conceptual Structure // *American Psychologist*. 1989. Vol. 44. № 12. P. 1469–1481.

⁴⁶ Ср. анализ М. Мандельбаумом функционирования идеи причинности в исторических объяснениях, когда иногда оказывается, что, например, причина и следствие могут восприниматься не как разные факты, а как аспекты одного факта (Mandelbaum M. *The Anatomy of Historical Knowledge*. Baltimore; London: The John Hopkins University Press, 1977. P. 75, 109).

в терминах предметов наук стала для нас привычной данностью. Напротив, в XIX в. такая тематизация мира была еще завоеванием, которое предстояло совершить. Сегодняшние исследователи обращают внимание на почти маниакальную тягу мыслителей XIX в. к классификации наук, иными словами, к систематизации мира как предмета науки, к созданию целостной картины соотнесенных между собой форм бытия⁴⁷. Открытие законов вписывалось в это гигантское движение систематизации, называния, выведения мира из хаоса вещей, освободившихся от власти старых слов, осознания его в абстрактных понятиях нового типа. Открытие законов было тогда гораздо более широким открытием регулярностей мира, в котором классификационные задачи и задачи причинно-следственного объяснения не могли быть разведены между собой. Еще точнее — открытие регулярностей с особой легкостью подменяло открытие законов, с тем большей легкостью, что такого рода синкретическое понимание открытия законов было, как мы видели, и более психологически реалистичным, нежели последовательно аналитическое разделение классификации и объяснения.

С учетом изложенных соображений становится понятнее когнитивная роль рубрикации истории. Она была попыткой, вполне в духе времени, упорядочить добываемые историками факты, но вместе с тем и попыткой дать этим фактам первоначальное объяснение. Названные и разнесенные по рубрикам факты уже не были подлежащим объяснению сырым материалом. Имя и место в образе истории сообщали им минимальную интеллигибельность. Конечно, в теории позитивисты понимали задачу объяснения истории как эксплицитное формулирование законов, но в историографической практике нередко достаточным объяснением факта была его «квалификация», способное придать ему смысл классификационное суждение о нем. Понятно, что такая роль классификации была возможна ровно в той мере, в какой система категорий имплицитно наделялась определенной логикой функционирования. Только в таком случае назвать факт и поместить его в ту или иную рубрику могло означать приписать ему некоторые гипотетические отношения с фактами других категорий. Последние далеко не обязательно должны были фор-

⁴⁷ Dolby R. G. A. *Classification of the Sciences: The Nineteenth-Century Tradition // Classifications in Their Social Context / Ed. by R. F. Ellen, D. Reason. London; New York; San-Francisco, 1979. P. 167–193.*

мально идентифицироваться в качестве причин. Было вполне достаточно, если рубрикация отсылала к невыказанной экспликативной модели, к некоторому образу, который мы отвергли бы в качестве формулировки исторического закона, но которым мы вполне могли довольствоваться на уровне обыденного понимания связи вещей.

Именно такую роль играл стратифицированный образ истории. Та или иная интерпретация взаимоотношений между его различными «уровнями» обычно составляла основу экспликативных моделей, придающих смысл историческому процессу, — то ли политика из верхнего ящика комода, то ли экономика из своего «базиса» определяла движение всеобщей истории. Иными словами, движение объяснялось из разницы в динамическом потенциале отдельных элементов этого образа. Социальная история, когда принадлежность человека к группам считалась детерминирующей все его поведение, конечно же, была лишь одной из версий такого объяснения, но, как и другие, она коренилась в том же воображаемом мире. Связывая рубрики в схему, логика функционирования которой подсказывалась пространственным образом, позитивистская историография могла позволить себе отказаться от второй части программы Тэна (после сбора фактов — открытие законов). Это последнее оказывается не таким уж обязательным, если в нашем распоряжении имеется стратифицированный образ истории. Функция упорядочения, а имплицитно и функция объяснения, уже выполнена в тот момент, когда мы разнесли факты по рубрикам⁴⁸. Рубрикация выступает по меньшей мере столь же важным когнитивным инструментом истории, как нарративная форма, о которой в последние десятилетия так много говорится⁴⁹.

Однако рубрикация истории не просто делает исторические факты элементарно интеллигибельными: она конституирует их. Следует оценить все следствия такого положения дел. Минимальное значение

⁴⁸ Ср. аналогичную оценку когнитивной роли периодизации истории А. Простом: «Периодизация... делает историю если и не интеллигибельной, то уже по крайней мере мыслимой» (Prost A. *Douze leçons sur l'histoire*. Paris: Seuil, 1996. P. 115).

⁴⁹ Поэтому напрасна ирония Коллингвуда, противопоставлявшего энтузиазм, с которым «историки включились в первую часть позитивистской программы» (т. е. приступили к сбору фактов), их неловкости по поводу собственной неготовности перейти ко второй части, т. е. к открытию законов (Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории*. С. 122–123).

является элементом бытия факта. Но если факт не существует для нас вне минимального значения, то же самое относится и к реальности в целом, которая невозможна вне системы категорий, в которых мы ее представляем. Не просто исторический факт обычно не может быть установлен без первоначального придания ему смысла с помощью предварительного классификационного суждения, но и история не может существовать вне некоторой организующей связи, столь же имплицитно присутствующей в ее фактах. Наделение факта, и истории в целом, значением есть момент проецирования структур разума на прошлое, иными словами — конституирования исторической реальности. Поэтому рубрикация истории, равно как и ее репрезентация в пространственном образе, является не просто интерпретацией, но конституированием истории.

В этой связи характерна критика стратифицированного образа истории как грубого упрощения. Так, Дж. Хекстер писал:

«Для собственного удобства мы разделяем область человеческого опыта на более или менее пригодные к употреблению рубрики — социальную, экономическую, политическую — и затем приобретаем обыкновение воспринимать наши классификационные инструменты как реальности, как сущности, противопоставляя их друг другу и даже высказывая предположения об их сравнительной важности. Мы забываем, что их значение определяется количеством конкретных вещей, которые мы сами, часто произвольно, решаем отнести к этим рубрикам»⁵⁰.

Это рассуждение замечательно тем чувством хозяина, которое историк испытывает по отношению к своим интеллектуальным инструментам, как если бы в его власти было совершенно изменить их, как если бы, например, мы могли писать историю, не реифицируя собственные ментальные категории⁵¹. Но ведь реальность для нас именно и конституируется в процессе реификации категорий, так что мы в лучшем случае можем только выбирать, какие категории реифицировать. Впрочем, даже и

⁵⁰ Hexter J. H. Fernand Braudel and the Monde Braudélien // *On Historians*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1979. P. 138.

⁵¹ Уже Симиан подчеркивал необходимость пользоваться общими понятиями, не приписывая им онтологического статуса, относиться к ним как к инструментам нашего разума, и полагал, что страх историков перед общими понятиями как раз и приводит к реификации этих последних (Simiand F. *Méthode historique et science sociale* // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1960. Vol. 15. № 1. P. 90).

здесь наше право выбора сильнейшим образом ограничено, поскольку свойственные нам когнитивные стандарты обычно требуют реификации определенного типа категорий. Так вот, именно структуры стратифицированного образа истории «ответственны» за важнейшие черты нашего чувства исторической реальности. История «предфигурирована» для нас в этом образе, он служит для нас залогом ее реальности, его мы чувствуем тем внутренним чувством, которым мы отличаем реальное от нереального. Иными словами, именно этот образ мы проецируем на некоторый абстрактный план сознания, который называем реальностью⁵². Неудивительно, что когда историки в 1980-е гг. слишком далеко зашли в стремлении избавиться от реифицируемых категорий, результатом стало «исчезновение прошлого», которое не удавалось помыслить вне категорий, отвечавших привычным когнитивным стандартам.

Вполне естественно, что конституирование этой реальности происходит с учетом разрешающих способностей нашего разума и в свойственных ему формах. Категории, в которых мы конструируем историческую реальность, не произвольны прежде всего как выражение некоторых когнитивных ограничений нашего разума.

Поясним это на самом общем примере. Какая бывает история? Древняя, средневековая, новая и новейшая. Или: первобытного, рабовладельческого, феодального и капиталистического общества (по всей вероятности, список можно не продолжать). Или: экономическая, социальная, политическая и культурная. Историческая протяженность бывает длительной, средней или краткой (Бродель, естественно, отмечал, что протяженностей на самом деле множество⁵³, но работал все же с тремя). Такими же бывают экономические циклы. Общество состоит из духовенства, дворянства и третьего сословия, или из дворянства, крестьянства, буржуазии и пролетариата, или из высшего, среднего и низшего классов. Во всех этих примерах число составляющих целое элементов не превышает 3–4. Самые дробные из известных нам социальных классификаций не превышают 7–9 элементов. Если же элементов оказывает-

⁵² Конечно, кроме заложенных в этом образе структурных черт в наше построение реальности входит много других факторов, и прежде всего — некоторая тактильная интуиция, некоторое ощущение плотности мира, и нам предстоит проследить в дальнейшем влияние изменений в этой интуиции на эволюцию понятия «социальное».

⁵³ Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. P. 112.

ся больше, они неизбежно объединяются в несколько категорий более высокого порядка⁵⁴.

Но почему историки (и не только они) всегда работают с ограниченным (и всегда на примерно одном и том же уровне) количеством категорий, на которые разлагается то или иное целое? Конечно, не потому, что история на самом деле была древней, средневековой, новой и новейшей, а общество состоит из высшего, среднего и низшего классов. Скорее, существует определенный порог различения, свойственный нашему когнитивному аппарату, определенный интеллектуальный стандарт, форма разума, схема, априори, гештальт или что-нибудь в этом роде, что налагает ограничения на нашу способность представить себе историю, общество или иные абстрактные объекты. Психологам известны такого

⁵⁴ Runciman W. G. *How Many Classes Are There in Contemporary British Society?* // *Sociology*. 1990. Vol. 24. № 3. P. 377–396; Desrosières A., Thévenot L. *Les catégories socio-professionnelles*. Paris: La Découverte, 1988. P. 68. Респонденты современных социологических опросов выделяют в современном обществе от 2 до 11 групп (Сохон А. Р. М., Davies P. M., Johns C. L. *Images of Social Stratification: Occupational Structures and Class*. London; Beverly Hills: Sage Publications, 1986. P. 76), но последнее редкость, кроме того, здесь может вмешиваться механизм открытого списка. Респонденты Э. Ботт в зависимости от типа их видения общества выделяли в разных случаях от 2–3 до 4–8 категорий (Bott E. *Family and Social Network: Roles, Norms and External Relationships in Ordinary Urban Families*. London, 1971. P. 175–178). Историки используют приблизительно такие же классификации. Выше мы подробно проанализировали одну из них — классификацию А. Д. Люблинской (см. гл. 1). Детальный анализ французского общества XVII в. приводит Р. Мунье к необходимости выделить 9 «страт» (Mousnier R. *Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles: L'échantillon de 1634, 1635, 1636*. Paris: A. Pedone, 1975). Но даже сконструировав столь детальные схемы, историки, как мы отмечали выше (гл. 1), обычно забывают о них, едва от описания переходят к повествованию. Характерно с этой точки зрения замечание А. Д. Люблинской в другой ее работе: историк Старого порядка чрезвычайно трудно анализировать классовую борьбу, поскольку участвовали в ней не два, а целых четыре класса (Люблинская А. Д. *Франция при Ришелье*. Л.: Наука, 1982. С. 217–218). В текстах XVII–XVIII вв. мы встречаемся с таким же «порогом различения». Возьмем наиболее детальные из классификаций того времени. Шарль Луазо выделяет 9 светских и 8 или 9 духовных «подсословий», однако объединяет их в три сословия (Loyseau Ch. *Traicté des ordres et simples dignitez* // *Les oeuvres*. Paris, 1640. P. 1–2). Жан Дома выделял во французском обществе 9 групп (Domas J. *Les loix civiles dans leur ordre naturel*. Vol. 1. Paris, 1767. P. 73–74), Л.-С. Мерсье — 8 или 9 (Perrot J.-C. *Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle* // *Ordres et classes: Colloque d'histoire sociale (Saint-Cloud, 1967)* / Pub. par D. Rosch. Paris; La Haye: Mouton, 1973. P. 147).

рода ограничения⁵⁵. Не вдаваясь сейчас в обсуждение достаточно спорного вопроса о происхождении этих ограничений, отметим, что связь с ними некоторых формальных сторон понятийного аппарата нашей дисциплины не кажется невероятной. Совсем напротив, было бы странно, если бы исторические понятия не отражали некоторых особенностей нашего когнитивного аппарата.

Перейдем теперь от когнитивных к семиологическим функциям стратифицированного образа истории. Образ истории служил также образом исторической профессии. Он упорядочивал не только события прошлого — указывая каждому исследователю его законное место в общем труде⁵⁶, он структурировал профессиональное сообщество. По словам Д. Мило, «историки... мыслят себя в терминах областей и периодов (своих исследований. — Н. К.)»⁵⁷. Речь, конечно, идет далеко не только о мнемонистических средствах или об этически нейтральном коде. Стратифицированный образ истории достаточно антропоморфен, и то или иное соотношение в динамическом потенциале между его отдельными элементами в состоянии достаточно непосредственно выразить ту или иную концепцию личности, тот или иной культурно-антропологический идеал, который историк стремится воплотить в самом себе и об универсальной значимости которого он заявляет на символическом языке своей

⁵⁵ О них писал Дж. Миллер в знаменитой статье «*Магическое число семь*» (Miller G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information // *Psychological Review*. 1956. Vol. 63. № 2. P. 81–96). Более поздние работы показали, что этот порог несколько меньше семи, скорее всего он равен шести (Neisser U. *Cognitive Psychology*. New York, 1967. P. 41–42). При эмпирической классификации субъекты обычно образуют не более 9 групп, в среднем — 6 (Chaudon J. L., Pinson S. *Analyse typologique*. Paris; New York, 1981. P. 163).

⁵⁶ О возникновении основанной на разделении труда социальной солидарности исторической профессии как факторе формирования современной историографии см.: Keylor W. R. *Academy and Community*. P. 103–104; Noiriel G. *Naissance du métier d'historien* // *Genèses*. 1990. № 1. P. 58–85; Idem. *Le jugement des pairs: La soutenance de thèse au tournant du siècle* // *Ibid.* 1991. № 5. P. 132–147 (обе статьи воспроизведены в: Noiriel G. *Sur la «crise» de l'histoire*. Paris: Belin, 1996. P. 211–260). Характерно, что современный кризис историографии, распавшейся на несоизмеримые между собой курсы, Ж. Нуарьель рассматривает прежде всего как социальный кризис исторической профессии, распавшейся на непонимающие друг друга сообщества (*Ibid.* P. 12–32).

⁵⁷ Milo D. S. *Pour une histoire expérimentale, ou le gai savoir* // *Alter Histoire: Essais d'histoire expérimentale* / Pub. par D. S. Milo, A. Boureau. Paris: Les Belles Lettres, 1991. P. 43.

науки, объективируя его с помощью своего дискурса и «открывая» соответствующие пласты исторического материала⁵⁸. Мы не думаем, чтобы удалось найти иной, более значительный смысл истории, ее иное, более существенное означаемое, нежели личность ее создателя — историка.

В других работах⁵⁹ автор попытался показать, как на этом метаязыке макроисторических категорий говорили о себе советские историки. На нем же «представляли себя» и историки других стран. Политика, правящая из верхнего ящика комода, была словом о себе школы французских республиканских историков — Лависса, Рамбо, Моно, Сеньобоса и др. Французская позитивистская историография, разработавшая рубрикации истории в XIX в., была историографией политически ангажированной, официальной наукой «республики профессоров». Главным содержанием истории для этих историков были политические конфликты, государственное строительство, борьба за свободу совести против религиозного фанатизма, создание национального государства, т. е. актуальные политические темы 70–80-х гг. прошлого века, ставшие основой концепции истории, где политика занимала первое место. Идеал патриота и гражданина, который выражали в своих трудах основатели французской позитивистской историографии, видевшие в истории прежде всего форму патриотического воспитания, со всей очевидностью определял их концепцию истории⁶⁰. Подобным же образом в марксистской историографии история классово́й борьбы была провозглашением долга самоидентификации личности со сражающимся коллективом, а исто-

⁵⁸ По справедливому замечанию Н. З. Дэвис, «все историки исходят в своей работе из некоторых общих представлений о личности, о человеческих желаниях и реакциях» (Harding R., Coffin J. Interview with Natalie Zemon Davis // *Visions of History* / Ed. by H. Abelove. Manchester: Manchester U. P., 1983. P. 117). Подчеркнем, однако, что эти представления для него сильнейшим образом лично окрашены, т. е. соотношены с образом себя, что Дэвис подчеркивает немедленно вслед за приведенным замечанием, связывая направление своих собственных исследований с представлением о себе как об интеллектуале, а не профессионале.

⁵⁹ Копосов Н. Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм: К анализу ментальных основ историографии // *Одиссей 1992*. М.: Кругъ, 1994. С. 51–68; Kopperosov N. *Dos au vent...*

⁶⁰ Keylor W. R. *Academy and Community*. P. 90–100. Ф. Фюре говорил о Ланглуа и Сеньобосе: «Их рубрикация истории — это рубрикация историков-республиканцев» (*L'historien entre l'ethnologue et le futurologue* / Pub. par J. Dumoulin, M. Moisi. Paris; La Haye: Mouton, 1972. P. 62).

рия культуры, поднятая на щит поколением Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа, А. Я. Гуревича, Ю. Л. Бессмертного и Л. М. Баткина — утверждением прав личности — носителя культуры. Именно в этих конфликтах самоидентификаций заключена одна из разгадок поразительного порой упорства, отмечаемого в полемике о сравнительном значении макрокатегорий, по поводу которой иронизировал Хекстер в приведенной выше цитате. Эти категории не произвольны не просто потому, что в них отразились формы нашего разума и сковывающие нас архивы нашей науки. Они не произвольны и потому, что выражают серию экзистенциальных выборов, по отношению к которым каждый из нас только и может сделать свой собственный выбор. Ибо выбор может иметь только относительный смысл.

Итак, на формировании стратифицированного образа истории сказались весьма разнородные факторы, начиная от когнитивных ограничений «воплощенного разума» и кончая особенностями визуальной культуры нового времени и семиологическими механизмами, работа которых превращает этот образ в основу современной историографии как символической формы. На наш взгляд, он играет настолько фундаментальную роль для нашего понимания истории, что без него история просто невозможна, — вернее, невозможна та «университетская история», которую мы сегодня единственно и знаем под именем истории, та культурная практика, архивы и фундаментальные образы которой восходят к эпохе Просвещения и которая окончательно сформировалась в рамках позитивистской историографии к началу XX в. Конечно, эта история не сводится к стратифицированному образу, но именно он является ее ядром, создает ее основу и как когнитивной, упорядочивающей, и как семиологической системы.

Как формирование, так и дальнейшая эволюция социальной истории неотделимы от судьбы стратифицированного образа истории. Но для того чтобы понять эту эволюцию, нам необходимо остановиться на метаморфозах понятия социального в конце XIX — начале XX в. В этот период произошло настолько значительное обновление рассматриваемого понятия, что иногда говорят об «изобретении» или «открытии» социального⁶¹. В какой-то мере такие оценки справедливы, потому

⁶¹ Donzelot J. *L'invention du social: Essai sur le déclin des passions politiques*. Paris: Seuil, 1994; Mucchielli L. *La découverte du social...*

что на грани веков социальное становится центральным понятием социальных наук. Все прежние значения понятия социального перегруппировываются теперь вокруг нового ядра. Можно выделить две основные, и тесно взаимосвязанные, линии модификации понятия социального в этот период — речь, с одной стороны, шла о новом понимании общества как предмета социальной политики, с другой — о становлении так называемой «парадигмы социального», иначе говоря — интеллектуального проекта социальных наук, основанного на представлении о социальной природе разума.

Идеологическая сторона «изобретения социального» изучена достаточно хорошо⁶². В политической борьбе конца столетия происходит, как известно, смена линий размежевания. Клерикализм и монархическая реставрация перестают быть главной опасностью для Третьей республики. На первый план политической борьбы выдвигается «социальный вопрос», имеет место общее «полевение» политической жизни и распространение социалистического движения. На смену республиканскому националистическому консенсусу 1880-х гг. к концу 1990-х приходит всеобщий интерес к социальному, причем в политических дебатах социальное имеет тенденцию пониматься прежде всего в узком смысле этого слова⁶³. Доминирующей политической силой становятся движения радикальной и социалистической ориентации.

Однако обоснование радикальной политики требовало существенного обновления интеллектуального аппарата, разрыва с привычными

⁶² Donzelot J. *L'invention du social*; Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1438. Семантическая связь между «социальным вопросом» и социальной историей сохраняется поныне. Например, Р. Ремон писал: «Напиши я историю какой-либо забастовки, я стал бы специалистом по социальной истории» (Remont R. *Le contemporain du contemporain // Essais d'Ego-histoire / Pub. par P. Nora*. Paris: Gallimard, 1987. P. 344).

⁶³ Важной основой осознания социального в узком смысле как особой сферы бытия было развитие статистики и, в частности, огромная работа по составлению кодексов социопрофессиональных категорий (социальная история 1960-х гг., стремившаяся создать «исторические» социопрофессиональные кодексы по образцу современных, в значительной мере унаследовала именно эту интеллектуальную традицию). Опыт составления подобных кодексов в XIX в. был одним из важнейших факторов накопления — и осознания — того материала, с которым постепенно прежде всего и стали связывать понятие социальное. См.: Desrosières A. *La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte, 1993.

мыслительными ходами классического позитивизма и политической экономики. Радикалы искали средний путь между либерализмом и революционным марксизмом, которые в равной мере основывались на атомарной модели общества⁶⁴. Попытки найти этот средний путь были связаны со стремлением так изменить структуру модели, чтобы снять дихотомию общественного и частного, предполагавшую крайние варианты политических решений. Это можно было сделать, показав, что между государством и атомарными индивидами имеется промежуточный уровень, иными словами, что индивиды естественным образом принадлежат к общностям, обладающим особой формой бытия. В таком случае «социальный вопрос» приобретал статус легитимного объекта государственной политики, а это значит — получала обоснование более широкая социальная политика, направленная на создание нового демократического консенсуса. Более того, консенсус оказывался естественным состоянием общества, поскольку обнаружение особого уровня бытия социальных групп позволяло говорить о том, что для общества естественна солидарность, а солидарность воспринималась как условие социальной стабильности, поставленной под сомнение в период разложения патриотического консенсуса и поляризации политических сил. Главной задачей новой идеологии, проявившейся прежде всего в солидаристских теориях⁶⁵, было осуществить переход от либеральной концепции атомарного гражданского общества к социальным теориям, подчеркивающим невозможность рассматривать общество как механическую сумму индивидов. Именно в этот контекст вписывается рождение социальных наук⁶⁶.

⁶⁴ Атомарный характер либеральной модели, в значительной мере основанной на интеллектуальном аппарате классической политэкономии, вполне очевиден. Марксизм рисовал в соответствии с той же моделью капиталистическое общество, которое следует уничтожить и в котором все формы солидарности были уничтожены рынком. Так что в обеих моделях воплощенной государством всеобщности противостояла атомарная структура. См.: Donzelot J. *L'invention du social*. P. 49–72.

⁶⁵ Weisz G. *The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914*. Princeton: Princeton U. P., 1983. P. 270; Mucchielli L. *La découverte du social*.; Donzelot J. *L'invention du social*; Haywood J. E. S. *Solidarity: The Social History of an Idea in XIXth Century France // International Review of Social History*. 1959. Vol. 4. P. 261–284.

⁶⁶ «Развитие социальных наук... отражало политическую потребность в социальной интеграции» (Weisz G. *The Emergence of Modern Universities in France*. P. 369). Характерна фраза Дюркгейма из его программной вводной лекции курса по теории социальной солидарности в Бордо: «Наше общество должно вновь обрести сознание органи-

В известном смысле речь шла о решении все той же логической проблемы, с которой столкнулись социальные теоретики начиная по крайней мере с Руссо, а именно, о возможности разумного и гуманного общественного устройства, не сводимого ни к торжеству частных интересов, ни к деспотизму государства. В конце XIX в. у старой дилеммы стало намечаться новое решение, связанное с акцентом на роли сознания в формировании социальных групп. Общности в значительной мере рассматривались как преодолевающий индивида феномен, и благодаря этому они обретали особый уровень бытия, становились неразложимыми на индивидов. Самым надежным способом снять проблему разложимости общества на индивидов было показать невозможность индивидов вне общества⁶⁷. Но поскольку атомарный индивид был прежде всего индивидом рациональным и ответственным, группам по необходимости приписывалось свойство ограничивать рациональность индивидуального сознания. Именно здесь возникает переплетение двух логик изобретения социального — осознания толщи общественных связей и понимания разума как социального факта.

Атомарная либеральная модель была возможна лишь при наличии абсолютно сознательных субъектов. Таковыми и были субъекты классической политической экономии, действовавшие на основании точного знания рынка и рационального учета своих интересов, таковыми же были и субъекты либеральных политических теорий XIX в. Все эти теории основывались на представлении о рациональности как о естественном свойстве сознания, от природы наделенного способностью адекватно познавать мир. Подобный образ разума, однако, был решительно поколеблен к концу столетия. Благодаря Марксу, Ницше и Фрейдю разум перестал казаться спонтанно рациональным, в нем открылась способность к ложному сознанию, в той или иной форме порождаемому отношениями между людьми. Отсюда также открывался путь к пониманию сознания как социального явления. Следовательно, параллельно тому, как сознание оказывалось сутью общества, общественное единство. Индивид должен чувствовать присутствие и влияние социальной массы, которая охватывает его и проникает в него, и это чувство должно постоянно направлять его поведение» (цит. по: Lukes S. *Emile Durkheim*. P. 102).

⁶⁷ Именно критика либерализма и идеи индивида была исходным пунктом интеллектуального проекта Дюркгейма, как, впрочем, и французской неокантианской философии в лице Ренувье и Бутру (*Mucchielli L. La découverte du social*. P. 90–91, 158–162).

во превращалось в источник сознания. В известном смысле общество и сознание оказывались тождественны.

Именно такое сознание-общество становится предметом социальных наук, чье формирование также стало существенным фактором развития понятия социального. В этом проявился важнейший механизм тематизации мира в культуре XIX в. Тот или иной уровень бытия считался особой реальностью, если существовала наука, которая его изучала, иными словами, если он имел статус предмета самостоятельной науки. В свою очередь условием легитимности науки являлось наличие особого уровня бытия как ее предмета. Социальное во всей гамме его сегодняшних употреблений мыслимо только как предмет социальных наук, самое существование которых выступает важнейшим фактором нашей тематизации мира. Для того чтобы науки, изучающие сознание, были социальными, само сознание должно было быть социальным фактом. Именно в обнаружении социальной природы сознания состояло то главное, что конец XIX в. привносит в понятие социального. Основным интеллектуальным инструментом «парадигмы социального» становится концепция разумакультуры.

Подробнее об этом речь пойдет в Заключении. Здесь мы ограничимся констатацией, что эволюция конца XIX в. имела двойственный эффект для понятия социального. С одной стороны, злободневность социального вопроса способствовала кристаллизации понятия социального в узком смысле слова, как особого уровня общественного бытия. С другой стороны, социальное оказывалось универсальным свойством дел человеческих вообще. И сколь бы важным не был первый аспект, второй был бесконечно важнее. Отметим к тому же, что социальное в узком смысле в этот период рассматривалось прежде всего как выражение солидарности между людьми, так что интерес к разделению людей на группы, а тем самым и к проблемам социальной структуры, под влиянием марксизма постепенно распространявшийся в общественном сознании, был все же сравнительно второстепенен. Поэтому социальное, почти уже превращенное в материализованный пласт фактов, вдруг вырывается из ящика комода и становится всеобъемлющим эфиром истории.

Дереификации понятия социального способствовала и общая интеллектуальная эволюция конца XIX в., определившая, в частности, своеобразие научного воображения эпохи. Это была порожденная револю-

цией в естествознании «великая драма относительности», когда то, что в картине мира классической механики казалось осязаемой, тяжелой материей, вдруг оказалось, скорее, энергией. Подстановка сублимного сознания на место вещественного факта в социальных науках⁶⁸ сродни этой эволюции естествознания.

Именно мобилизация форм немеханистического воображения позволяла снять противопоставление множества и точки, заменив его более сложной картиной, где эфир сознания не менее важен, чем телесность индивида, где, более того, индивиды возможны только в той мере, в какой они создаются этим эфиром, и где границы физических тел оказываются проницаемыми для вновь открытых форм действительности. Заполнение пустоты между атомарными индивидами и государством было теснейшим образом взаимосвязано со сменой научного воображения. Одновременно референциальная безусловность декартовых координат была нарушена обнаружением зависимости пространства-времени от меняющейся позиции наблюдателя⁶⁹. Пространство галилеевской науки перестало быть безусловным кадром логических референций. Это пространство было поставлено под сомнение и импрессионистскими экспериментами с пространством зрения, удивительно совпавшими по времени с естественнонаучными открытиями. Конечно, эти перемены в картине мира естественных наук и изящных искусств лишь постепенно, фрагментарно и нерешительно осваиваются социальной мыслью. И все же образ стратифицированной истории с тяжелой реальностью фактов в

⁶⁸ Г. С. Хьюгс резюмировал эту эволюцию социальной мысли конца XIX в. в следующих словах: «Психологический процесс занял место внешней реальности в качестве важнейшего предмета для изучения. Самым главным казалось теперь не то, что существовало на самом деле, но то, что люди полагали существующим» (Hughes H. S. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought, 1890–1930*. London: MacGibbon and Kee, 1967. P. 66).

⁶⁹ По словам А. Лефевра, «к 1910 году происходит распад пространства здравого смысла, знания, социальной практики и политической власти... Эвклидово перспективное пространство вместе с другими общими местами перестает существовать в качестве референциальной системы» (Lefebvre H. *La production de l'espace*. Paris: Anthropos, 1974. P. 34). См. также: Kern S. *The Culture of Time and Space, 1880–1918*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1983. В этой работе показаны глубокие трансформации в восприятии пространства на рубеже веков, и прежде всего, осознание множественности пространств и нарушение безусловности апеллирующих к пространственным паралогикам традиционных иерархий.

подобном интеллектуальном климате оказывался такой же устаревшей диковинкой, как добрый старый комод из красного дерева.

Именно сложившееся в контексте новых политических теорий и нового интеллектуального климата понятие социального определило программу дюркгеймовской социологии и сформировавшийся под ее влиянием проект социальной истории, прежде всего — школы «*Анналов*»⁷⁰. Социология Дюркгейма, наиболее полное выражение солидаристской идеологии и почти официальная социальная доктрина Третьей республики в начале века, была обязана своим огромным успехом в значительной мере именно разработке нового понятия социального. Социальное было символом смены идеологических поколений, когда на место патристически настроенного историка первого периода Третьей республики пришли социально и космополитически ориентированные социологи и социальные историки республики радикалов.

Дюркгеймовская социология мыслила себя отнюдь не в качестве одной из дисциплин об обществе, она претендовала на всеобщность охвата дел человеческих. Начиная от Огюста Конта слово «социология» во французской традиции было синонимом «социальной науки» (нередко в единственном числе), и такое понимание было в высшей степени характерным для Дюркгейма. Если сознание социально, то социальными оказывались не какая-либо одна, но все вообще формы человеческого бытия, ибо все поведение опосредовано сознанием. Именно поэтому для Дюркгейма «социология — это прежде всего новый взгляд на человека, новый инструмент анализа человеческой природы»⁷¹. Социальное для Дюркгейма было прежде всего социально-психологическим⁷², пронизы-

⁷⁰ О влиянии Дюркгейма на Блока см.: Rhodes R. C. *Emile Durkheim and the Historical Thought of Marc Bloch // Theory and Society*. 1978. Vol. 5. № 1. P. 45–73. Но и февровская программа была чрезвычайно близка к социальной истории когнитивных форм в исполнении дюркгеймianцев.

⁷¹ Цит. по: Mucchielli L. *La découverte du social*. P. 162. Мюккьелли прав, подчеркивая, что проблематика творчества Дюркгейма — глубоко философского происхождения, так что социология была для него прежде всего средством разрешить вопросы философского характера (*Ibid.* P. 167–170). В том же смысле высказывался и Д. ЛаКапра, подчеркивая, что деятельность Дюркгейма означала одновременно и кульминацию классической философии, и рождение социологии (LaCapra D. *Emile Durkheim: Sociologist and Philosopher*. Ithaca: London: Cornell U. P., 1972. P. 4).

⁷² Д. ЛаКапра правильно подчеркивал, что Дюркгейм идентифицировал разум и общество (LaCapra D. *Emile Durkheim*. P. 10).

вающим все человеческое поведение, и неудивительно, что его социология являлась чрезвычайно широкой программой исследования самых разных аспектов человеческого бытия, и в особенности — коллективных представлений, ментальности, морали и религии. Характерно, что ни у Дюркгейма, ни у его учеников (за исключением Мориса Альббакса) проблема классов не приобрела сколько-нибудь самостоятельного значения (сам Дюркгейм видел в классовых теориях подкуп под понятие солидарности)⁷³, а экономические явления (в частности, обмен) рассматривались ими прежде всего как символические формы⁷⁴. Экономическая социология, например, Симиана была прежде всего «социальной психологией экономической жизни»⁷⁵.

В этих условиях неудивительно то замедленное формирование социальной истории в качестве особой частной истории, о котором мы говорили выше. Правда, в начале XX в. имеет место некоторое намерстывание упущенного, когда во французской историографии проявляется несомненный интерес к истории экономического быта, условий труда и истории классов, прежде всего — народных, который со всей очевидностью был связан с распространением социалистического движения⁷⁶. Недавние исследования подчеркивают, что социальная история фактически сложилась во Франции начала XX в. в трудах таких историков, как А. Озе,

⁷³ Mucchielli L. *La découverte du social*. P. 202. О Морисе Альббаксе см.: *Ibid.* P. 509–519. При том, что Дюркгейм испытывал несомненные симпатии к социализму, он был противником теорий классовой борьбы (*Ibid.* P. 233–240; Lukes S. *Emile Durkheim*. P. 320–325).

⁷⁴ Mauss M. *Essai sur le don // Sociologie et anthropologie*. Paris: Presses Universitaires de France, 1950.

⁷⁵ Mucchielli L. *La découverte du social*. P. 492. Характерно название посвященной экономике рубрики «Социологического Ежегодника»: «Психология экономических систем».

⁷⁶ О социальной истории, равно как и о социологии, можно сказать: «От социального до социализма — один шаг» (Noiriel G. *Pour une approche subjectiviste du social*. P. 1438). Этот шаг со всей очевидностью был сделан, например, в произведениях одного из ключевых персонажей французской политики этого времени — Жана Жореса, и прежде всего — в его «Социалистической истории Французской революции», которая в значительной мере являлась ее социальной историей (Жорес Ж. *Социалистическая история Французской революции*. Т. 1–6. М.: Прогресс. 1977–1983). Но для большинства социальных историков начала века характерна левая ориентация в политике.

П. Буассонад, Ф. Саньяк, А. Сэ⁷⁷. Ранее эти труды терялись в гигантской тени «Анналов», которым приписывалась честь создания социальной истории во Франции в противовес «историзирующей», «событийной» истории. Сейчас становится очевидным, что такое толкование несколько односторонне⁷⁸. Уже в поколении историков, пришедших в профессию в последние годы XIX в., происходит смена сложившейся у предшествующего поколения, поколения Лависса, модели патриотической, ориентирующейся на проблематику политической борьбы историографии. Молодые историки, выпускники Высшей нормальной школы, разделяли интеллектуальный и политический опыт, пережитый их сверстниками-философами, превратившимися в социологов и вставших под знамена Дюркгейма⁷⁹. Поколение, сформированное делом Дрейфуса, не могло смотреть на историю глазами поколения, пережившего позор поражения при Садовой⁸⁰. И все же, несмотря на распространение социальной истории в узком смысле слова, магистральный путь социальной истории гораздо больше напоминал путь дюркгеймовской социологии⁸¹.

⁷⁷ О связи интереса Анри Озе к социальной истории с его симпатией к синдикализму см.: Weisz G. *The Emergence of Modern Universities in France*. P. 288; Idem. *L'idéologie républicaine et les sciences sociales: Les durkheimiens et la chaire d'histoire d'économie sociale à la Sorbonne // Revue française de sociologie*. 1979. Vol. 20. P. 106–109.

⁷⁸ Le Goff J., Roussetier N. Préface // *L'Histoire et le métier d'historien en France. 1945–1995 / Pub. par F. Bédarida*. Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1995. P. 7. По словам Л. Мюквелли, «вопреки мифу, созданному наследниками школы «Анналов» после второй мировой войны, уже на грани веков во Франции родилась та традиция, которую Берр в 1919 г. впервые назвал «новой историей» — выражением, которому было суждено большое будущее» (Mucchielli L. *La Découverte du social*. P. 452). См. также: Idem. *Aux origines de la Nouvelle Histoire en France: L'évolution intellectuelle et la formation du champ des sciences sociales (1880–1930) // Revue de synthèse*. 1995. 4e série. № 1. P. 55–98. О роли мифа о событийной истории для программы «Анналов» см.: Cartard Ph. *Poetics of the New History: French Historical Discourse from Braudel to Chartier*. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1992. P. 1–2.

⁷⁹ О близости молодых историков, в частности, группы Берра к дюркгеймианцам см.: Lukes S. *Emile Durkheim*. P. 394; Keylor W. R. *Academy and Community*. P. 168–169, 201; Mucchielli L. *La Découverte du social*. P. 415–452.

⁸⁰ Smith R. J. *L'Atmosphère politique à l'École Normale Supérieure à la fin du XIXe siècle // Revue d'histoire moderne et contemporaine*. 1973. Vol. 20. № 2. P. 248–268; Sirelli J.-F. *Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres*. Paris: Fayard, 1988; Charles C. *Naissance des «intellectuels», 1880–1900*. Paris: Minuit, 1990; Prochasson C. *Les intellectuels, le socialisme et la guerre. 1900–1938*. Paris: Seuil, 1993.

⁸¹ Характерна с этой точки зрения критика Франсуа Симианом понятия социального в узком смысле слова как основы социальной истории, рассмотренной в качестве

С этой точки зрения характерна программа школы «*Анналов*»⁸². Вопреки любимому афоризму Блока, основатели журнала были в чем-то больше похожи не на свое время, а на своих отцов. Даже младший из них, Блок, безусловно, принадлежал к поколению дела Дрейфуса. В известном смысле создание «*Анналов*» можно рассматривать как продолжение той революции в социальной мысли, которая во Франции была осуществлена дюркгеймианцами на грани XIX—XX вв.

Концепция социального у основателей «*Анналов*» была размытой и двойственной. Февр подчеркивал, что именно неопределенность привлекала их в этом понятии⁸³. С одной стороны, социальная история элемента стратифицированного образа истории. Эта критика, сформулированная по поводу рубрикации истории Ланглау и Сеньбоса, очевидно предвосхищает аналогичные высказывания Люсьена Февра: «Что означает противопоставление социальных институтов другим, которые, по-видимому, таковыми не являются? Слово социальный имеет так много значений, что следовало бы сказать, каким образом его можно определить так, чтобы собственность, семья, образование и общественные классы считались социальными, а религия или феномены присвоения и передачи — нет» (Simiand F. *La méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1960. Vol. 15. № 1. P. 108). Здесь мы встречаемся с тем же феноменом растворения социального в узком смысле в социальном в широком смысле, который заставлял социальных историков 1960-х гг. форсировать слова, чтобы подчеркнуть идею синтетической социальной иерархии — «общество в собственном смысле», «социальное само по себе». По этому поводу Ж. Рансьер пишет о двойственном смысле слова «социальное», которое «обозначает совокупность отношений, но также и отсутствие слов для того, чтобы называть их адекватно» (Rancière J. *Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir*. Paris: Seuil, 1992. P. 73—74).

⁸² Обзор употребления понятия социальной истории историками школы «*Анналов*» см.: Stoianovich T. *French Historical Method: The Annales Paradigm*. Ithaca; London: Cornell U. P., 1976. P. 95—97.

⁸³ Люсьен Февр следующим образом комментировал название «*Анналов экономической и социальной истории*» (таким, как известно, было первое название журнала): «Строго говоря, экономической и социальной истории не существует... Когда мы, Марк Блок и я, поместили эти два традиционно связанных слова на обложке наших «*Анналов*», мы хорошо понимали, что, в частности, прилагательное «социальное» принадлежит к числу тех слов, с помощью которых в разное время пытались обозначить столь много различных вещей, что оно в конце концов почти совершенно утратило значение. Именно поэтому мы его использовали... Мы единодушно считали, что столь неопределенное слово, как «социальное», было создано... историческим Провидением, чтобы стать эмблемой журнала, который не хотел замыкаться в узких рамках... Нет экономической и социальной истории. Есть просто история как единое целое... Эпитет «социальное»... напоминает нам, что предмет наших исследований — не фрагмент реально

сма­тривалась как тотальная история («история... как единое целое... социальна по своей природе») ⁸⁴, с другой — она могла пониматься и в более узком смысле, как «история организации общества, классов и так далее» ⁸⁵. При этом два смысла легко переходили один в другой ⁸⁶. Иными словами, соблазн объяснить историю, поведение человека из его принадлежности к группе делал социальную историю в узком смысле слова ключом к глобальной истории, т. е. к социальной истории в широком смысле слова, и более или менее искусное лавирование между двумя смыслами этого слова придавало социальному глубину вне­находимости и вместе с тем — конкретность и суггестивность, реализм и свободу от вульгарного социологизма. Такое лавирование, постоянное соскальзывание на другой уровень анализа определяет поэтику социальной истории — поэтику континуума, *Zusammenhang*'а, неуловимой идентичности дел человеческих.

Конечно, в рамках модели были возможны варианты. По-видимому, Февру было ближе более дюркгеймовское, более широкое понимание социального, в то время как Блок сравнительно больше внимания уделял социальному в узком смысле слова ⁸⁷. Но это различие было

сти, не изолированный аспект человеческой деятельности, но сам человек, рассмотренный внутри групп, к которым он принадлежит» (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 19–21). Отметим сходство этих рассуждений Февра о неопределенности и суггестивности понятия «социальное» с размышлениями Макса Вебера (Weber M. *Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1968. S. 166).

⁸⁴ Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 20. В письме к А. Пиренну в 1930 г. Февр пишет: «Любой (исторический. — Н. К.) сюжет социален» (*The Birth of Annales History: The Letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921–1935)* / Ed. by B. Lyon, M. Lyon. Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 1991. P. 121).

⁸⁵ Фраза из письма М. Блока к А. Зигфриду 1928 г. (цит. по: Leuilliot P. *Aux origines des «Annales d'histoire économique et sociale»* (1928): *Contribution à l'historiographie française // Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*. Vol. 2. Toulouse: Privat, 1973. P. 318).

⁸⁶ Например, Жорж Лefевр, который, подчеркивая, что значение термина социальная история «размыто, поскольку необъятно», в следующей же фразе определяет ее как «описывающую различные виды структур человеческих сообществ» (Lefebvre G. *Reflexions sur l'histoire*. Paris: Maspero, 1978. P. 154). Собственные исследования Ж. Лefевра, как мы уже подчеркивали (см. выше, гл. 1), заложили во Франции фундамент социальной истории «в узком смысле слова».

⁸⁷ См., например, подробный анализ Блоком социальной стратификации в «Феодалном обществе» (Bloch M. *La société féodale*. T. 2. Livre 1. Paris: A. Michel, 1939—

далеко не абсолютным. В интерпретации Блока «материя социального» была соткана из нитей сознания, из многообразных связей между людьми, интерпретируемых им прежде всего с точки зрения их восприятия самими субъектами социальной жизни. Иными словами, реальность социального представлялась Блоку реальностью его психологического переживания⁸⁸ и, например, социальную классификацию он понимал как синтез ее различных образов, как гибкую, подвижную и внутренне конфликтную систему коллективных репрезентаций⁸⁹. К такой иерархии едва ли применима метафора «игра в кубики». И все же влияние Блока сказало на развитии во французской историографии интереса к истории социальных структур, на ее отделении от истории экономической. Во всяком случае, для участников спора о классах и сословиях Блок (наряду с Жоржем Лефевром) был родоначальником социальной истории в узком смысле слова⁹⁰.

В этом контексте понятнее как ирония Февра по поводу рубрикационных схем позитивистской историографии, так и ограниченный характер его критики позитивизма, постоянно нацеленной на подсказываемые школьной механикой формы научного воображения. Хорошо известно стремление Февра на место традиционных механистических метафор поставить новые, ориентирующиеся на картину мира современной науки, на образы электричества, напряжения, токов,

1940), относительным аналогом которого в творчестве Февра может считаться разве что его ранняя работа о Франш-Конте (Febvre L. *Philippe II et la Franche-Comté*. Paris, 1911). Напротив, для более зрелых работ Февра, и в особенности для его методологических статей (некоторые из них мы уже цитировали), характерен акцент на социальности любого человеческого проявления и на самом общем факте принадлежности человека к группам, что, естественно, достаточно далеко от тщательного анализа системы социальных связей в работах Блока.

⁸⁸ «Исторические факты — это факты психологические по преимуществу. Стало быть, их antecedентами, как правило, являются другие психологические факты. Конечно, судьбы людей включены в мир физический и несут его бремя. Но даже там, где вмешательство этих сил кажется наиболее грубым, их действие осуществляется только как направляющее человеком и его разумом». В другом месте Блок пишет: «Предмет (истории. — Н. К.), в точном и последнем смысле, — сознание людей». (Блок М. *Апология истории или ремесло историка*. М.: Наука, 1973. С. 104, 83).

⁸⁹ См. цитату, приводимую ниже (с. 279).

⁹⁰ Labrousse С.-Е. *Introduction // L'Histoire sociale. Sources et méthodes: Colloque de Saint-Cloud (1965)*. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 3.

зарядов⁹¹. Наблюдая за эволюцией социального, мы видим вмешательство в рассуждения историков некоторой тактильной интуиции, своего рода чувства плотности мира. Эта интуиция была, в частности, важнейшим аспектом изменения понятия социального, его колебаний между «эфиром социального» у Блока и Февра и «тяжелой материей» социального у историков 1960-х гг. Следует отметить, что резкие изменения тактильной интуиции чреваты последствиями для структурных черт конструируемого нами мира. Так, «эфир социального» у основателей «*Анналов*» существенным образом смягчал жесткость стратифицированного образа истории, однако некоторые элементы его, связанные, например, с сохранением социальной истории в узком смысле слова, сохранялись в первом поколении «*Анналов*», и вряд ли можно считать случайностью, что в следующем поколении историки вернулись к подвергнутой уничтожающей, казалось бы, критике системе научного воображения. Критикуя ригидные схемы и ратуя за гибкое применение исторических понятий, Блок и Февр не ставили задачи создать новую их систему, разрывающую связи со стратифицированным образом истории⁹². При всем блеске своего творчества Блок и Февр в известном смысле работали на полях традиционной историографии, и ин-

⁹¹ «Любопытно отметить, что сегодня, в мире, перенасыщенном электричеством, которое могло бы дать нам массу отвечающих нашим умственным потребностям метафор, мы упорно и с важным видом спорим по поводу метафор, пришедших к нам из глубины веков, тяжелых, давящих, непригодных. Мы с упорством уподобляем исторические явления слоям, этажам, прослойкам, основам и надстройкам, в то время как движение токов по проводу, их интерференции и замыкания с легкостью доставили бы нам немало образов, способных гораздо более тонко встроиться в наше мышление» (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 26).

⁹² См., например, раздел «*Апологии истории*» о «номенклатуре», т. е. системе исторических понятий (Блок М. *Апология истории...* С. 86–97). Если же иногда основатели «*Анналов*» подходили к задаче пересмотра рубрикации истории, то результаты были не на высоте их таланта: вспомним хотя бы очевидно наивную и до странности безыскусную попытку Марка Блока предложить периодизацию истории «по поколениям» (Там же. С. 99–100). Стоит ли объяснять, почему она не смогла заменить собой столь неудовлетворительную модель древней, средней и новой истории? Помимо этого единичного эпизода Блок и Февр не ставили вопроса о смене понятийного аппарата позитивистской историографии, и никакой системы понятий, порвавшей связи с механистическими метафорами и систематически обращавшейся, например, к метафорам электричества, в их сочинениях обнаружить не удастся, несмотря на мечту Блока о создании «идеального языка» общепринятых и однозначных терминов.

теграция результатов осуществленной ими эпистемологической революции в дискурс исторической профессии потребовала возврата к той тематизации исторического мира, которую выработала позитивистская историография и которую ничем не смогли заменить основатели «*Анналов*». В этом смысле их попытка сломать «искусственные рамки» и отказаться от «перегородок и этикеток» не имела (и не могла иметь) долговременных последствий.

Уже в следующем поколении школы «*Анналов*» мы видим существенную смену акцентов в интерпретации социального. Свойственное Блоку и Февру, равно как и всему поколению основателей социальных наук, «напряженное единство» позитивизма и субъективизма в 1930—1940-е гг. сменяется размежеванием субъективистского и неопозитивистского подходов⁹³. Для второго поколения школы в значительной мере характерны неопозитивистские настроения, иногда сочетающиеся с влиянием марксизма, для которого представления субъектов истории не играли существенной роли. Социальная реальность, для основателей «*Анналов*» почти идентичная с коллективными репрезентациями, теперь более или менее эксплицитно противопоставлялась сознанию⁹⁴. Интеллектуальный климат начала века сменился новой материалистической чувственностью. На смену игре представлений пришла «игра в кубики». Иными словами, к середине XX в. происходит определенная реанимация стиля мысли.

⁹³ Hughes H. S. *Consciousness and Society*. P. 393—430.

⁹⁴ Характерно, что когда в споре о классах и сословиях заходила речь о сознании, оно рассматривалось как совсем иная субстанция наряду с реальностью социальных отношений. В дебатах в Сен-Клу звучал пафос доказательства того, что сознание исторических персонажей — тоже реальность, пусть и особая, и именно из этого впоследствии развилась противопоставившая себя социальной истории история социокультурная. Например, медиевисты — авторы проекта изучения социального словаря средневековья считали необходимым подчеркнуть: «Пренебрегать этим словарем — значит отказываться признать, что он тоже являлся исторической реальностью, составлявшей единое целое с другими реальностями, которые он описывал» (Batany J., Contamine P., Guepée B., Le Goff J. *Plan pour l'étude historique du vocabulaire social de l'Occident médiéval // Ordres et classes*. P. 87). См. также спор Мунье и Лабрусса об исторической реальности правовых понятий (см. гл. 1). Но в рамках дебатов о классах и сословиях сознание рассматривалось еще не в меньшей мере как источник рабочих гипотез для понимания реальности, нежели как часть этой реальности — и уж тем более как собственно реальность.

отвергнутого Блоком и Февром, и она захватывает, среди прочих, их наследников.

В поколении Броделя и Лабрусса механистическое, если не всегда по своим формам, то по своей логической природе, воображение торжествует в образах и метафорах социальной истории. В частности, стратифицированный образ истории оказывается одним из главных интеллектуальных орудий не только Лабрусса, но и Броделя. Более того, именно на нем построена программа вторых «*Анналов*». Характерно уже название журнала, которое он сохранял с 1946 по 1995 г., — «*Анналы: Экономика. Общества. Цивилизации*». Эта трехчастная формула, равно как и заглавие первых «*Анналов*», выражала амбицию глобальной истории, но вместе с тем недвусмысленно указывала, что глобальная история состоит из истории экономической, социальной и культурной. В заглавии первых «*Анналов*» («*Анналы экономической и социальной истории*») амбицию глобальной истории выражало слово «социальная». Оно подчеркивало, что экономические факты не изолированы от тотальности человеческого бытия⁹⁵. Теперь эта амбиция выражается с помощью формулы, претендующей охватить основные страты исторического опыта, иными словами — с помощью отсылки к стратифицированному образу истории.

Пространственные метафоры были общепринятым способом выражения этой программы глобальной истории. Примерами подобных трехчастных схем могут служить «трехуровневая история» Лабрусса, теория трех скоростей исторического времени Броделя, повлиявшая на историков теория инстанций Альтюссера⁹⁶. Все они были чем-то большим, нежели просто группировкой фактов, — из расположения и взаимного соотношения страт в каждой модели объяснялось движе-

⁹⁵ Люсьен Февр так комментировал смысл слова «социальная» в формуле «социальная и экономическая история»: «Именно это и означает слово социальная, которое ритуально добавляют к слову экономическая. Оно напоминает нам, что предмет наших исследований — не фрагмент реальности, не один из изолированных аспектов человеческой деятельности, но сам человек, рассмотренный в среде тех групп, к которым он принадлежит» (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. P. 21).

⁹⁶ О теории инстанций Луи Альтюссера и ее связи с марксистским пониманием проблемы уровней общественной жизни, с очевидностью опирающемся на пространственные и, в частности, на строительные метафоры, см.: *Dictionnaire critique du marxisme* / Pub. par G. Labica. Paris: Presses Universitaires de France, 1982. «Instance». P. 463–465.

ние истории⁹⁷. Особенно важно, что конституирование новых областей исследований происходило прежде всего с помощью указания на их место в пространственной схеме. Так, за историей культуры или ментальностей, стремительное развитие которой началось с 1960-х гг., т. е. еще в условиях господства экономической и социальной истории, надолго закрепилось название «истории третьего уровня», как если бы ее нельзя было легитимизировать, не вписав в пространственную схему, объяснявшую движение истории⁹⁸. При этом не только сторонники школы «*Анналов*», но и посторонние ей историки, а позднее и ее критики, обычно представляли классическую социальную историю 1950–1960-х гг. с помощью пространственного образа, который им,

⁹⁷ Для Лабрусса теория трех уровней, когда «к самостоятельности социального по отношению к экономическому добавляется самостоятельность психологического по отношению к социальному» (*Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche*. Roma, 1955. Roma, 1957. P. 530), объясняла ритмы исторического развития, когда социальное запаздывает по сравнению с экономическим, а ментальное — по сравнению с социальным (Labrousse С.-Е. Introduction // *L'Histoire sociale: Sources et méthodes*. P. 5). Поэтому теория трех уровней была основополагающей для исторической концепции Лабрусса, объясняя и роль материального производства как двигателя истории, и революционные конфликты, приводившие в соответствие экономику, общество и культуру. Для Броделя также теория трех уровней объясняла ритмы истории, но только уровни выделялись по другим принципам. Неподвижное историческое время было прежде всего временем общих условий исторического процесса, как географических, так и ментальных, средняя скорость относилась к фактам экономическим и социальным (которые Бродель часто предпочитал объединять под этикеткой социэкономии, но иногда он говорил об этом среднем уровне именно как о социальной истории, поясняя при этом, что под социальной историей он имеет в виду «историю групп и сообществ», т. е. «экономик, государств, обществ и цивилизаций»). См.: Braudel F. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Vol. 1. Paris: A. Colin, 1990. P. 17), в то время как верхний, самый переменчивый слой истории составляли события. Здесь также, естественно, огромную роль играло расположение слоев — базовые факты человеческого бытия риторически объявлялись глубинными морскими течениями. Наконец, у Альтюссера разделение трех инстанций — экономики, общества и культуры — служило как подчеркиванию базовой роли экономики, так и — в духе марксизма 1960-х гг. — обоснованию самостоятельности духовных явлений.

⁹⁸ Характерно, что в дискурсе Лабрусса, равно как и других историков школы «*Анналов*», апелляция к пространственной трехуровневой схеме становится особенно распространенной в связи с формированием истории ментальностей, которое лишь с небольшой задержкой последовало за осознанием самостоятельности социального по отношению к экономическому. См.: Chaunu P. Un nouveau champ pour l'histoire sérielle: le qualitatif au troisième niveau // *Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*. Vol. 2. Toulouse: Privat, 1973. P. 105–125.

как до них Люсьену Февру, казался чрезвычайно доходчивым способом передать содержание этих концепций и подвергнуть их критике⁹⁹. Вот как, например, Лоренс Стоун описывает «стандартное иерархическое упорядочение» истории в 1960-е гг:

⁹⁹ Эта критика началась в момент распада парадигмы социальной истории и была связана прежде всего с экспансией истории культуры, не желавшей довольствоваться отведенным ей местом на третьем этаже социального здания, но пытавшейся показать роль сознания для понимания всей социальной действительности. Такие претензии неизбежно заставляли ее пересматривать схему трех уровней. О критике в адрес «*Анналов*» в связи с моделью трех уровней см.: Dosse F. *Histoire en mielles*. P. 256. Характерна, в частности, критика Шартье, одного из создателей социокультурной истории во Франции: «Согласно типичному представлению (особенно шокирующему в практике “серийной истории на третьем уровне”), культура является инстанцией (отметим формулу Альтюссера. — Н. К.) социального целого, расположенной “над” экономической и социальной сферами, которые, соответственно, являются двумя первыми ступенями лестницы. Это трехчастное деление... по сути дела повторяет марксистскую категоризацию, систематизированную Луи Альтюссером» (Chartier R. *Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories // Modern European Intellectual History* / Ed. by S. Kaplan, D. LaCapra. Ithaca; London: Cornell U. P., 1982. P. 44). Шартье подчеркивает и то, что при всех своих отличиях от модели Лабрусса теория трех скоростей исторического времени Броделя по сути усиливала стратифицированный образ истории (Chartier R. *Cultural History Between Practices and Representations*. Cambridge: Polity Press, 1988. P. 59). Как мы видели, Бродель отнюдь не считал базовый уровень истории экономикой. Скорее, туда могли попасть некоторые наиболее долгосрочные экономические явления вместе и в связи с явлениями географическими и ментальными, однако Шартье, по-видимому, прав, подчеркивая именно такое прочтение, и влияние, Броделя. Вместе с тем Шартье несколько прямолинейно приписывает марксизму трехчленную модель — она, как мы видели, коренится в более глубокой традиции, хотя и была лишь усилена влиянием марксизма, в частности, во французском контексте — влиянием Альтюссера. Аналогичную критическую позицию по отношению к трехчастной модели заняли и сами руководители «*Анналов*», о чем свидетельствует и состоявшаяся в 1995 г. смена названия. Так, в одной из статей, начавших «критический поворот» «*Анналов*» в конце 1980-х гг., подвергается критике броделевская «метафора этажей истории» и говорится, что история — не сумма «горизонтальных страт человеческого опыта» (Tentons l'expérience // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1318, 1320). «Сегодня кажется, что школьные разграничения (история экономическая, политическая, социальная, культурная) утратили свое значение», — утверждал в том же номере журнала А. Буро (Bureau A. *Propositions pour une histoire restreinte des mentalités // Ibid.* P. 1491). В советской историографии трехчленная модель была совсем другой, к французской трехчленной модели ближе была скорее сложившаяся под ее непосредственным влиянием четырехчленная модель. См.: Копосов Н. Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм.

«Первыми по порядку и по значению шли экономические и демографические факты, затем — социальные структуры и, наконец, интеллектуальные, религиозные, культурные и политические процессы. Эти три элемента представлялись как этажи дома — каждый покоился на нижестоящем»¹⁰⁰.

Конечно, метафоры Броделя, человека с живым поэтическим воображением¹⁰¹, гораздо богаче метафор Лабрусса. Для Броделя характерны гидравлические метафоры, такие, например, как образ океанских течений, казалось бы, напоминающий Люсьена Февра выраженным в нем чувством зыбкой подвижности и сложного пересечения разнонаправленных потоков, или образ сообщающихся сосудов, прямо воспроизводящий идею напряжения, зарядов¹⁰². Но по своей логической природе, а не по художественному воплощению, метафоры Броделя гораздо ближе к механистическому воображению позитивистов. При всей своей поэтичности и очевидной связи с идеей взаимопроникновения потоков метафора трех скоростей исторического времени или трех уровней океанских течений воспроизводит трехэтажную схему комода из красного дерева. Бродель говорит о «расслоении истории на горизонтальные уровни»¹⁰³, о том, что разные уровни обладают различным динамическим потенциа-

¹⁰⁰ Stone L. *The Revival of Narrative: Reflections On a New Old History* // *The Past and the Present*. Boston; London, 1981. P. 79.

¹⁰¹ См. воспоминания жены Фернана Броделя, говорившей о нем как о великом визионере: «Зрелище... Вот ключевое слово для понимания интеллектуальной биографии Броделя, его демарша, который никогда не был демаршем логика или философа. Может быть, это был демарш художника?». Далее Поль Бродель говорит, что впервые осознала это, когда прочитала книгу о визуальной перцепции, где приблизительно так описывается работа художника: «Он видит все, рассматривает все, запоминает множество материальных деталей. Но манит его еще неясное, не до конца осознанное значение, которое он ощущает за этим нагромождением деталей. Писать для него означает передать на картине это внутреннее восприятие, как бы дешифровать смешение, обнаружить и прояснить значимые контуры. Когда я прочла эти строки..., я сразу же подумала о том, что я сама бессознательно замечала, наблюдая внутренний демарш Броделя-историка» (Braudel P. *Les origines intellectuelles de Fernand Braudel: un témoignage* // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1992. Vol. 47. № 1. P. 244).

¹⁰² Rosental P.-A. *Métaphore et stratégie épistémologique: La Méditerranée de Fernand Braudel* // *Alter Histoire* / Pub. par D. S. Milo, A. Boureau. P. 109–126; Kellner H. *Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989. P. 153–187. О метафорах, типичных для дискурса «Анналов», см.: Carrard Ph. *Poetics...* P. 198–217.

¹⁰³ Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. P. 13.

лом, и вес масс воды передается метафорой океанских течений никак не меньше, чем ажурные узоры морской пены. Решающие перемещения происходят на самом низу, на уровне тяжелых масс. Конечно, Бродель не мог не видеть, что трехчастная схема — грубое упрощение, не говоря уже о том, что она находилась в несомненном противоречии с поэтичностью образа моря. Он писал:

«История расположена на разных уровнях, я охотно сказал бы — на трех уровнях, но это — только выражение, причем упрощенное. Изучению подлежат десять, сто уровней, десять, сто различных протяженностей... Каждая социальная реальность порождает свое время»¹⁰⁴.

Но, конечно, сведение многообразия протяженностей к трехчастной схеме было отнюдь не «просто выражением». В значительной мере такого сведения требовала самая возможность построить историческую концепцию из логики взаимодействия трех уровней. Это правильно подчеркивает Дж. Хекстер:

«История как диалектическое взаимодействие двух или даже трех протяженностей, во всяком случае, мыслима. Но ста протяженностей? Бедлам, вавилонское столпотворение»¹⁰⁵.

И все же несмотря на смену акцентов положение социальной истории в рамках этой трехчастной схемы было столь же двусмысленным, как у Блока и Февра. С одной стороны, ее постоянно сужали до истории социальной структуры, с другой — расширяли в пределе до отождествления с историей в целом. При этом тот факт, что социальная история, пусть и с самым неопределенным предметом, все же существует, кажется, не подвергался сомнению. Впечатление, что залогом существования социального было место в стратифицированном образе истории. В каком-то смысле социальная история может быть уподоблена сосюровскому означающему — оно не имеет собственного содержания и может быть идентифицировано и иметь значение только в силу отличий от других, в данном случае более определенных знаков (экономическая, политическая и даже культурная история, по-видимому, никогда не лишались с такой легкостью позитивного содержания). Показательна в этом плане фраза Поля Рикера:

¹⁰⁴ *Ibid.* P. 112, 119. В другом месте Бродель также называет эти уровни лишь «средствами изложения» (*Ibid.* P. 13).

¹⁰⁵ Hexter J. H. Fernand Braudel and the Monde Braudelian. P. 100.

«Под социальной историей следует понимать широкий ряд явлений, простирающихся от того, что Фернан Бродель называл “материальной цивилизацией” .., до того, что некоторые другие называют историей мировосприятия»¹⁰⁶.

Собственно, именно в рамках этой механистической схемы только и был возможен спор о классах и сословиях. Идентичность социального здесь очевидна постольку, поскольку для него остается место в парапространственной модели. Оно чувственно воспринимается как тяжелая материя, однако его бытие логически доказуемо лишь в том случае, если удастся «схватить» его как особый уровень бытия, иными словами, как образ линии в рамках стратифицированного образа истории. Интуиция этого особого уровня и у Мунье, и у Лабрусса питалась образом горизонтальных линий.

Но с возвращением стратифицированного образа истории и интуиции социального как особого уровня бытия возвращается и связанный с той же культурой воображения образ синтетической иерархии. В ней тоже заключена идея особого уровня бытия, который также «схватывается» прежде всего в образе линии. То, что этому образу есть место в общих представлениях об истории, только укрепляет стремление обнаружить синтетическую социальную иерархию. Когда мы встречаемся с сильной интуицией особого уровня социального в рамках стратифицированного образа истории, поиск синтетической социальной иерархии оказывается запрограммированным. Речь идет о том, чтобы оценить социальное в его собственных терминах, не проецируя на него структуру других «этажей» общественного здания, других страт истории, других иерархий. Нельзя описать структуру общества, опираясь на экономические или политические критерии. Нельзя написать социальную историю, исходя из циклов и ритмов экономической или культурной истории. Логика двух линий абсолютно тождественна — в обоих случаях доказательством своеобразия социального служит правильная фигура линии с идеей присущих ей, и только ей, форм членения. Обе линии являются элементами одной и той же системы научного воображения. Их взаимо-

¹⁰⁶ Ricoeur P. *The Contribution of French Historiography to the Theory of History*. Oxford, 1980. P. 29. Другой пример негативного определения социальной истории как «истории без политики» см.: Burke P. *Sociology and History*. London; Boston; Sydney, 1980. P. 19.

связь — вплоть до возможности соскальзывания одного образа в другой — усиливает непосредственную паралогическую убедительность модели социальной истории.

Возможно, мы понимаем некоторые из причин, по которым программу социальной истории выполнить не удалось. Историки не сумели совладать именно с задачей, навязываемой логикой пространства, той логикой, без которой задача не была очевидной. Не сумели в силу неадекватности словесного материала. Тогда историки потянулись к словам, которые неожиданно предстали идеальными фальсификаторами логики пространства. Следом стала распадаться модель глобальной истории. Одним из мотивов перехода к микроистории была, по-видимому, именно возможность нарушить в микромасштабе достаточно жесткую логику привычных макроисторических категорий¹⁰⁷. Вся система воображения, неразрывно связанная с понятийной системой и программой глобальной и социальной истории, перестала быть несомненным референциальным кадром.

Как и в предшествующих случаях, здесь соблазнительно предположить связь между распадом социальной истории и эволюцией современной визуальной культуры. Известно, что в 1950—1960-е гг. имела место актуализация пространственного опыта как источника логических интуиций, причем, по всей вероятности, это было связано с подъемом сциентизма и рационализма. Классическим примером может служить структурализм, но специализация мысли достаточно широко распространилась в культуре этого времени¹⁰⁸. Видимо, реанимация стратифицированного образа истории может считаться одним из проявлений этого движения мысли. Что же касается современного этапа, то, вероятно, есть основания связать распад стратифицированного образа истории с новым кризисом рационального пространства под влиянием опыта ауди-

¹⁰⁷ Вот как Ален Буро подытоживает опыт в этом отношении итальянской микроистории: «Рубрикация дисциплины была таким образом нейтрализована: в пределе, история более не нуждается в именах своих рубрик. Современная история конструирует локальные объекты в локальных кадрах, освобождаясь тем самым от жестких принуждений лингвистического и риторического порядка... Строительные леса теоретических понятий теперь кажутся бесполезными» (Boureau A. Propositions pour une histoire restreinte des mentalités. P. 1492—1493).

¹⁰⁸ Matore G. *L'espace humain: L'expression de l'espace dans la vie, la pensée et l'art contemporain*. Paris: La Colombe, 1962.

овизуальных средств информации¹⁰⁹. Этот опыт привел к усложнению и увеличению разнообразия структур визуального мира, а следом — и визуального воображения, и в таком случае, возможно, в современном периоде следует видеть продолжение тех перемен в восприятии пространства, которые начались революцией в естествознании в конце прошлого века и состояли в актуализации подавленных классической культурой форм пространственности. Но это, вероятно, означает и ослабление паралогических опор традиционной рациональности, связанной с попытками создать законченную модель мира и истории.

На этом мы можем завершить анализ форм мышления, сказавшихся на социальной истории 1960-х гг. Мы надеемся, что этот анализ показал, среди прочего, возможность и продуктивность эмпирического исследования сознания историков. Но в таком случае уместно задаться вопросом, почему мы так мало знаем о том, как думают историки. Анализ истории конструктивистской гипотезы, предлагаемый в следующей главе, позволит нам ответить на этот вопрос.

¹⁰⁹ Mongin O. *Face au scepticisme: Les mutations du paysage intellectuel (1976–1998)*. Paris: Hachette, 1998. P. 217–224. О резком увеличении роли визуальных образов писал П. Франкастель (Francastel P. *Etudes de sociologie de l'art*. Paris: Denoël/Gonthier, 1970. P. 57–58). А. Леруа-Гуран, говоря о революции в восприятии пространства и времени в результате распространения аудиовизуальных средств, подчеркивал, что аудиовизуальная информация приводит к потреблению непосредственно образов и к выстраиванию самостоятельного образного языка, не нуждающегося в опосредовании линейным словесным языком (Le Roy-Gourhan A. *Le geste et la parole*. Paris: A. Michel, 1964–1965. Vol. 1. P. 296; Vol. 2. P. 261).

Глава 5

Три критики исторического разума

В докладе «Ренессанс гегелевской философии в Германии», прочитанном в Кантовском обществе в 1926 г., Генрих Леви отмечал эволюцию немецкой философии, и прежде всего неокантианства, в направлении «ярко выраженной диалектической метафизики в духе Гегеля», причем усматривал в этом отнюдь не влияние философской моды, но внутреннюю неизбежность, характеризуя неокантианство как «предназначенное для гегелевского ренессанса движение»¹.

Доклад Леви носил, конечно же, эпатажирующий характер. В число представителей «гегелевского ренессанса», наряду с Дильтеем, Гуссерлем или Зиммелем, у него попали Коген, Кассирер, Виндельбанд, Риккерт — ключевые фигуры неокантианства. Впрочем, время благоприятствовало подобному эпатажу. Основатели обеих неокантианских школ лежали в могиле, само движение стремительно распадалось, недавние приверженцы, и даже вожди, отходили от него. Оставался лишь год до выхода «Бытия и времени» и три — до дебатов в Давосе, и одинокое недовольство стареющего Риккерта («Разве можно так сказать по-латыни? То, что непереводаемо на латынь, для меня не существует»²) не могло заглушить звучание хайдеггеровского слова.

И все же наблюдения Леви кажутся гораздо более пронизательными, чем это свойственно надгробным речам по отжившим свой век шко-

¹ Levy H. *Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus*. Charlottenburg: Pan-Verlag Rolf Heise, 1927. S. 90, 91. См. современный обзор неогегельянства, также подчеркивающий его связи с неокантианством, но далеко не сводящий одно к другому: Kleiner H. *Neuhegelianismus* // Ritter J., Gründer K. *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd 6. Basel; Stuttgart: Schwabe, 1984. S. 742–747.

² Свидетельство одного из учеников Риккерта, приводимое Э. В. Ортом: Orth E.W. *Préface* // Rickert H. *Science de la culture et science de la nature*. Paris: Gallimard, 1997. P. I.

лам мысли. Такие речи обычно фиксируют для потомства образы интеллектуальных движений — если не создают *post factum* самые движения. Посмертные образы неокантианства — более позднего происхождения, и созданная Кассирером золотая легенда, изображающая его фундаментом современной демократии, и черная легенда Лукача и Гадамера, обвинявших неокантианцев в релятивизме, «разрушении разума», а следом и в идейной подготовке фашизма. Леви, напротив, подчеркивает то внутреннее противоречие неокантианства, которое выступает все более отчетливо в свете недавних исследований: неокантианство было не просто крайне гетерогенным, но и предельно далеким от кантианства течением. Оно могло позволить себе задавать по-кантиански звучащие вопросы³ ровно в той мере, в какой для ответа на них рассчитывало на чуждые критической философии фигуры мысли, и прежде всего — на наследие Гегеля⁴. Этот конфликт европейская мысль пронесла через весь

³ Ср. точку зрения Д. Фрисби, который характеризовал заданный Зиммелем вопрос «Как возможно общество?» как вопрос, заданный лишь «в кажущейся кантианской манере» (Frisby D. *Sociological Impressionism: A Reassessment of Georg Simmel's Social Theory*. London: Heinemann, 1981. P. 66).

⁴ Десятью годами после Леви на эту черту немецкого неокантианства обращал внимание Раймон Арон: «Понимание Канта в Германии постепенно трансформируется, потому что вместо вопроса: как преодолеть метафизику с помощью критики? — все чаще задается вопрос: как восстановить метафизику после осуждения старой метафизики? ... Впрочем, лучшие из этих книг вовсе не выдумывают чуждые Канту идеи. Они обращают внимание на те его тезисы, которые не были замечены ранее, ибо не вписывались в классическую концепцию (критической философии. — Н. К.)» (Aron R. *Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité historique*. Paris: Gallimard, 1986. P. 123). Внимательный анализ соотношения, например Канта и Дильтея показывает небезосновательность подобной оценки (Makkreel R. A. *Dilthey: Philosopher of the Human Studies*. Princeton (N. J.): Princeton U. P., 1975). Внутренняя близость неокантианства и гегельянской традиции неувидительна, поскольку неокантианство развивается не просто из распада гегелевской системы, но и непосредственно в гегельянских кругах, из которых вышли Тренделенбург, Целлер, Фишер, Лотце, Либман (Köhnke K. C. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986). Т. Уилли характеризует эволюцию неокантианства как круговое движение, начавшееся и закончившееся гегельянством (Willey T. E. *Back to Kant: The Revival of Kantianism in German Social and Historical Thought, 1860–1914*. Detroit: Wayne State U. P., 1978. P. 117, 120). О близости к неогегельянству взглядов Зиммеля и Дильтея см.: Frisby D. *Sociological Impressionism...* P. 74; Mesure S. *Dilthey et la fondation des sciences historiques*. Paris: Presses Universitaires de France, 1990. P. 17–18; Jensen B. E. *The Recent Trends in the Interpretation of Dilthey // Philosophy of the Social Sciences*. 1978. Vol. 8.

XX в. Именно благодаря ему зародившаяся в рамках неокантианской философии истории конструктивистская гипотеза получила лишь весьма одностороннее развитие и не благоприятствовала эмпирическому исследованию мышления историков. Чтобы убедиться в этом, мы рассмотрим три попытки критики исторического разума — критическую философию истории, школу «Анналов» и «лингвистический поворот»³.

По ходу обзора мы встретимся с тремя основными версиями конструктивистской гипотезы, которые можно условно назвать герменевтической, позитивистской и постмодернистской. Границы между этими версиями оставались размытыми, и элементы разных версий нередко сочетались в рассуждениях одного и того же автора. В целом для немецкой критической философии была характерна герменевтическая версия конструктивистской гипотезы, во французской традиции (будь то социология Дюркгейма или школа «Анналов») преобладала позитивистская версия (хотя и здесь присутствовали элементы герменевтической версии), а лингвистический поворот основывается на постмодернистской версии конструктивизма (достаточно близкой к герменевтической).

Суть этих версий можно резюмировать следующим образом. Герменевтическая версия исходит из убеждения в консубстанциональности субъекта и объекта исторического познания. Именно консубстанциональность позволяет познающему сознанию понять сознание познаваемое. Тезис о том, что история является конструктом разума, здесь понимается в том смысле, что история является результатом действия наделенных сознанием людей и, следовательно, воспроизводит формы их сознания. Целью исторического исследования в таком случае оказывается понять сознание действующих в истории людей. В итоге вопрос о том, как сказываются формы сознания историков на формах истории, Р. 423, 425–426. Конфликтом кантианской и гегельянской традиций объяснял противоречивость методологических взглядов Макса Вебера и его современников Г. Оакс (Oakes G. *Methodological Ambivalence: The Case of Max Weber // Social Research*. 1982. Vol. 49. № 3. P. 595–596). Роль гегельянской традиции (наряду с кантианской) для Дюркгейма с его склонностью к «социальной метафизике» подчеркивал Д. ЛаКапра (LaCapra D. *Emile Durkheim: Sociologist and Philosopher*. Ithaca; London: Cornell U. P., 1972. P. 294).

³ История конструктивистской гипотезы, естественно, далеко не сводится к этим трем течениям мысли. Ср. обзор релятивистских тенденций в американской историографии: Novick P. *That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession*. Cambridge; New York: Cambridge U. P., 1988.

оказывается излишним. Его место занимает изучение форм самой истории. Сознание субъектов исторического процесса в качестве предмета анализа подменяет собой сознание историков.

Для позитивистской версии конструктивистской гипотезы характерно жесткое разведение познающего субъекта и объекта познания. История понимается здесь как продукт сознания историков. Однако этот продукт способен приблизиться к исторической истине. Конструирование истории историками рассматривается как контролируемый разумом процесс выдвижения и верификации гипотез. Предпосылкой такого подхода оказывается идея эпистемологической купюры. Если разум историка не очищен от предрассудков обыденного сознания, конструирование истории носит неосознанный и ненаучный характер. В таком случае структуры разума историка произвольно проецируются на историю. Но этот донаучный подход (обычно приписываемый оппонентам) преодолим. Историк способен занять критическую позицию по отношению к формам обыденного сознания и рационально конструировать историю. Тогда история, как и любая другая наука, станет создателем своих объектов и сможет приблизиться к исторической реальности. Если для герменевтической версии из тезиса о том, что история есть конструкт сознания, следовал вывод о необходимости изучать сознание субъектов истории, то для позитивистской версии из указанного тезиса следовал вывод о необходимости лучше пользоваться познающим сознанием. В обоих случаях, однако, для изучения сознания историков не оставалось места.

Постмодернистская версия конструктивистской гипотезы исходит из представления о том, что мир дан нам только в языке и благодаря языку и что, следовательно, наши представления об истории являются лишь результатом действия «лингвистических протоколов», которыми порождены исторические тексты. Отсюда — внимание к лингвистическим аспектам сознания историков. Действительно, именно в рамках лингвистического поворота сознание историков, пусть только в своей лингвистической части, впервые стало предметом эмпирических исследований. Однако концепция языка, на которой основывается лингвистический поворот, сближает постмодернистскую версию конструктивистской гипотезы с герменевтической. В обоих случаях речь идет о преодолении дуализма субъекта и объекта познания. Если сознание

действующих лиц и исследователей истории в равной мере сводится к языку, то в конечном итоге история предстает как диалог текстов. Это позволяет снять проблему познающего сознания и рассматривать историю как продукт языковых механизмов, действовавших в сознании субъектов исторического процесса. Неудивительно, что лингвистический поворот имеет тенденцию пониматься именно в герменевтическом смысле.

В противоположность трем перечисленным версиям конструктивистской гипотезы мы исходим из следующего ее понимания. Разум историка не сводится к лингвистическому модулю, но и не является абсолютно рациональным. Историк не может обойтись без проецирования на историю форм своего разума (независимо от того, считает ли он эти формы достаточно точно воспроизводящими формы истории или нет), ибо мир, включая историю, дан ему только как проекция форм его собственного сознания. Несмотря на то, что разум историка и разум субъектов истории принадлежат к одному порядку явлений, история все равно остается конструктом разума историка, который полагает ее как объект познания. Иными словами, история — это то, что историк полагает в качестве трансцендентального наблюдателя, и такая ситуация непреодолима, поскольку позиция трансцендентального наблюдателя — одна из свойственных нашему разуму форм полагания мира. Отсюда задача изучения того, как историки конструируют историю, оказывается самостоятельной исследовательской задачей.

Теперь мы можем перейти к обзору истории конструктивистской гипотезы.

1. Критическая философия истории

В последние два десятилетия наметился подъем интереса к неокантианству⁶. Причиной стало осознание того обстоятельства, что опыт

⁶ Ollig H.-L. *Der Neukantianismus*. Stuttgart, 1979; *Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus* / Hrsg. von W. Flach, H. Holzhey. Hildesheim: Gerstenberg Verlag, 1980; Holzhey H. *Neukantianismus* / Ritter J., Gründer K. *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Vol. 6. S. 747–754; *Neukantianismus: Perspektiven und Probleme* / Hrsg. von E. W. Orth, H. Holzhey. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1994; Köhnke K. C. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus*; Sieg U. *Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus: Die Geschichte einer philosophischen Schulgemeinschaft*. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1994.

неокантианства «парадигматичен для понимания нашей собственной эпохи»⁷. В перспективе данного исследования фундаментальная роль неокантианства для современной мысли выступает особенно отчетливо: ведь именно неокантианство стало центральным элементом того интеллектуального перелома, из которого рождается парадигма социальных наук.

В этой связи уместно сказать несколько слов о терминах. Авторов, на творчестве которых нам предстоит сейчас остановиться, трудно поместить под общую этикетку. Правда, Дильтея, Зиммеля, Риккерта и Вебера привычно характеризовать как критических философов истории (несмотря на острые споры, например, Дильтея с баденскими неокантианцами), но этот термин слишком явно отсылает к кантианской традиции, и его применение к неогегельянцу Кроче или позитивисту Дюркгейму может вызвать протест. Все же за неимением лучшего обозначения мы будем пользоваться этим. С одной стороны, как мы увидим, не только немецкая критическая философия истории, но и параллельные ей попытки эпистемологического обоснования социальных наук в других странах испытали заметное влияние кантианства. В этом смысле ко всему поколению основателей социальных наук применима знаменитая формула Виндельбанда: «Мы все, философствующие в XIX веке, — ученики Канта»⁸. С другой стороны, все эти ученики без исключения достаточно вольно обращались с наследием учителя. Даже «формальные» неокантианцы были весьма далеки от Канта. По выражению К.-Х. Конке, они «не были кантианцами. Они были НЕО-кантианцами»⁹.

⁷ Orth E. W., Holzhey H. Vorwort // *Neukantianismus: Perspektiven und Probleme* / Hrsg. von E. W. Orth, H. Holzhey. S. 5.

⁸ По словам Виндельбанда, «кантовская критика настолько широко преподавалась в качестве отправной точки всего философского мышления, что она повлияла на многих ученых, не являвшихся профессиональными философами» (цит. по: Willey T. E. *Back to Kant*. P. 131). В аналогичном смысле высказывались и другие видные ученые, например, В. Вундт: «Кантовская критика познания представляет собой основу, на которой стоят эмпирические и философские науки нашего столетия... (Она) является главной и чаще всего неосознанной составной частью всего нашего научного образования» (цит. по: Зандкюлер Г. Й. *Действительность знания: Историческое введение в эпистемологию и теорию познания*. М.: Изд-во РАН, 1996. С. 219).

⁹ Köhnke K.-C. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus*. S. 387. О внутренней гетерогенности неокантианства см.: *Ibid.* S. 213–214. См. также характеристику немецких критических философов истории у Р. Арона: «Критика в кантовском смысле не

Иными словами, критическая философия конца XIX в. являлась самостоятельным интеллектуальным течением (или, точнее, целой группой самостоятельных течений), а отнюдь не механическим продолжением кантианства. Кант служил ей одной из главных философских референций, но ее проблемный горизонт был уже иным. В частности, для критических философов истории как в Германии, так и за ее пределами речь шла не столько о распространении критицизма на новую для него территорию истории (как это обычно представляли сами критические философы истории от Дильтея и Зиммеля до Коллингвуда), сколько об использовании этой новой территории для переосмысления эпистемологической проблематики, иными словами — для ревизии кантианства¹⁰.

Наш анализ мы начнем с Германии. Критическая философия истории была неразрывно связана здесь с традицией историзма — важнейшего для немецкой культуры интеллектуального течения¹¹, а это значит — с рядом глубоко укорененных в этой культуре установок сознания. Возникновение набора этих установок, равно как и историзма, относится к концу XVIII — началу XIX в., т. е. к периоду, отмеченному влиянием неогуманизма и романтизма. Именно к указанным интеллектуальным движениям восходят основные темы и фигуры мысли, свойственные немецкой критической философии истории.

Важнейшим убеждением немецкого неогуманизма было представление о творческой деятельности как о высшем предназначении челове-

занимает центрального места ни в доктрине Дильтея, ни в доктрине Зиммеля. А неокантианство Риккерта — это философия ценностей» (Aron R. *La philosophie critique de l'histoire: Essai sur une théorie allemande de l'histoire*. Paris: Vrin, 1969. P. 18). Еще резче высказывается Г. Вагнер: «Применительно к Юго-Западной немецкой школе неокантианства речь ни в коем случае не идет даже о модифицированном кантианстве» (Wagner G. *Geltung und normativer Zwang: Eine Untersuchung zu den neukantianischen Grundlagen der Wissenschaftslehre Max Webers*. Freiburg; München: Alber, 1987. S. 11). По Вагнеру, философско-исторические взгляды Виндельбанда и Риккерта были ближе всего к неосхоластике XIX в., и прежде всего — к Герману Лотце.

¹⁰ Тот же Коллингвуд подчеркивал, что за освоением новой философской территории с необходимостью следовал второй этап — «радикальный пересмотр всех философских проблем в свете результатов, полученных философией истории» (Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории: Автобиография*. М.: Наука, 1980. С. 10, 221).

¹¹ Дж. Иггерс называет историзм «немецкой идеей истории» (Iggers G. G. *The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present*. Middletown (Connecticut): Wesleyan U. P., 1968).

ка, как об отличительном свойстве человеческой природы¹². Творческая деятельность рассматривалась как привнесение человеком в мир порядка и смысла. Отсюда логически дополнительной к идее творческой личности являлась идея неупорядоченности мира¹³. Конструктивизм был заложен в неогуманизме.

Однако творчество рассматривалось гораздо более широко, нежели только как созерцание. Напротив, существовала сильная тенденция подчинять созерцание деятельности. Человек неогуманизма — это не столько противопоставленный миру абстрактный наблюдатель, сколько частица одухотворенной, неупорядоченной и бесконечно богатой природы. Если ощущение принадлежности к природе могло совмещаться с ощущением собственной духовности и причастности к мировой культурной традиции (иными словами, с идеалом *Bildung*), то только в силу свойственной эпохе пантеистической установки, невысказанной уверенности в неизбывном присутствии духа в мире.

Романтическое недоверие к разуму вело к представлению о принципиальной бедности понятий по сравнению с жизнью, о зависимости теоретического разума от практического, а понятий — от этических суждений. Конструируя мир, теоретический разум обедняет его, но вместе с тем подчиняет собственной логике. Между разумом и миром, между структурой понятий и структурой бытия предполагался разрыв (*hiatus irrationalis*). В этом контексте и следует понимать знаменитое противопоставление естественных и исторических наук. Историческое познание тоже рассматривалось как творчество, как упорядочение и наделение смыслом мира, оно тоже обедняло мир и подчиняло его логике своих понятий, но все же эти последние в известном смысле больше соответствовали структурам реальности, поскольку схватывали индивидуальные явления, а не сводили их к абстрактным генерализациям. Именно поэтому исторические науки могли именоваться науками о реальности¹⁴. Уже

¹² Cassirer E. *The Logic of Humanities*. New Haven: Yale U. P., 1961. P. 21–22.

¹³ «Эмпирическая действительность для нас абсолютно иррациональна» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в исторические науки*. СПб.: Наука, 1997. С. 386).

¹⁴ Зиммель характеризовал историю как «науку, занимающуюся единственно действительностью» (Simmel H. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie: Eine erkenntnistheoretische Studie*. München; Leipzig: Duncker und Humblot, 1923. S. 43). На эту тему многократно и недвусмысленно высказывался Риккерт: историю «по сравнению с есте-

здесь заметен присущий историзму конфликт между конструктивизмом и метафизикой. Но идея противопоставленного природе исторического мира имела и другие метафизические основания. Она опиралась на представление о противоположности двух областей реальности — царства необходимости и царства свободы. Излишне подчеркивать фундаментальность этого противопоставления, восходившего к тысячелетнему спору о свободе воли, для традиции европейского гуманизма. В частности, понимание истории как царства свободы, где вместо безличных законов действуют морально ответственные индивиды, было важнейшим элементом наследия Канта. Таково же было и базовое убеждение историзма.

Тезис о неподводимости исторического мира под общие понятия наук о природе имел особое значение в контексте отношения к традициям Просвещения с его стремлением создать науку о неизменной человеческой природе. Главным инструментом такой науки должно было служить понятие естественного права. Универсализм Просвещения воспринимался в Германии после Наполеоновских войн едва ли не как орудие французской экспансии. Ему противопоставлялась идея самобытности отдельных исторических индивидуумов в широком смысле слова (таких, например, как немецкий народ). Человеческая история с точки зрения историзма — это череда несоизмеримых исторических эпох или культур, каждую из которых бессмысленно судить в терминах другой, поскольку каждая, по известной формуле Ранке, «находится в непосредственном отношении к Богу», т. е. имеет свою собственную неповторимую индивидуальность, свое предназначение, свой смысл.

Этот вывод, однако, имел несомненные релятивистские импликации. Ведь и сам историк в таком случае ограничен понятиями, свойствомознанием ... можно охарактеризовать как подлинную науку о действительности (*eigentliche Wirklichkeitswissenschaft*); «эмпирическая действительность тождественна для нас с логическим понятием об историческом» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 223–225, 232, 319). Макс Вебер также называет социальную науку, в отличие от естествознания, «наукой о действительности (*Wirklichkeitswissenschaft*)» (Weber M. Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1968. S. 170). «Страстное стремление к реальности» было, по словам Дильтея, важнейшей чертой интеллектуального климата эпохи. О «вкусе» критических философов к реальности см.: Holborn H. Wilhelm Dilthey and the Critique of Historical Reason // *Journ. of the History of Ideas*. 1950. Vol. 11. P. 97–100.

венными его собственной культуре. Представление о зависимости историка от культуры его времени хорошо согласовывалось с идеей о зависимости созерцания от деятельности. Именно с погруженностью историка в жизнь связана главная трудность подлежащей историцизму теории познания. Однако ставшая очевидной в конце XIX в. и вызвавшая к жизни критическую философию истории¹⁵, эта трудность на протяжении нескольких десятилетий оставалась незамеченной, и причина здесь, по-видимому, все в том же пантеистическом настроении, свойственном немецкой профессуре первой половины XIX в. Ограниченный понятиями своей культуры, историк был вместе с тем причастен и к высшему разуму, который позволял ему возвыситься над этими ограничениями и проникать в смысл других культур¹⁶. Религиозное сознание XIX в. изу-

¹⁵ Дильтей писал: «Как преодолеть (следующую из историцизма. Н. К.) анархию мнений...? Ответу на этот вопрос я посвятил всю мою жизнь» (цит. по: Makkreel R. A. *Dilthey*. P. 3), и это вместе с ним могли повторить все остальные критические философы.

¹⁶ Именно таков смысл известной фразы Ранке, считавшего, что историк должен рассказывать о том, «как было на самом деле (*wie es eigentlich gewesen*)». Эту фразу обычно считают едва ли не классическим выражением позитивистской методологии. Подобная интерпретация основана на глубоко укоренившемся недоразумении. Заподозрив недоразумение заставляет уже то, что один из основоположников немецкого историцизма выступает символом позитивизма. Эта фраза взята из предисловия к «*Истории романских и германских народов*» (1824), где Ранке противопоставляет себя морализирующим историкам, которые приписывают истории «власть судить прошлое». Но главная мишень Ранке — философия истории Гегеля, который, по мнению приверженцев историцизма, игнорировал уникальность отдельных культур (в 1822 г. Гегель начал читать в Берлинском университете лекции по философии истории). В сущности, Ранке имел здесь в виду то же самое, что и в другой своей известной фразе — «каждая эпоха находится в непосредственном отношении к Богу» (Ranke L. von. *Ueber die Idee der Universalhistorie // Historische Zeitschrift*. 1954. Bd 178. S. 284). Поэтому *wie es eigentlich gewesen* следует понимать не столько как противопоставление фактов теориям, сколько как противопоставление уникальности отдельных исторических явлений универсальным законам истории. При этом следует подчеркнуть, что фраза Ранке переводится обычно не совсем точно. Ее центральное слово — *eigentlich* — значило прежде всего «собственно» и даже «в сущности», отсылая к идее схватываемой историком индивидуальной, «собственной» сущности исторических явлений. Объективность в понимании Ранке означала некоторую божественную способность проникать в сущность исторических явлений. Это точно подметил Зигфрид Кракауер: «Объективность, к которой он (Ранке) стремится, — это объективность особого рода. Отчасти она основана на убеждении, что Бог манифестирует себя в развертывании всемирной истории. Ранке здесь находится под влиянием собственных религиозных чувств. Он заявляет, что историография выполняет свою высшую миссию, если она достигает сопереживания вселенной

чено недостаточно, и мы мало знаем о механизмах постепенной секуляризации европейского разума, о том, какой облик принимали свойственные христианству фигуры мысли, интегрируясь в новую светскую культуру. Как бы то ни было, представление о всеобщем присутствии духа в мире как о факторе гармонии и высшего смысла было необходимо историзму, иначе слишком очевидными становились его иррационалистические импликаци¹⁷.

и внутреннего понимания ее тайн. В таком случае историк должен аннигилировать свою личность не только для того, чтобы бесстрастно излагать ход прошлых событий, но в надежде превратиться в соучаствующего наблюдателя... В идеальном историке Ранке неангажированный исследователь, стремящийся излагать факты, какими они были, сливается воедино с верующим, если не мистиком, который очищает свой разум, чтобы созерцать чудо божественной мудрости» (Krausauer S. *History: The Last Things Before the Last*. New York: Oxford U. P., 1969. P. 81). О «телеологическом теизме» Ранке писал Т. Уилли (Willey T. E. *Back to Kant*. P. 48). Сам Ранке совершенно недвусмысленно высказывался о квазибожественной природе исторического творчества: «Историк — всего лишь орган духа, который, говоря его устами, являет себе самого себя» (Ranke L. von. *Ueber die Idee der Universalhistorie*. S. 284). Похоже рассуждал и Гумбольдт, согласно которому факты — «сырье истории, но не сама история», ибо подлинно историческое представление есть раскрытие недоступной наблюдению «внутренней правды» событий прошлого, правды, «схватываемой» историком в интуитивном творческом акте (Humboldt W. von. *Ueber die Aufgabe des Geschichtsschreibers. Gesammelte Schriften*. Bd 4. Berlin, 1903. S. 36). См. также: Ritter G. *Scientific History, Contemporary History and Political History // History and Theory*. 1961. Vol. 1. № 3. P. 265; Unger R. *The Problem of Historical Objectivity: A Scetch of its Development to the Time of Hegel // History and Theory*. Beiheft 11. *Enlightened Historiography: Three German Studies*, 1971; Kruger L. *Ranke: The Meaning of History*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1977; Bann S. *The Clothing of Clío: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France*. Ch. 1. Cambridge; London; New York: Cambridge U. P., 1984. О том, как и почему сформировался образ Ранке — позитивиста, см.: Iggers G. G. *The German Conception of History*. P. 63–64, 90–91, 105; Idem. *The Image of Ranke in American and German Historical Thought // History and Theory*. 1962. Vol. 2. № 1. P. 17–40; Idem. *Introduction // Ranke L. von. The Theory and Practice of History / Ed. by G. G. Iggers, K. von Moltke*. New York: Bobbs-Merrill, 1973. P. XII, XIX–XX; Novick P. *That Noble Dream*; Keylor W. R. *Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1975. P. 8, 76, 112.

¹⁷ По словам Г. Иггерса, для теории познания историцизма характерна «глубокая вера в высшее единство жизни в Боге» (Iggers G. G. *The German Conception of History*. P. 8–9, 10). По утверждению У. Клабека, «понятие пантеизма было центральным в мысли Дильтея», чья философия жизни была «секуляризацией пантеистического понятия единства мира и духа» (Kluback W. *Wilhelm Dilthey's Philosophy of History*. New York: Columbia U. P., 1956. P. 5, 55). О религиозности XIX в. см.: Baumer F. L. *Religion and the Rise of Skepticism*. New York: Harcourt, 1960.

Конечно, для интеллектуального климата в Германии XIX в. был характерен скептицизм, а наследие романтизма добавляло к нему иррационалистические нотки. Однако «трагическое сознание» нередко совмещалось с глубинным эпистемологическим оптимизмом¹⁸. Разочарование в метафизических конструкциях, даже пробуждая сомнения в познаваемости мира, еще не означало неверия в науку. Кант, показавший сложную природу и ограниченность возможностей познания, но тем не менее обосновавший достоверность последнего в известных рамках, стал символом этого умонастроения. Неокантианство было в полном смысле слова «профессорской идеологией»¹⁹. Но важным фактором сохранения эпистемологического оптимизма оставалось представление о причастности субъекта и объекта познания к некоторому общему началу, об их своего рода предустановленной гармонии.

Именно постепенная секуляризация сознания, по-видимому, ответственна за кризис историзма в конце XIX в., когда имплицитная апелляция к пантеизму оказалась невозможной, и в «сумерках богов» обнаружилась недостаточность логических оснований науки²⁰. Ведущей темой немецкой философии конца XIX в. стало обоснование объективности познания в условиях погружения в мир или, точнее, историзации субъекта познания²¹. Тема обоснования объективности была, естественно, кантианской. Но утраченный пантеистический ответ не имел ничего общего с критицизмом. Этому ответу надо было найти замену. Новый ответ, однако, должен был воспроизвести логическую структуру старого, в противном случае вся конструкция грозила распадом. Надо было дать новое имя познающей самой себя субстанции.

Конечно, погружение субъекта познания в мир открывает и другие возможности рассуждений. Можно, например, подвергнуть эмпирическому исследованию формы конструирования субъектом-в-мире объектов того, что он называет познанием, в том числе и такого объ-

¹⁸ Iggers G. G. *The German Conception of History*. P. 127.

¹⁹ Willey T. E. *Back to Kant*. P. 74, 343; Köhnke K.-C. *Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus*.

²⁰ Iggers G. G. *The German Conception of History*. P. 13–14.

²¹ Groethuysen B. *Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche*. Paris: Stock, 1926.

екта, как история. Но подобный подход возможен лишь при условии, что нам безразлична проблема объективности. Для критических философов истории наука оставалась непреерекаемой ценностью. Поэтому их уделом было повторить опыт гегелевского преодоления кантовского дуализма. Метафизический монизм культуры стал воспроизведением абсолютной идеи и пантеистической веры в единство мироздания. На пути анализа исторического мира открывалась возможность создания новой метафизики. В этих условиях неудивительно, что конструктивистская гипотеза, постоянно появляющаяся в сочинениях немецких историков и философов XIX — начала XX в., воплотилась не в критике историографии, но в «исторической науке о культуре»²².

Мы можем перейти теперь к обзору взглядов критических философов истории. Программу критики исторического разума обычно связывают с «Введением в науки о духе» Вильгельма Дильтея, хотя многие ее элементы гораздо старше²³. Но именно Дильтей впервые эксплицитно формулирует задачу анализа исторического познания как развитие

²² Общие обзоры критической философии истории: Mandelbaum M. *The Problem of Historical Knowledge: An Answer to Relativism*. New York: Liveright, 1938; Antoni C. *From History to Sociology: The Transition in German Historical Thinking*. Detroit: Wayne U. P., 1959; Hughes H. S. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought, 1890–1930*. London: MacGibbon and Kee, 1967; Iggers G. G. *The German Conception of History*; Oakes G. *Weber and Rickert: Concept Formation in the Social Sciences*. Cambridge: The MIT Press, 1988; Rüsen J. *Geschichte des Historismus*. München, 1992; Wittkau A. *Historismus: Zur Geschichte des Begriffs und des Problems*. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1992; Bambach Ch. R. *Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism*. Ithaca: Cornell U. P., 1995.

²³ «Введение» увидело свет в 1883 г., но программа критики исторического разума сложилась уже в ранних произведениях Дильтея и фактически представляла собой теоретическую систематизацию историко-философских воззрений историзма. Дильтей был учеником Ранке, и неудивительно, что, по словам Лессинга, исследовавшего формирование его взглядов, «дух исторической школы... был главным источником интеллектуального развития Дильтея» (Lessing H.-U. *Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft: Wilhelm Diltheys erkenntnistheoretisch-logisch-methodologische Grundlegung der Geisteswissenschaften*. Freiburg; München: Alber, 1984. S. 42). Об историко-философских взглядах Дильтея см. также: Diwald H. *Wilhelm Dilthey: Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte*. Göttingen: Musterschmidt, 1963; Ermarth M. *Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1978.

кантовской критической философии²⁴. Однако Кант, исходивший из конструктивистской гипотезы в обосновании наук о природе, как известно, совершенно не касался проблем исторического познания. Главный тезис его философии истории состоял в противопоставлении истории как царства свободы природе как царству необходимости. Подобно Канту, Дильтей подчеркивает, что отличие человека от природы — в его суверенной воле²⁵, однако на первый план для него выдвигается вопрос об условиях исторического познания. Здесь Дильтей мог опираться не только на опыт кантовского обоснования наук о природе, но и на элементы конструктивистской гипотезы у учеников Гегеля (например, Эрдмана) и у приверженцев историзма (Гумбольдта, Ранке или Дройзена), которым история также представлялась конструктом разума (правда, не столько субъективного разума историка, сколько абсолютного разума, которому историк сопричастен)²⁶.

²⁴ «Он считал себя Кантом гуманитарных наук», — писал о Дильтее Э. Кракауер (Kraeuper S. *History*. P. 17). В одном из текстов 1867 г. Дильтей так определяет свою задачу: «Наша цель ... — пройти до конца критический путь Канта и основать эмпирическую науку о человеческом разуме» (цит. по: Kluback W. *Wilhelm Dilthey's Philosophy of History*. P. 48). Отношения Дильтея с неокантианцами дали повод для многочисленных комментариев (Makkreel R. A. *Dilthey*. P. 218–225; Idem. *Wilhelm Dilthey and the Neo-Kantians: The Distinction of the Geisteswissenschaften and the Kulturwissenschaften // Journ. of the History of Philosophy*. 1969. Vol. 7. P. 423–440; Lessing H.-U. *Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft*. S. 25; Mesure S. *Dilthey et la fondation des sciences historiques*. P. 141–167), и хорошо известно, что Дильтей весьма критически относился к логическим теориям баденских неокантианцев. Однако противопоставлять на этом основании Дильтея критической традиции было бы неправомерно, и прав Лессинг, говоря, что Дильтей «с полным правом может быть причислен к неокантианцам» (Lessing H.-U. *Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft*. S. 53).

²⁵ Dilthey W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften // Gesammelte Schriften*. Bd 1. Berlin: Teubner, 1914–1933. S. 6.

²⁶ Ende H. *Der Konstruktionsbegriff im Umkreis des Deutschen Idealismus*. Meisenheim am Glan: A. Hain, 1977. S. 77–81. Будь то эманация абсолютной идеи во всемирной истории (как у Гегеля и его учеников) или реализация различных идей в разных культурах (как у истористов), история в обоих случаях зависела от форм разума. Впрочем, основатели историзма подчеркивали и роль субъективного сознания историка в конструировании им истории. Так, Гумбольдт отмечал ключевую роль воображения в работе историка, поскольку именно воображение позволяет связывать воедино исторические факты (Humboldt W. von. *Ueber die Aufgabe des Geschichtsschreibers*. S. 37. В творчестве И. Г. Дройзена исследователи также констатируют многие из постулатов критической философии истории (Droysen J. G. *Die Erhebung der Geschichte zum Rang*

Конструктивизм Дильтея несомненен²⁷. В отличие от Ранке или Дройзена, Дильтей определенно связывает проблему исторического познания с субъективным сознанием историка, а не с говорящим устами историка божественным разумом. Важнейшей чертой его конструктивизма было погружение субъекта познания в мир, попытка преодолеть изоляцию познания от других аспектов существования человека. «В веках познающего субъекта, как его понимали Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, но жидкий сок разума», — писал он, призывая понимать субъекта познания как «человека целиком... человека в разнообразии его способностей, имеющего волю, чувства и способность мышления»²⁸. Подобное «схождение» исторического разума с неба на землю является важнейшей предпосылкой изучения ментальности историков. Однако для Дильтея (как и других неокантианцев) опасность субъективизма, следующая из такого демарша, делала неизбежным поиск новой формы сверхиндивидуального разума, с которой можно было бы связать идею объективности познания.

Путь Дильтея к обоснованию объективности весьма похож на путь историков школы Ранке. Как и они, Дильтей разделяет понимание истории как науки об индивидуальных явлениях²⁹. Отсюда у него следует важнейший для всего немецкого неокантианства вывод:

«Между социоисторической действительностью и разумом существует гораздо более выигрышное отношение (чем между природой и разумом. — Н. К.). Разуму в нем самом непосредственно дано единство, являющееся образующим элементом самых сложных форм общест-

einer Wissenschaft // *Historische Zeitschrift*. 1863. Bd. 9. S. 1–22; Idem. *Historik*. München, 1971; Rüsen J. *Begriffene Geschichte: Genesis und Begründung der Geschichtstheorie*. J. C. Droysens. Paderborn, 1969). Правда, кантианский пафос пока еще не стал знаменем времени, и конструктивизм Дройзена носил гораздо более непосредственно выраженные гегельянские черты.

²⁷ «Любая наука основана на опыте, но любой опыт находит свое исходное единство только в условиях нашего сознания», — писал Дильтей. Критику исторического разума Дильтей понимал как «критику способности человека познать самого себя, равно как и свои создания — общество и историю» (Dilthey W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. S. XVII, 116).

²⁸ *Ibid.* S. XVIII.

²⁹ «Цель, преследуемая науками о духе, — схватить социоисторическую реальность в том, что в ней есть единичного, индивидуального»; «понимание уникальных индивидуальных фактов представляет высшую цель этих дисциплин» (Dilthey W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. S. 27, 26).

ва, тогда как соответствующее формообразующее начало в науках о природе должно достигаться инференцией в результате исследования»³⁰.

На этот счет у Дильтея встречается множество недвусмысленных высказываний, включая и знаменитую формулу: «Мы объясняем природу, но понимаем психическую жизнь»³¹. По справедливому замечанию одного исследователя его творчества, для Дильтея «науки о духе специфичны тем, что в них имеет место идентичность объекта и субъекта познания»³². Именно в этой связи Дильтей подчеркивает своеобразие логических форм наук о духе, которое упускают позитивисты, стремящиеся всюду видеть работу индукции³³. Эта логика неприменима в науках о духе именно вследствие сопричастности познающего к природе познаваемого:

«Жизнь, жизненный опыт и науки о духе постоянно находятся в отношениях тесной связи и взаимозависимости. Основу наук о духе составляет не понятийный демарш, но схватывание психического состояния в его целостности и способность воспроизвести его путем переживания. Здесь жизнь познает жизнь... (Отсюда) резкое различие между науками о природе и науками о духе. В первых имеет место разрыв между нашим повседневным отношением к внешнему миру и естественно-научным способом мышления, в то время как во вторых сохраняется внутренняя близость жизни и науки, благодаря которой совершаемое жизнью образование понятий остается основой научного творчества»³⁴.

Итак, казалось бы, для Дильтея существует проблема своеобразия исторических понятий. Собственно, именно идея континуума является у Дильтея наиболее близкой к тому, что могло бы быть рассмотрено как

³⁰ *Ibid.* S. 28.

³¹ Dilthey W. *Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie // Gesammelte Schriften*. Bd V. S. 144. Вот несколько других высказываний: «Различие в нашем отношении к обществу и к природе» состоит в том, что «социальные факты нам понятны изнутри», тогда как «природа нема для нас... Природа нам чужда... Общество является нашим миром» (Dilthey W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. S. 38). «Континуум природы дан нам только в силу инференции, с помощью установления связей между гипотезами. Но наукам о духе... континуум психической жизни дан как первичный и фундаментальный» (Dilthey W. *Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie*. S. 143–144).

³² Lessing H.-U. *Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft*. S. 301.

³³ Dilthey W. *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. S. 46–47.

³⁴ Dilthey W. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften // Gesammelte Schriften*. Bd 7. S. 136.

априори исторического разума. Здесь было бы логичным задать вопрос о том, как именно структурирован этот континуум, какие именно факторы сказались на его формах и т. д. Дильтей, однако, не задает этого вопроса. На самом деле его мало интересуют возможные логические особенности исторических понятий. Ему достаточно подчеркнуть их связь с «совершаемым жизнью образованием понятий». Иными словами, его интересует статус, а не структуры исторических понятий, а в их статусе — лишь связь с жизненным опытом, которая и вовсе позволяет снять проблему их структур³⁵ и при этом обосновать их объективность. Тема объективности возникает именно в связи с историчностью субъекта познания³⁶, но вместо того, чтобы видеть в историчности ограничение объективности, Дильтей пытается обнаружить в ней его условие. Именно историческая жизнь в обществе является источником общезначимости индивидуального опыта:

«Только понимание преодолевает ограниченность индивидуально пережитого опыта... Взаимное понимание обеспечивается общностью, существующей между индивидами... Общность жизненных единств поэтому — исходный пункт отношений между общим и особенным в науках о духе. Всякое понимание мира духа пронизано базовым опытом общности, в котором совмещаются сознание единства себя с сознанием подобия другим, единства человеческой природы и индивидуальности... В понимании объективация жизни проявляется в противоположность субъективности пережитого опыта. Наряду с пережитым опытом, интуиция объективности жизни, ее отчуждения в различные структурные ансамбли становится основой наук о духе»³⁷.

Опыт фактически оказывается социальным институтом, иными словами, условием объективности как необходимой формы сознания, а тем

³⁵ Именно поэтому, по-видимому, Дильтей подчеркивает, что различие естественных и исторических наук лежит в области метода, а не базовых ментальных операций: «Одни и те же формы мысли, одни и те же подчиненные им виды интеллектуальных операций делают возможным научное познание в науках о природе и в науках о духе. Именно на этой основе... развиваются для решения особых проблем наук о духе их особые методы» (Dilthey W. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt*. S. 121).

³⁶ «Жизнь и жизненный опыт всегда остаются плодотворным и постоянно обновляющимся источником понимания социоисторического мира... Но путь, ведущий к этому результату (пониманию. — *Н. К.*), должен проходить через объективность научного познания» (Dilthey W. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt*. S. 138).

³⁷ *Ibid.* S. 141, 146.

самым и условием наук о духе³⁸. История и историческое познание в равной мере принадлежат к сфере объективного духа³⁹. При этом Дильтей понимает объективный дух совершенно конкретно как язык, нравы и культуру того или иного общества: «Дух объективирует себя в, и познает себя через, могучие формы искусства, религии и философии»⁴⁰. Эта формула чрезвычайно близка к неокантианской теории культуры, и именно тонкий анализ форм объективации духа и связанных с ними «систем мирозерцания» обеспечил выдающуюся репутацию Дильтея как философа и историка культуры. Но содержательный анализ систем мирозерцания подменяет у него формальный анализ структур познающего сознания. Именно в конкретном анализе можно рассчитывать практически настолько развить «историческое чувство», чтобы преодолеть ограниченность индивидуального сознания, или, как это формулирует Гадамер, возвыситься до «эпического самозабвения Ранке»⁴¹. Иными словами, на вопрос об априори исторического познания отвечает не анализ познающего сознания историка, а анализ исторических форм сознания вообще, к каковым формам, конечно же, причастны и сами историки. Проблема понимания сознания сознанием позволяет снять дуализм и перейти к логике монизма⁴². Именно в этом контексте получает смысл герменевтическая программа Дильтея, гораздо лучше, чем первоначальный проект его описательной

³⁸ «Индивид живет, думает и действует в сфере общности, и он приходит к пониманию только в этой сфере. Все то, что понято, несет на себе печать того факта, что понято оно на основе общности... Только благодаря идее объективации жизни мы получаем понимание того, что есть историческое» (Dilthey W. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt*. S. 147).

³⁹ «Науки о духе в качестве своего общего данного имеют объективацию жизни... Все то, в чем объективировался дух, составляет предмет наук о духе» (Dilthey W. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt*. S. 148).

⁴⁰ *Ibid.* S. 150–151. По Дильтею, объективный дух — «множество объективаций, эмпирически открываемых с помощью изучения истории». Объективный дух — термин Гегеля, у которого он обозначал этап развития духа, промежуточный между субъективным и абсолютным духом. Идеей объективного духа Дильтей увлекся, написав «*Молодого Гегеля*» (Makkreel R. A. *Dilthey*. P. 305, 307–308).

⁴¹ Gadamer H.-G. *Truth and Method*. New York: The Seabury Press, 1975. P. 204.

⁴² Гадамер справедливо подчеркивает конфликт между «эпистемологическим картезианством» (т. е. дуализмом) и историзацией субъекта у Дильтея (Gadamer H.-G. *Truth and Method*. P. 213–214). Гадамер здесь критикует Дильтея за недостаточно последовательную историзацию субъекта познания: историзация оставалась для Дильтея фактом индивидуального опыта, что не давало ему возможности преодолеть эпистемологическую проблематику и снять вопрос о способности индивида к объективности.

психологии, отвечающая снятию эпистемологической проблематики в пользу модели познающей самое себя субстанции.

Чрезвычайно близкую логику мы находим и у Зиммеля. Подобно Дильтею, он видит себя продолжателем Канта, переформулируя применительно к истории знаменитый кантовский вопрос — «как возможна природа?» С этой точки зрения Зиммель подвергает анализу внутренние условия исторического познания, априорные структуры исторического разума⁴³. История для Зиммеля — «конструкт, сырым материалом которого служит непосредственно данное. Но его форма зависит исключительно от условий нашего познания»⁴⁴. Как и Дильтей, под субъектом познания Зиммель имеет в виду эмпирического субъекта: «Все представления о реальном являются функциями физико-психической организации»⁴⁵. Условием познания исторической действительности у Зиммеля, как и у Дильтея, выступает способность разума к внутреннему пониманию его произведений. Однако в своей наиболее «кантианской» работе, «*Философии денег*», Зиммель не ограничивается представлением об естественно данной нам внятности собственной душевной жизни, но говорит (отчасти в русле своих предшествующих позитивистских настроений, отчасти под влиянием Ницше) о том, что процесс самонаблюдения предполагает способность занять по отношению к самому себе позицию трансцендентального наблюдателя, каковая способность является одной из априорных форм разума:

«У нашей души нет субстанционального единства, но лишь то, какое появляется в результате взаимодействия между субъектом и объектом, на которые она разделяется... Быть разумным существом именно и означает переживать внутренний раскол, превращая себя в объект своего собственного познания»⁴⁶.

⁴³ Simmel G. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. S. V–VI. По словам Ф. Леже, Зиммель был «неокантианцем в той мере, в какой считал необходимым для современной мысли использовать до конца возможности, открытые критицизмом с его “коперниковой революцией”. Но если он постоянно ссылается на Канта, он постепенно все же отдаляется от него и приходит к метафизике, весьма далекой от неокантианства в строгом смысле слова» (Léger F. *La pensée de Georg Simmel: Contribution à l'histoire des idées en Allemagne au début du XXe siècle*. Paris: KIME, 1989. P. 118, 16).

⁴⁴ Simmel G. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. S. 201.

⁴⁵ Simmel G. *Philosophie des Geldes*. Berlin: Duncker und Humblot, 1987. S. 68.

⁴⁶ Simmel G. *Philosophie des Geldes*. S. 84. Ф. Леже комментирует: «Это значит, что способ бытия разума является трансцендентностью» (Léger F. *La pensée de Georg Simmel*. P. 32). Ф. Леже усматривает здесь влияние на Зиммеля взглядов Ницше.

Следовательно, даже процесс самопознания предполагает для Зиммеля элементарный опыт другого и рефлексивное восстановление, как бы извне, собственной душевной жизни. Именно поэтому, по-видимому, Зиммель несколько больше других неокантианцев говорит о конкретных априори исторического познания⁴⁷. В разных работах он приводит несколько разные их списки. Первое априори истории, по Зиммелю, — это постулат о том, что сознание другого похоже на наше собственное⁴⁸, второе сводится к способности конструировать с помощью синтетического воображения личность другого на основании фрагментарных наблюдений как континуум, причем это априори «единства души» относится не только к индивидам, но и к группам⁴⁹. Именно так, из фрагментов, мы конструируем даже самих себя. Социологическим априори Зиммель называет несводимость человека к социальной составляющей, равно как и типизацию, интерес к общему в индивидуальном, предполагаемое нами соответствие «внутреннего индивида» и его роли⁵⁰.

Все это позволяет Зиммелю по-новому поставить проблему континуума, который он, равно как и другие немецкие историки и философы истории, считает одной из базовых черт духовной и, следовательно, исторической жизни. Континуум у него оказывается не элементарной данностью духовной жизни, которая содержится в объекте исследования наук о духе, но формой субъективного сознания, которому свойственно понимать как единство фрагментарные впечатления как о внутреннем, так и о внешнем мире. Эта интерпретация континуума является одним из немногих безусловно конкретных наблюдений, сделанных критическими философами истории относительно структур исторического разума. Однако это важное наблюдение не было детально развито Зиммелем, и ничего более конкретного об априори исторического разума он не сказал. Более того, в одном из важнейших текстов Зиммеля содержится попытка вовсе отказаться от того дуали-

⁴⁷ Несмотря на свое собственное утверждение: «Каково конкретно содержание этих априори, мы ни в коем случае не можем точно сказать» (цит. по: Léger F. *La pensée de Georg Simmel*. P. 120). Причина такой позиции — неверие в интеллектуализм Канта.

⁴⁸ Simmel G. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. S. 11.

⁴⁹ *Ibid.* S. 34.

⁵⁰ Simmel G. *Soziologie*. München; Leipzig: Duncker und Humblot, 1923. S. 25–28.

стического кадра, в котором было уместно задаваться вопросом о структурах исторического разума. Речь идет о знаменитой статье «Как возможно общество», где Зиммель подробно развивает мысль о том, что общество создается сознательными субъектами, которые вступают в опосредованные сознанием взаимодействия между собой, из чего заключает:

«В этих условиях (т. е. при наличии сознательных субъектов социальной жизни. — *Н. К.*) вопрос, как возможно общество, имеет совершенно другой методологический смысл, чем вопрос, как возможна природа. Ответом на второй вопрос являются формы познания, посредством которых субъект осуществляет синтез элементов “природы”, ответом же на первый являются априорно содержащиеся в самих элементах условия, благодаря которым они (элементы. — *Н. К.*) фактически соединяются в синтезе “общества”... Функция осуществления синтетического единства, которая в случае с природой принадлежит созерцающему субъекту, в случае с обществом переходит к его собственным элементам (т. е. к субъектам социальной жизни. — *Н. К.*)»⁵¹.

Обнаружение сознательности субъектов социальной жизни позволяет Зиммелю снять проблему структур познающего сознания, точнее говоря, перенести ее в герменевтическую плоскость понимания сознания сознанием. Это означает, что конструктивистская гипотеза была в конечном итоге понята Зиммелем в том смысле, что социальные факты являются конструктами сознания субъектов социальной жизни. Следовательно, вопрошание о формах сознания исследователя, проецируемых на общество (или историю), лишается всякого смысла. Этот отрывок — наиболее ясный из известных нам текстов, где логика соскальзывания к герменевтике и отказа от эпистемологической проблематики, логика, основанная на идее сознательности субъектов истории, прямо вступает в противоречие с кантовским дуализмом. Но именно такой была логика и других критических философов истории.

Перейдем теперь к Генриху Риккертю. На его взглядах мы остановимся несколько подробнее, поскольку он был единственным логиком среди критических философов истории, и им с наибольшей полнотой разработана теория индивидуализирующих исторических понятий — пожалуй, наиболее заметный (во всяком случае, до появления нарративистских интерпретаций истории) вклад в изучение исторического мыш-

⁵¹ Simmel G. *Soziologie*. S. 23.

ления. В отличие от Дильтея, баденские неокантианцы стремились объяснить различия между историей и естествознанием особенностями не их предмета, но их методов. Такой подход имеет сильнейшую конструктивистскую интенцию: не методы наук определяются спецификой изучаемых ими объектов, но сами эти объекты по-разному конструируются науками в зависимости от специфики их методов. Развивая сформулированное Виндельбандом противопоставление номотетических и идиографических наук, Риккерт говорит о том, что в отличие от естественных наук, формулирующих законы природы в генерализирующих понятиях, исторические науки интересуются неповторимыми явлениями и конструируют свой предмет в индивидуализирующих понятиях⁵². Если генерализирующие понятия образуются путем абстракции из массы «воззрений» (перцептов) общих ряду вещей или явлений черт, то индивидуализирующие понятия возникают путем вычленения из этой массы таких черт, которые имеют значение с точки зрения некоторых общепринятых ценностей (что позволяет отличать главное в истории от второстепенного). Противопоставление истории (под именем которой у Риккерта скрываются все науки, кроме естественных) и естествознания здесь определяется различием не их предметов, но именно их методов, однако само противопоставление двух «царств» сохраняется, пусть (хотя бы внешне) в перенесенном в область метода виде. Естественно, что конструктивистская гипотеза формулируется при этом с предельной недвусмысленностью:

«Эмпирическая действительность... становится природой, коль скоро мы рассматриваем ее таким образом, что при этом имеется в виду общее; она становится историей, коль скоро мы рассматриваем ее таким образом, что при этом имеется в виду частное»⁵³.

И природа и история выступают у Риккерта как конструкты сознания. Это и неизбежно, поскольку эмпирическая действительность, с точки зрения Риккерта, иррациональна и как таковая недоступна пониманию. Прежде всего, бесконечно разнообразный, экстенсивно и интенсивно неисчерпаемый мир надлежит упростить, чтобы сделать его

⁵² «Фундаментальное различие между естествознанием и историей заключается в том, что первое образует понятия, имеющие общее содержание, а последняя — понятия, имеющие индивидуальное содержание» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 396).

⁵³ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 225.

интелигибельным для конечного человеческого разума⁵⁴. Такое упрощение начинается уже в обыденной жизни, когда слова обыденного языка позволяют структурировать хаос эмпирически данного⁵⁵. Дальнейшее упрощение и упорядочение осуществляют науки, однако разные науки осуществляют это по-разному, отбирая из бесконечной действительности релевантные для своих собственных целей элементы. Ключевым вопросом, стало быть, является вопрос о принципах отбора. В этом вопросе у Риккерта и начинается беспорядок. Иногда — прежде всего в его наиболее читаемом тексте, «*Науке о природе и науке о культуре*» — он рассуждает так, как если бы речь шла об автоматическом преобразовании реальности в соответствии с формами разума, иными словами, о проекции форм разума на внешний мир:

«Именно сочетание гетерогенности и непрерывности придает реальности характерную черту иррациональности... Реальность... есть гетерогенная непрерывность, она не может быть познана как таковая с помощью понятий... Только посредством понятийного разграничения различия и повторяемости реальность может стать рациональной... Мы преобразуем гетерогенную непрерывность... либо в гомогенную непрерывность, либо в гетерогенную прерывность»⁵⁶.

В таком случае история и естествознание есть формы разума, элементарные характеристики которых уже содержатся в приведенной цитате. Гомогенная непрерывность выражается в общих понятиях, гетерогенная прерывность — в индивидуальных. Это — два параллельных, взаимодополняющих и исчерпывающих решения проблемы познания непознаваемой как таковая реальности. Здесь естественно было бы показать различия в структуре генерализирующих и индивидуализирующих

⁵⁴ Там же. С. 80.

⁵⁵ Порой Риккерт, совсем как феноменолог, подчеркивает укорененность науки в обыденном языке: «Прежде, чем наука приступает к своей работе, уже повсюду совершается своего рода произвольное образование понятий, и продукты этого донаучного образования понятий, а не свободную от понимания действительность, находит наука в начале своей работы... Всякая научная работа не просто основывается на донаучных результатах, но и... может быть понята как планомерное развитие бессознательных начинаний» (Rickert H. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. Heidelberg: C. Winter, 1924. S. 31, 33).

⁵⁶ Rickert H. *Science de la culture et science de la nature*. P. 60–61. Отсюда открывается путь к противопоставлению интереса к общему и интереса к индивидуальному как источников двух основных логических форм познания.

понятий, но как раз это, как мы увидим, вызывает у Риккерта затруднения, и он пытается изменить внутреннюю логику схемы так, чтобы подменить вопрос о проецируемых на мир формах разума другим, по видимости похожим вопросом. Заметим, что для того, чтобы эта схема смотрелась убедительно, реальность должна характеризоваться как именно гетерогенный континуум. Характеристики реальности как просто неисчерпаемой недостаточно. Между тем, именно такая характеристика дается реальности в основном философско-историческом сочинении Риккерта — «Границы естественнонаучного образования понятий»⁵⁷, — и это создает основу для нарушения параллелизма его схемы.

Посмотрим теперь, как Риккерт представлял логическую структуру научных понятий. Что касается генерализирующих понятий, то, не говоря этого прямо, Риккерт представлял их в соответствии с логикой необходимых и достаточных условий. Понятия естественных наук производят упрощение эмпирической действительности, подводя экземпляры, которые принимаются за эквивалентные друг другу, под общее понятие. Поэтому они представляют мир атомистически⁵⁸. В принципе естественнонаучные понятия продолжают логику обыденного языка, но отличаются от его слов большей определенностью значения. Слова обыденного языка слишком тесно связаны с человеческим опытом мира, следовательно, с воззрительным характером эмпирической действительности. Функция научных понятий — преодоление воззрительного характера понятий обыденного языка. Такое преодоление достижимо с помощью превращения понятий в набор суждений, каждое из которых утверждает нечто лишь об одном аспекте понятия. Это позволяет изолировать нужную науке часть значения слова, устранить воззрительное многообразие с «заднего плана» понятий, а в идеале и вообще избавиться от этого заднего плана. Понятие, таким образом, перестает быть нагромождением общих значений, перемешанных с воззрительными впечатлениями, оно становится ограниченной и артикулированной серией суждений, которые имеют вполне определенное содержание и допускают проверку на истинность. В тот же момент понятие перестает быть и «психологическим образованием» (каким является значение слова)⁵⁹.

⁵⁷ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 79–81.

⁵⁸ Там же. С. 320.

⁵⁹ Там же. С. 143.

Сфера психологии, иными словами, эмпирического мышления, покинута; Риккерт рассуждает теперь в нормативной сфере логики, которая, собственно, его и интересует. Понятия перестают быть репрезентациями, отрываются от опыта воззрительного мира, и самая идея вещи уступает место идее отношения⁶⁰. Научные понятия логически эквивалентны серии суждений, которые содержатся в них в нереализованном виде, причем в этих суждениях присутствует не имеющий характера представления акт утверждения или отрицания. Именно поэтому логическая форма понятий предполагает стремление к истине и, следовательно, допускает формулировку в них не просто эмпирически действительных, но абсолютно обязательных законов природы⁶¹. Понятно, что эти рассуждения, звучащие до странности современно (вспомним пропозиционизм), связаны с принципом необходимых и достаточных условий как с основой формирования генерализирующих понятий.

Но такими понятиями не может удовлетворяться наш разум, которому свойственен интерес не только к общему, но и к индивидуальному. Именно интерес к индивидуальному удовлетворяет историческая наука⁶², которая, по Риккерту, оперирует индивидуализирующими понятиями. Такое утверждение шло вразрез с восходящей к Аристотелю традицией рассматривать понятия как по определению всеобщие. Эту традицию Риккерт эксплицитно отвергает⁶³. Правда, исходные элементы любых понятий (т. е. отдельные значения слов обыденного языка), с его точки зрения, носят всеобщий характер, однако из них различные науки в зависимости от направленности своего логического интереса могут конструировать либо генерализирующие понятия (в пределе — законы), либо индивидуализирующие понятия, соединяя общие элементы таким образом, что под новообразованное понятие подводится лишь единственное историческое явление⁶⁴. Речь, вероятно, идет о кластере

⁶⁰ Там же. С. 109, 128.

⁶¹ Там же. С. 92–93, 99–102.

⁶² Там же. С. 222, 223.

⁶³ Rickert H. *Science de la culture et science de la nature*. P. 86.

⁶⁴ «Последние элементы исторического понятия необходимо общи». «Элементы всех научных понятий являются общими, но лишь естествознание образует из них такие понятия, которые сами оказываются общими, между тем как история комбинирует их в понятия, имеющие индивидуальное содержание» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 335, 396).

коннотаций, связанных с именем собственным и являющихся его значением⁶⁵. Принципом единства такого понятия является, по Риккерт, отношение к ценностям, ибо «лишь по отношению к ним индивидуальное может становиться существенным»⁶⁶. Отношение к ценностям, таким образом, выступает в функции, аналогичной функции естественнонаучного закона, позволяющего выделить и связать вместе общие и существенные аспекты природных явлений.

Однако отношение к ценности и отношение к закону, формально, казалось бы, вполне параллельные, на самом деле существенно отличаются друг от друга. Закон предполагает ясность логических отношений: говоря о том, как объекты подводятся под общее понятие, Риккерт отсылает к хорошо известному логикам механизму. Структура категории, сформированной на основании принципа необходимых и достаточных условий, относительно понятна, и Риккерт может позволить себе лишь отослать к ней, не останавливаясь на этом вопросе подробнее. Напротив того, как именно объекты подводятся под определенную ценность, совершенно не понятно, равно как не понятно и то, какой внутренней структурой обладает сформированная таким образом категория⁶⁷. Иными словами, понятие закона содержит в себе определенную логическую структуру категории, и это — категория, построенная в соответствии с принципом необходимых и достаточных условий, в то время как понятие ценности логической структуры категории в себе не содержит. Во всяком случае, эксплицировать таковую — дело Риккерта, и именно от этого дела он пытается уклониться с помощью фактического нарушения, при формальном сохранении, параллелизма своей схемы.

Центральным моментом в фактическом нарушении параллелизма оказывается характеристика реальности и взаимоотношений с ней поня-

⁶⁵ В этом пункте Риккерт неожиданно близок к Фреге: «Собственные имена в историческом изложении могут играть роль лишь в качестве заместителей некоторого комплекса слов, имеющих общее значение, ибо лишь в таком случае изложение понятно для всякого, кто слышит или читает его» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 278). Близость эта, возможно, не случайна (Gabriel G. Frege als Neukantianer // *Kant-Studien*. 1986. Bd 77. S. 84–101).

⁶⁶ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 445.

⁶⁷ Характерно, что такое понятие, как логическая структура категории, сводится Риккертом к «принципу единства» категории, т. е. вопрос о внутренней структуре категории для него в принципе не встает (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 373).

тий. Как мы помним, в «*Науке о природе*» реальность описывается как гетерогенная непрерывность. Напротив, в «*Границах*» она охарактеризована как бесконечно индивидуальная⁶⁸. Индивидуальность эмпирически данного заменяет гетерогенную непрерывность. В чем же разница формулировок? В исчезновении непрерывности: теперь в реальности подчеркивается только гетерогенность. Но это означает, что генерализующие и индивидуализирующие понятия по-разному соотносятся с реальностью. Равным образом проходя через этап использования общих значений слов, исторические понятия затем возвращаются к индивидуальности. Если в естественнонаучных понятиях вместе с воззрительным устраняется и индивидуальное⁶⁹, то исторические понятия как раз и воспроизводят индивидуальный характер эмпирически данного.

История пускает в дело «род научной обработки, который находится в совершенно ином, так сказать, более близком отношении к эмпирической действительности, чем естествознание»⁷⁰, так что «историческая репрезентация более похожа на отражение реальности, чем репрезентация, зависящая от естественных наук»⁷¹. Риккерт даже вынужден доказывать, что история все же не отображает реальность, а конструирует ее, причем наиболее очевидным аргументом здесь, естественно, оказывается идея выбора: историк воспроизводит не всю индивидуальную действительность, а только ее часть⁷². Именно здесь и обнаруживается, что асимметрическое отношение естествознания и истории к эмпирической действительности снимает необходимость анализа структур исторических понятий, который был бы неизбежным при сохранении симметрии. Исторические понятия, хотя и упрощают действительность, структурно повторяют ее. Изучать структуры исторических понятий в таком

⁶⁸ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 79–80.

⁶⁹ «Устранение эмпирического воззрения есть в то же время устранение индивидуального характера данной действительности». Поэтому чем совершеннее естественнонаучное понятие, тем в большей степени из него устранено воззрение и тем в большей мере, следовательно, оно противоречит действительности. К действительности же «нас приближает... лишь непосредственная жизнь, но ни в каком случае не естествознание». Именно поэтому индивидуальный характер действительности полагает «предел» естествознанию (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 209, 213–214).

⁷⁰ Там же. С. 224.

⁷¹ Rickert H. *Science de la culture et science de la nature*. P. 107.

⁷² Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 299.

случае означает просто описывать в них действительность. Поскольку же Риккерт, конечно, не расположен подробно обсуждать структуры действительности, в его работе не остается места и для структур исторических понятий. Если анализ Риккертом генерализирующих понятий заставляет вспомнить современных когнитивистов, то его подход к историческим понятиям напоминает теорию прототипа. Если Рош и Лакофф ссылкой на сходство прототипических категорий с «естественными» категориями реального мира избавляли себя от вопроса о психологическом генезисе прототипических категорий, то Риккерт мысль об изоморфности исторических понятий с эмпирической действительностью позволяет обойти вопрос об их логической структуре.

Между тем, у Риккерта есть несколько наблюдений, которые при надлежащем развитии могли бы быть полезны для понимания умственной работы историка. Это, во-первых, заимствованное у Б. Эрдмана представление о сохранении в понятии, наряду с находящимися на его переднем плане общими элементами, заднего плана (*Hintergrund*), состоящего из воззрений⁷³. Конечно, Риккерт относит эту характеристику только к начальному этапу образования понятий, иными словами, — к понятиям как психологическим образованиям, совпадающим со значениями слов обыденного языка, в то время как настоящие научные понятия преодолевают этот конфликт. Как мы видели выше, такое преодоление, во всяком случае в исторических понятиях, отнюдь не осуществлено, и наблюдение Эрдмана могло бы дать Риккертю исходный пункт для анализа мышления историков — если бы это последнее его интересовало. Однако интересовало Риккерта совершенно другое — идеальная модель исторического познания, и характерный для неокантианской эпистемологии отрыв от психологии вел к пренебрежению свойствами понятий как «психологических образований».

По этой же причине Риккерт не довел до конца анализ того типа исторических понятий, который он называет групповыми или коллективными понятиями (*Gruppenbegriffe, Kollektivbegriffe*)⁷⁴ и которые представляют для нас особый интерес. Риккерт обращается к их анализу в связи с предполагаемыми им возражениями против его теории. Не может ли быть, что при образовании исторических понятий, обозначаю-

⁷³ Там же. С. 90–91.

⁷⁴ Rickert H. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. S. 51, 53.

щих коллективных героев истории посредством подведения физических индивидов под общую ценность, индивиды фактически подводятся под общее понятие, точно так же, как в естествознании.⁷⁵ Риккерт и здесь занимает двойственную позицию. С одной стороны, он не отрицает, что такой эффект может иметь место, и в связи с этим говорит о «несовершенных» или «относительно исторических» понятиях, включающих «общие элементы» (т. е. элементы общих понятий), хотя главная их задача — выразить индивидуальную историческую связь, в которую входили все эти индивиды⁷⁵. Используя подобные понятия, историк остается историком, т. е. не перестает интересоваться индивидуальным, поскольку «коллективное всегда принимается историей во внимание лишь как однократная индивидуальная действительность»⁷⁶. Иными словами, такие несовершенные исторические понятия — вполне нормальное явление, возникающее в результате группировки физических индивидов в индивидуализирующие макроисторические понятия. Порой Риккерт рассуждает о них, если можно так выразиться, вполне лояльно:

«В силу частого соединения содержательных элементов понятий, созданных частично способом генерализации, частично историческим соотношением с ценностью, один и тот же исследователь работает, следуя одновременно историческому методу и методу естественных наук»⁷⁷.

⁷⁵ «Общие групповые понятия истории, хотя и содержат только общее некоторому множеству объектов, все же не являются общими понятиями в том смысле, в котором их создает систематизирующая и генерализирующая наука» (Rickert H. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. S. 53). «В случае... когда история объединяет некоторую группу индивидуумов таким образом, что каждый единичный индивидуум принимается за имеющий одинаковое значение, она образует общие по содержанию понятия, но и в этом случае она не применяет естественнонаучного метода, так как эти относительно исторические понятия не имеют целью выразить общую "природу" подводимых под них объектов, но их содержание должно выразить историческую индивидуальность некоторой группы объектов» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 397). В другом месте он говорит: «Лишь части исторического понятия могут быть подведены под относительно исторические понятия» (*Там же*. С. 382) — но ведь могут, и позволительно задаться вопросом о последствиях соединения разнородных частей в одном понятии. Но Риккерт этого не делает, ибо для него главное — показать, что эти части несут подчиненный характер, а не проанализировать их влияние на историческое понятие в целом.

⁷⁶ *Там же*. С. 314.

⁷⁷ Rickert H. *Science de la culture et science de la nature*. P. 149–150. В таком положении особенно часто, по Риккерту, оказываются лингвисты, юристы и экономисты.

Здесь было бы уместно задаться вопросом о принципах подобной группировки, и, как мы увидим, в одном месте Риккерт близко подходит к этому вопросу. Но с «лояльным» отношением к несовершенным историческим понятиям у него соседствуют высказывания о том, что рассматривать коллективные исторические понятия как общие значит совершать элементарную логическую ошибку — смешение объема и содержания понятия или «смешение конкретного рода с общим родовым понятием»⁷⁸. Вот в чем, по Риккерту, состоит эта ошибка:

«Раз какой-либо исторический индивидуум как часть рода получает общее родовое имя, кажется, что благодаря этому он оказывается уже и подчиненным общему родовому понятию, следовательно, естественнонаучно понятим. Однако... слово “род” означает не только естественнонаучное понятие, но и конкретное множество индивидуумов, и из того, что что-либо есть часть конкретного рода, не вытекает еще, чтобы его можно было рассматривать лишь как экземпляр родового понятия»⁷⁹.

Коллективные исторические персонажи столь же индивидуальные, как физические индивиды. Хотя эти персонажи фактически «больше» отдельных индивидов, логически они не более общи, поскольку составляющие их индивиды — члены общности, но не экземпляры рода⁸⁰. Иными словами, генерализирующий элемент в коллективных исторических понятиях теперь совершенно отрицается:

«Общая историческая связь есть объемлющее «целое», и единичные индивиды суть его части. Напротив того, общее в смысле естествознания всегда есть некоторое понятие с общим содержанием, к которому отдельные индивидуумы относятся как экземпляры»⁸¹.

Здесь возникает вопрос: у естественнонаучных понятий есть и референция, и значение, но имеются ли они у исторических? Из формулы «смешение конкретного рода с родовым понятием», видимо, следует, что у исторических понятий нет вообще никакого значения. В этом же смысле можно понять и высказывание Риккерта о том, что единство составных частей исторического понятия не основывается на том, что «в элементах понятия (т. е. отдельных коннотациях) заключается общее мно-

⁷⁸ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 313, 332.

⁷⁹ Там же. С. 313.

⁸⁰ «Макьявелли и Новалис никогда не суть экземпляры, но всегда — члены» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 313).

⁸¹ Там же. С. 312.

жеству индивидов»⁸², — а о какой-либо иной форме значения Риккерт ничего не говорит. С другой стороны, он все-таки предполагает, что «душа немецкого народа (а это — его парадигматическое историческое понятие) что-то означает для историка», из чего следует, что значение у исторических понятий все-таки есть.

Для Риккерта вопрос, вероятно, разрешался благодаря следующему рассуждению:

«Такие слова, как греческое или немецкое, представляют собой в истории не наименования для родовых понятий, содержащих в себе общее всем грекам или немцам... Фактическое содержание... понятий о народах, периодах, эпохах культуры состоит... из того, что оказывается лишь у сравнительно небольшого числа единичных индивидуумов»⁸³.

Здесь можно было бы подумать, что Риккерт склоняется к логике прототипа, и некоторые немцы для него больше немцы, чем другие:

«Можно ли подвести такого человека, как Лютер, как всего лишь экземпляр рода, под историческое понятие немца? ... Что же мы имеем в виду, когда мы называем Лютера истым немцем?»⁸⁴.

Однако путь рассуждений Риккерта мог бы привести его к теории прототипа (основы которой, как мы знаем, сформулировали английские логики первой половины XIX в., что не могло остаться неизвестным такому читателю Милля, как Риккерт), если бы его интересовали исторические понятия в их классификационной функции. Но, с точки зрения Риккерта, классификационная функция для любых понятий — подчиненная⁸⁵, а для исторических вообще не имеет особого смысла, поскольку историческое мышление по природе своей не атомистично («индивидуалистический метод... исключает всякое атомизирование исторических объектов», и «лишь для естественнонаучного понимания человеческое общество обращается в комплекс одинаковых друг с другом, стало быть,

⁸² Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 280.

⁸³ Там же. С. 367–368.

⁸⁴ Там же. С. 368–369.

⁸⁵ «Чистая классификация (*eine blosse classification*) всегда произвольна. Необходимую классификацию всегда можно установить, лишь принимая в соображение теорию» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 102–103). Подчеркнем различие между той ролью теории в классификации, о которой говорили мы, и той, какую представляет себе Риккерт. Для нас элементы теории неизбежно присутствуют в любой классификации, для Риккерта — должны присутствовать в необходимой (т. е. научно обоснованной).

подобных атомам существ»⁸⁶. Именно в силу отсутствия интереса к классификации у Риккерта возможна необъяснимая в иных условиях ошибка — смешение имен собственных и коллективных: «Итальянское возрождение настолько же есть исторический индивидуум, как Макьявелли, романтическая школа — настолько же, как Новалис», — говорит он в контексте вопроса о том, не являются ли итальянское возрождение и романтическая школа родовыми понятиями⁸⁷. Но как можно считать, что логическая природа понятий, обозначаемых соответственно именами собственными и индивидуальными собирательными именами, одинакова? Ответ дает следующее рассуждение Риккерта:

«Мы привыкли рассматривать известные особенности, принадлежащие индивидууму Лютеру., как немецкие вообще., поскольку эти своеобразные черты вошли для нас в идеальное понятие о немце вообще. Впоследствии это историческое понятие становилось все богаче и богаче благодаря другим индивидуумам, как, например, благодаря Гете и затем благодаря Бисмарку.. Итак, если общая душа немецкого народа вообще означает что-либо для историка, она есть отнюдь не общее родовое понятие, но индивидуальный процесс развития»⁸⁸.

Здесь любой критик, не разделяющий того, что Г. Г. Иггерс называет «немецкой идеей истории», вправе, по-видимому, обратиться к Риккерту такой же упрек, какой сам Риккерт (и другие неокантианцы) обращал к Аристотелю, а именно, упрек в том, что его логика фактически описывала его метафизику⁸⁹. Именно не разлагаемые на атомы сверхиндивидуальные сущности были — наряду с великими людьми, обычно выражавшими дух этих сущностей, — основными персонажами немецкой историографии XIX в. Тот аспект формирования коллективных исторических персонажей, который был связан с классификацией физических индивидов (и с которым, как мы видели, столкнулась вышедшая из позитивистской традиции французская социальная история), совершенно не занимал места во вселенной немецкого историзма. Самые принципы организации этой вселенной исключали внимание к классификации.

⁸⁶ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 320.

⁸⁷ Там же. С. 313.

⁸⁸ Там же. С. 369.

⁸⁹ Rickert H. *Théorie de la définition // Science de la culture et science de la nature*. P. 204. Ср.: Кассирер Э. *Познание и действительность: Понятие о субстанции и понятие о форме*. СПб., 1912. С. 11–18.

Соответственно и обращение к проблематике классификации было чревато опасными для системы взглядов последствиями: проникновением элементов логического атомизма в мир понятийно схватываемых духовных субстанций. Характерно, что именно посредине размышлений о душе немецкого народа Риккерт произносит фразу:

«Однако нас не интересуется более обстоятельное рассмотрение логической структуры этих частью чрезвычайно сложных исторических понятий»⁹⁰.

Цель Риккерта — лишь показать, что исторические понятия отличны от понятий естествознания, а еще точнее — показать роль отнесения к ценностям при образовании исторических понятий. Именно поэтому он держится за схему, позволявшую сосредоточить внимание на вопросе о том, что является руководящим принципом в отборе исторического материала. Благодаря нарушению параллелизма на этой схеме в эквивалентном положении оказываются логический механизм абстракции и отношение к ценностям. Если бы у отнесения к ценностям был параллельный абстракции логический механизм, позволявший в силу такой же автоматической неизбежности, как генерализация, формировать индивидуализирующие понятия, то в схеме не оставалось бы места отнесению к ценностям. Между тем, именно ради отнесения к ценностям сконструирована вся система. Поэтому и природа из иррациональной (и в принципе безразличной к любым способам человеческого освоения) вдруг становится индивидуальной, т. е. совпадающей с тем принципом организации, который иначе надо было бы объяснять.

Обосновать принцип отнесения к ценностям — главная забота Риккерта. Эту часть его взглядов мы можем рассмотреть более бегло, нам достаточно просто проследить, куда, отвернувшись от логического анализа, устремляется его мысль. Центральным моментом здесь для Риккерта было обоснование объективности отнесения к ценностям, и он неоднократно подчеркивал, что если история хочет считаться столь же научной, как и естествознание, то ценности, которые служат ей руководящим принципом конструирования исторических фактов, должны быть столь же объективны, как законы естественных наук⁹¹. Но как можно было помыслить абсолютную значимость ценностей, носящих транс-

⁹⁰ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 368.

⁹¹ Там же. С. 311.

культурный, необходимый характер? В конечном итоге и здесь мы сталкиваемся со старой дилеммой немецкого историзма, который претендовал на объективность исторической науки, настаивая в то же самое время на сугубой индивидуальности исторических явлений и периодов.

Как мы знаем, эта дилемма долго оставалась незамеченной благодаря невысказанной пантеистической установке немецкого историзма, уверенности в присутствии духа в мире, и как раз в конце XIX в. проблема объективности стала нуждаться в новом обосновании. Теория отнесения к ценностям Риккерта была задумана как преодоление дилеммы, но это было возможным только в той мере, в какой на смену размытому пантеизму была поставлена уверенность в объективном существовании ценностей. Иными словами, Риккерт приходит к очень похожей на Зиммеля и Дильтея фигуре мысли: речь идет о некотором домене абсолютно значимых ценностей, которые представлены одновременно и в сознании историка, и в историческом материале⁹², что, собственно, и является априорным условием исторического познания. Этот домен ценностей Риккерт называл культурой. Именно к нему относятся ценности сверхиндивидуального научного субъекта познания — «гносеологического субъекта»⁹³, в отличие от эмпирического субъекта, погруженного в мир исследователя. В исторических понятиях характер психических образований снимается так же, как и в естественнонаучных, причем снимается именно за счет отнесения к общезначимым ценностям, поскольку «не единство реальной психической жизни, но единство смысловой структуры играет решающую роль» при их образовании⁹⁴. Именно культура, давая шкалу значимости исторических явлений, позволяет производить объективный отбор:

⁹² Риккерт подчеркивает, что эти ценности могут быть различными и что в таком случае историку предстоит вживаться в ценности изучаемой эпохи, причем его труд будет тем объективнее, чем больше он в этом преуспеет. Однако возможность вживания, естественно, связывается с существованием ядра общекультурных ценностей. «“Объективное” научное изложение всегда должно заимствовать те ценности, которыми руководится образование понятий, из самого исторического материала» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 419, 420, 461).

⁹³ Гносеологический субъект, в отличие от физического и психофизического, сверхиндивидуален, поэтому «гносеологический субъективизм... не должен упразднить... объективность» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 175, 481, 486).

⁹⁴ Rickert H. *Science de la culture*. P. 142.

«Общность культурных ценностей устраняет индивидуальный произвол образования исторических понятий и является основанием его объективности»⁹⁵.

Культура в науках о культуре познает, следовательно, самое себя (как у Дильтея «жизнь познает жизнь»). При этом культурой Риккерт называет то, что, по его собственным словам, во времена Гегеля именовалось духом⁹⁶. Именно здесь Риккерт приходится провести сближение формального и предметного понятий истории, т. е. подчеркнуть, что история не просто основана на априорной способности сознания к индивидуализации (за счет отнесения к ценностям), но что это стремление она разделяет со своим предметом, ибо самая суть культуры состоит в восприятии мира с точки зрения ценностей. Именно из опыта (в данном случае, понятно, из опыта культуры) историк может черпать свои «руководящие точки знания» — ибо, в отличие от естествоиспытателя, историк имеет дело с действительностью⁹⁷. В этом смысле объективность истории есть как бы часть объективности культуры: если культура в достаточной мере связы-

⁹⁵ Rickert H. *Science de la culture*. P. 135.

⁹⁶ У Гегеля «дух означал то, что мы теперь называем культурой». «Дух народа для нас есть культура народа» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 430, 431). Это словоупотребление Риккерт противопоставляет современному ему сведению духа к психике (Rickert H. *Science de la culture*. P. 16). О тесной связи между культурой и историей, позволявшей Риккерт говорить то о науках о культуре, то об исторических науках, см.: Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 428. «Понятие культуры доставляет образованию исторических понятий принцип отбора существенного». «Единство и объективность наук о культуре определяются единством и объективностью нашего понятия культуры» (Rickert H. *Science de la culture*. P. 119, 185). Характерно и то, что слово «социальное» Риккерт также употребляет как приблизительно синонимичное (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 424—426). Об истории понятия культуры и соотношении терминов «культура» и «дух» в немецкой мысли XIX в. см.: Beneton P. *Histoire des mots culture et civilisation*. Paris: Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1975; Williams R. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Glasgow: Fontana/Croom Helm, 1976. P. 76—82; Elias N. *The Civilizing Process: The History of Manners*. Oxford: B. Blackwell, 1978. Vol. 1. P. 3—34; Fisch J. *Zivilisation, Kultur // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Stuttgart: E. Klett: J. G. Cotta, 1972—1993. Bd 7. S. 679—774; Bruford W. H. *The German Tradition of Self-Cultivation: Bildung from Humboldt to Thomas Mann*. London; New York: Cambridge U. P., 1975; Geuss R. *Kultur, Bildung, Geist // History and Theory*. 1996. Vol. 35. № 2. P. 151—164.

⁹⁷ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 462.

вает свои ценности с абсолютными, то историческое познание объективно. Поэтому Риккерт от логики истории переходит к философии (читай: метафизике) истории, и последнюю часть «Границ» посвящает вопросу об обязательности ценностей. Не случайно Риккерт характеризовал себя прежде всего как философа ценностей⁹⁸. Его путь здесь ведет от признания прагматических предпосылок любого теоретического интереса (тезис о том, что «всякому акту познания логически предшествует воля»⁹⁹, открывает путь к интерпретации эмпирически объективных ценностей как ориентирующихся на абсолютные) и, следовательно, примата практического разума, к представлению об истории как реализации нравственного долга интересоваться индивидуальным, долга, являющегося основой культурной жизни¹⁰⁰. Путь через логику истории — достаточно долгий путь к категорическому императиву, но все же именно таков путь Риккерта¹⁰¹. Индивидуализирующие понятия Риккерта имели мало отношения к логике или к эпистемологии, но гораздо больше — к метафизике¹⁰².

⁹⁸ Rickert H. *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*. S. VII–VIII.

⁹⁹ Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 501.

¹⁰⁰ «Индивидуальность... требуется от человека... Те формы, в которых история рассматривает действительность, т. е. формы индивидуума..., должны быть в то же время и фундаментальными этическими нормами». «Всякая культурная жизнь в своей индивидуальности имеет необходимое отношение к абсолютным ценностям» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 497, 499, 505, 512). Но не будем заблуждаться: если Риккерт подчеркивает примат практического разума над теоретическим, невозможность оторвать познающего субъекта от других проявлений человека, то речь у него идет не столько об интересе к реальному субъекту познания, сколько о легитимизации моральной философии.

¹⁰¹ «История нуждается в сверхэмпирическом элементе (т. е. в идее ценности. — Н. К.) для того, чтобы формы ее понимания... не оказывались по научному значению ниже тех форм, в которых нуждается естествознание (речь идет об идее закона. — Н. К.)» (Риккерт Г. *Границы естественнонаучного образования понятий*. С. 466). Таким образом, тем, кто желает объективности науки, предлагается верить в наличие абсолютных ценностей, в частности, в ценность индивидуальности. См. также: Rickert H. *Science de la culture*. P. 183.

¹⁰² С этой точки зрения не случайна та легкость, с какой Трельч положил в основу своей исторической теории очень близкое риккертовой идее индивидуализирующего понятия понятие индивидуальной тотальности, эксплицитно отрицающая при этом возможность логического разграничения наук о природе и наук о духе. Индивидуальные тотальности, по Трельчу, — это не проецируемые на исторический мир формы разума, но формы самого исторического мира. В сущности, именно в таком понимании нуждался и сам Риккерт, который, однако, лишь гораздо более опосредованно мог позволить себе осно-

Конечно, фраза Риккерта о том, что ценности не существуют, но значит, не спасала положения дел. По-видимому, правы те исследователи его творчества, которые подчеркивают тесную связь мысли Риккерта с философией ценностей Германа Лотце и с неосхоластикой XIX в. Генрих Леви имел все основания записать Риккерта в число деятелей гегелевского возрождения.

Весьма близкие взгляды на природу исторического познания развивал и Макс Вебер, считавший себя в этом вопросе последователем Риккерта¹⁰³. Как и Риккерт, он подчеркивал, что «познание бесконечной действительности конечным человеческим разумом»¹⁰⁴ возможно только благодаря вычленению ее существенных аспектов, которое в науках о природе достигается с помощью выражающих законы родовых понятий, а в науках о культуре — с помощью отнесения к ценностям, позволяющим выделять значимые для нас индивидуальные явления¹⁰⁵ из «хаотичного потока событий, проносащегося сквозь время»¹⁰⁶. Именно культура, охватывающая, по Веберу, «те составные части действительности, которые посредством отнесения к ценностям становятся значимыми для нас»¹⁰⁷, дает нам те «односторонние точки зрения», в соответствии с которыми мы выбираем объекты исследования¹⁰⁸. Именно поэтому «трансцендентальная предпосылка всякой науки о культуре состоит... в том, что мы сами являемся людьми культуры (*Kulturmenschen*)»¹⁰⁹. Правда, в отличие от Риккерта, Вебер не говорил об абсолютной значимости

вывать свою теорию исторического познания на метафизическом тезисе об устройстве мира (Трельч Э. *Историзм и его проблемы: Логическая проблема философии истории*. М.: Юрист, 1994. С. 29–57).

¹⁰³ Burger T. *Max Weber's Theory of Concept Formation: History, Law and Ideal Types*. Durham (North Carolina): Duke University Press, 1976; Prewo R. *Max Webers Wissenschaftsprogramm: Versuch einer methodischen Neuerschliessung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. S. 26–46; Wagner G. *Geltung und normativer Zwang*. S. 155; Oakes G. *Weber and the Southwest German School: The Genesis of the Concept of the Historical Individual // Max Weber and his Contemporaries* / Ed. by W. J. Mommsen, J. Osterhammel. London: Allen and Unwin, 1987. P. 434–446.

¹⁰⁴ Weber M. Die «Objektivität». S. 171.

¹⁰⁵ *Ibid.* S. 177–178.

¹⁰⁶ *Ibid.* S. 214.

¹⁰⁷ *Ibid.* S. 175.

¹⁰⁸ *Ibid.* S. 170.

¹⁰⁹ *Ibid.* S. 180.

ценностей, пытаясь решить проблему объективности познания скорее на пути разграничения того, что позднее было названо контекстом открытия и контекстом верификации¹¹⁰.

По ходу этих рассуждений Вебер задается и вопросом о логической структуре исторических понятий, которые, по его мнению, совершенно отличны от понятий естественных наук. Вебер так переформулирует этот вопрос: «Каково значение теории и теоретического образования понятий для познания культурной действительности?»¹¹¹ Иными словами, речь идет о месте родовых понятий в интеллектуальной инструментальной историка. Поскольку науки о культуре суть науки об индивидуальной действительности¹¹², родовые понятия могут использоваться в них лишь как инструменты познания индивидуального. Как и Риккерт, Вебер готов допустить нечто вроде кластерного понятия («индивидуальной констелляции» выражающих каузальные связи родовых понятий)¹¹³. Однако он не останавливается на этом, предлагая теорию идеального типа.

Обычно идеальный тип понимают с акцентом на слове «идеальный», как бы считая слово «тип» само собой понятным. В таком случае и говорят об «исследовательских утопиях», о том, что идеальные типы — это просто модели, которые не существуют в реальности, но которые создаются исследователем для того, чтобы эту реальность рационально понять. Но уместно задаться вопросом, отличаются ли хотя бы чем-то идеальные типы от других понятий с логической стороны — ведь едва ли не любое понятие подходит под такое описание. Напротив, некоторые авторы, например, Томас Бургер, интерпретировали теорию идеальных типов как попытку развить идею индивидуализирующих понятий, иными словами, как ответ на тот вопрос, который так и не задал себе Риккерт, но который следовал из его теории, вопрос о различиях форм обобщения, подлежащих соответственно индивидуализирующим и генерализирующим понятиям. По сути дела Бургер приписывает Вебе-

¹¹⁰ Из субъективности ценностных идей, по его мнению, не следует, что науки о культуре могут приводить только к субъективным выводам, поскольку «покорившие исследователя и его время ценностные идеи» определяют лишь выбор предмета исследования, но не истинность его суждений (Weber M. Die «Objektivität». S. 184), но это различие остается неразработанным.

¹¹¹ *Ibid.* S. 185.

¹¹² *Ibid.* S. 172.

¹¹³ *Ibid.* S. 178.

ру попытку создать неаристотелевскую логику и отказаться от принципа необходимых и достаточных условий членства в категории¹¹⁴. Вебер, действительно, отрицает пригодность этого принципа для образования идеальных типов: «“Определение” синтетического понятия в историческом мышлении по схеме *genus proximus, differentia specifica*, есть, конечно, нонсенс»¹¹⁵. Идеальные типы создаются посредством «мысленного преувеличения определенных элементов действительности»¹¹⁶. Конечно, утопический характер идеальных типов здесь очевиден¹¹⁷, но, видимо, Вебер также имел в виду, что такие понятия позволяют иначе группировать исторические факты — «охватить исторические индивидуумы или их отдельные составные части генетическими понятиями»¹¹⁸. Вдумаемся в следующие строки Вебера:

«Оно (понятие городского хозяйства. — *Н. К.*) получается благодаря одностороннему преувеличению одной или нескольких точек зрения и благодаря соединению во внутренне целостный мыслительный образ черт, встречающихся диффузно и дискретно, иногда в большей, иногда же в меньшей степени (а иногда и вовсе отсутствующих) у множества единичных явлений, черт, соответствующих этим односторонне выделенным точкам зрения... Естественно, те родовые понятия, которые мы постоянно встречаем в качестве составных частей исторических изложений и конкретных исторических понятий, также могут быть посредством абстракции и усиления определенных понятийно существующих для них черт превращены в идеальные типы... Каждый индивидуальный идеальный тип складывается из родовых понятийных элементов, преобразованных в идеальные типы»¹¹⁹.

Иными словами, если у Риккерта исторические понятия суть констелляции родовых понятий, позволяющие благодаря уникальному соче-

¹¹⁴ Burger T. *Max Weber's Theory of Concept Formation*. Правда, дебаты о сложных понятиях в аналитической философии прошли мимо внимания Бургера, возможно, потому, что он писал еще в середине 1970-х, т. е. до того, как споры о логике прототипа вышли за пределы узкого круга специалистов. Нельзя сказать, что аргументация Бургера до конца убеждает, и все же вполне правдоподобно, что мысль Вебера развивалась примерно в таком направлении.

¹¹⁵ Weber M. Die «Objektivität». S. 194.

¹¹⁶ *Ibid.* S. 190.

¹¹⁷ «В своей понятийной чистоте этот мысленный образ нигде в действительности эмпирически не обнаруживается, он является утопией» (*Ibid.* S. 191).

¹¹⁸ *Ibid.* S. 194.

¹¹⁹ *Ibid.* S. 191, 201.

танию этих последних схватывать индивидуальные явления, то Вебер, вполне принимающий, как мы видели, эту логику, усложняет ее, показывая трансформацию родовых элементов в логически отличные образования. Конечно, противопоставление идеального типа родовому понятию происходит здесь прежде всего на уровне коннотаций: усиливаются те из них, которые позволяют показать внутреннее единство культурного явления и вместе с тем исходят из точек зрения ценности, а не те, которые служат целям классификации¹²⁰. Но усиление некоторых коннотаций имеет последствия и для структуры образованных таким образом категорий: Вебер произносит здесь ключевое слово «степень». Уместно предположить, что к идеальным типам, как и к прототипическим категориям, можно принадлежать в той или иной степени — что невозможно для аристотелевских категорий. Иными словами, включенные в идеально-типическое понятие черты лишь типичны (причем не статистически, а именно культурно), но не обязательны для членов обозначаемой соответствующим понятием категории. Вместе с самим словом «тип» это позволяет предполагать у Вебера тенденцию к логике прототипа¹²¹. Однако такая тенденция осталась лишь намеченной в его теоретических статьях и прошла мимо внимания большинства исследователей его творчества¹²².

¹²⁰ «Чем больше мы имеем дело с простой классификацией событий..., тем больше мы имеем дело с родовыми понятиями, чем больше, напротив, понятиями оформляются сложные исторические взаимосвязи тех составных частей событий, на которых покоится их специфическое культурное значение, тем больше понятие — или понятийная система — принимают характер идеального типа» (*Ibid.* S. 202).

¹²¹ Слово «тип», сегодня от частого употребления банализированное, для Вебера, вполне вероятно, ассоциировалось с ныне забытыми спорами английских логиков первой половины XIX в. (таких, как Д. Стюарт, У. Уивел и Дж. С. Милль) спорами, в которых оно отсылало к классу, сформированному не на основе необходимых и достаточных условий, но с помощью транзитивного словоупотребления (см. выше, гл. 2). Вебер должен был знать об этих дебатах, поскольку Милль был одним из «пожизненных современников» Вебера (Mommson W. J. Introduction // Mommson W. J., Osterhammel J. *Max Weber and his Contemporaries*. P. 6).

¹²² Зиммель также писал о наличии особых понятий, средних между генерализирующими и индивидуализирующими и позволяющими понимать и обозначать индивидуальные явления (Simmel G. *Die Probleme*. S. 142). Можно указать еще на двух авторов, мысль которых развивалась в близком направлении. Это, прежде всего, Кассирер, который обращается к типологии научных понятий в «*Логике гуманитарных наук*» и выделяет особый тип понятий (понятия формы и стиля), которые связаны, с его точки зрения, прежде всего с работой эстетической интуиции (и поэтому применяются главным обра-

Итак, немецкие критические философы истории, теоретически исходя из конструктивистской гипотезы, сказали мало конкретного о формах разума, проецируемых на историю, и, более того, не создали теоретических условий для начала эмпирической разработки этой темы. Главной причиной этого было стремление обосновать объективность исторического познания, а главным способом ухода от изучения конкретных форм исторического разума — отказ от дуалистического кадра и соскальзывание к монизму, иными словами, отказ от критической философии истории в пользу исторической науки о культуре. Дальнейшее развитие философии истории в Германии не случайно пошло по пути герменевтики и более радикального преодоления дуализма, когда даже по-кантиански звучащая проблематика оказывается изгнанной, ибо уже в самом неокантианстве вполне заложен такой поворот событий. Радикальная историзация человеческого бытия выступает у Хайдеггера как способ снятия субъектно-объектной дихотомии. Выводы из этого для философии истории делает Гадамер:

«Подлинное историческое мышление должно учитывать свою собственную историчность. Только тогда оно перестанет гоняться за фанто-

зом в истории искусства). Как пример он приводит буркхардовское понятие «человек Возрождения», которое, конечно же, невозможно определить в терминах необходимых и достаточных условий. Правда, с этого момента рассуждения Кассирера развиваются уже не в направлении логики прототипа: он говорит не о том, что между деятелями Возрождения существовало «семейное сходство», но скорее о том, что они все вместе составляли то, что можно охарактеризовать как человека Возрождения, внося каждый какую-либо новую черту в этот коллективный портрет (Cassirer E. *The Logic of Humanities*. P. 137–140). Конечно, это рассуждение (чрезвычайно напоминающее Риккерта) несложно перевести в логику прототипа, но сам Кассирер не делает этого, что характерным образом показывает «брошенность на полпути» его логического анализа исторических понятий. Еще один важный здесь для нас автор — Жан-Клод Пассерон, который, уже будучи в курсе современных дебатов о логике прототипа, также склонен связывать с ней теорию идеального типа. Пассерон, однако, делает еще одно важное замечание, которое тоже идет в развитие мысли Вебера, а именно, что имена нарицательные (выражающие общие понятия) в дискурсе социальных наук всегда остаются несовершенными нарицательными именами, иными словами, сохраняют связь с конкретными историческими контекстами, в которых они обозначают уникальные культурные явления (Passeron J.-C. *Le raisonnement sociologique: L'espace non-popperien du raisonnement naturel*. Paris: Nathan, 1991. P. 60–61). Данное наблюдение представляется чрезвычайно важным, поскольку оно реально открывает путь к пониманию тесной взаимосвязи разных способов образования понятий в нашем мышлении, и наш анализ логических структур используемых историками социальных категорий подтверждает это.

мом исторического объекта, являющегося объектом постепенного познания, но научится рассматривать его как дополнение к себе самому, а отсюда и научится понимать и то, и другое. Подлинно исторический объект вообще не является объектом, но единством объекта и субъекта, отношением, в котором существуют как реальность истории, так и реальность исторического понимания»¹²³.

При таком подходе полностью выносятся за скобки эпистемологическая проблематика, рассматриваемая как скандал философии, но при этом совершенно не учитывается, что дуалистическая установка есть одна из свойственных разуму форм полагания мира.

Итак, практически все, что немецкие критические философы истории сказали конкретного об априори исторического разума, — это теория индивидуализирующих понятий Риккерта—Вебера и идея Зиммеля о континууме как форме разума, позволяющей связывать воедино разрозненные впечатления. По сравнению с теми усилиями, которые были затрачены для обоснования конструктивистской гипотезы, это, конечно, не очень много. Аналогичным образом обстояли дела и за пределами Германии. С этой точки зрения характерны примеры основателей соответственно французской и итальянской традиций социальных наук — Эмиля Дюркгейма и Бенедетто Кроче.

Несмотря на основательное знакомство многих французских историков и социологов конца XIX — начала XX вв. с немецкой мыслью, в том числе и с неокантианством¹²⁴, «немецкая идея истории», от которой так зависела критическая философия истории в Германии, естественно,

¹²³ Gadamer H.-G. *Truth and Method*. P. 267.

¹²⁴ Критики Дюркгейма обвиняли его в том, что в его социологии вообще «нет ничего французского» и что вся социология вообще «сделана в Германии» (Lepenes W. *Between Literature and Science: The Rise of Sociology*. Cambridge: Cambridge U. P., 1988. P. 77). Конечно, это преувеличение, и сам Дюркгейм — подобно своим коллегам-историкам — порой резко критиковал немецкую науку, подчеркивая превосходство французской национальной традиции. См.: Digeon C. *La crise allemande de la pensée française (1870–1914)*. Paris: Presses Universitaires de France, 1959; Keylor W. R. *Academy and Community*; Lukes S. *Emile Durkheim: His Life and Works*. Stanford: Stanford U. P., 1985; Giddens A. *Weber and Durkheim: Coincidence and Divergence // Max Weber and His Contemporaries / Ed. by W. J. Mommsen, J. Osterhammel*. P. 182–189; Mucchielli L. *La découverte du social: Naissance de la sociologie en France*. Paris: La Découverte, 1998; Idem. *La guerre n'a pas eu lieu: Les sociologues français et l'Allemagne (1870–1940) // Espaces Temps*. 1993. Vol. 53–54; Idem. *Heures et malheurs du durkheimisme // Politix*. 1995. № 29. P. 65–68.

не могла быть воспринята во Франции. Французская интеллектуальная традиция в это время определялась прежде всего влиянием позитивизма и универсализма, против которых как раз и был направлен критический пафос немецкого историзма. С Дюркгеймом мы попадаем в другой мир, однако странным образом часть механизмов, определявших логику рассуждений критических философов истории, в этом мире продолжает работать.

Тому было несколько причин. Во-первых, сказывалась профессиональная культура Дюркгейма и его учеников, которые в большинстве своем получили философское образование. Дело не просто в том, что французская философия XIX в., пусть в своеобразной форме, освоила наследие немецкого идеализма¹²⁵, но и в том, что проект дюркгеймовской социологии являлся, как мы уже подчеркивали, прежде всего философским проектом. Иными словами, социология как «новая точка зрения на природу человека» была ответом на вопросы, которые диктовались логикой философского вопрошания, но на которые, как считалось, философия не смогла дать адекватных ответов. В этом смысле социология во Франции играла отчасти ту же роль, что история в Германии: она служила обоснованию новой теории познания. Отсюда их сходство, несмотря на все различия национальных интеллектуальных традиций.

Вторая причина сходства размышлений Дюркгейма и немецких критических философов истории связана с общим для них влиянием Канта. Если фундаментальное значение критицизма для формирования немецкой «науки о культуре» является общеизвестным фактом, применительно к французской «социальной науке» оно гораздо менее исследовано. Но и во Франции в конце XIX в. неокантианство играло в интеллектуальной жизни весьма заметную роль. Правда, критическая философия выступала здесь далеко не в чистом виде, но и немецкое неокантианство было, как мы видели, весьма гетерогенным движением, в котором критика разума весьма причудливо соединялась с позитивизмом, философией ценностей, неогегельянством, герменевтикой и философией жизни, причем далеко не в каждом таком соединении ее роль была ведущей. Подобным же образом во Франции влияние Канта сов-

¹²⁵ Espagne M., Werner M. La construction d'une référence culturelle allemande en France: Genèse et histoire // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1987. Vol. 42. № 4. P. 969–992.

мещалось с другими интеллектуальными ориентациями, например, со спиритуализмом и позитивизмом. Сотрудник Дюркгейма Селестен Бугле был прав, говоря об учителе: «Дюркгеймианство остается кантианством, исправленным и дополненным в свете контианства»¹²⁶.

Впрочем, союз критической философии с позитивизмом, странный на первый взгляд, не был вовсе алогичным. Идея трансцендентального эго вполне совместима с идеалом науки и была важнейшим элементом ее обоснования. Это стало, по-видимому, важной составляющей успеха Канта в университетской философии второй половины XIX в. И все же в альянсе кантианства и позитивизма был заложен внутренний конфликт, отчасти вызывавший плодотворное напряжение мысли, отчасти чреватый перверзивными реакциями.

Интерес Дюркгейма — достаточно, впрочем, критический — к немецкой интеллектуальной традиции хорошо известен. Но и во Франции та традиция мысли, в которой воспитывался Дюркгейм, была пропитана кантианством. Речь идет прежде всего о неокритицизме Шарля Ренувье, лидера французских неокантианцев и в определенной мере предшественника Дюркгейма в неформальной роли главного идеолога Третьей республики¹²⁷. Критическая философия была, таким образом, важнейшим элементом интеллектуального багажа Дюркгейма. Очевидно, что центральность для Дюркгейма проблем морали и его постоянное возвращение к проблеме категорий можно связать с кантианской традицией. Безусловно, Кантом вдохновлялся и конструктивизм Дюркгейма.

Наконец, третьим элементом сходства немецкого и французского интеллектуального контекста были общие черты религиозной эволюции. Дюркгейм видел в религии, и в особенности в клерикализме, своего едва ли не главного врага, но для него самого религиозная проблематика играла капитальную роль. Речь идет не только об интересе Дюркгейма к проблемам морали и религии, но и о важнейшем для всего его творчества убеждении в определяющей роли сознания в жизни человека, убеждении, порой заставляющем вспомнить гетевское представление об одухотворенности всего сущего. Это убеждение питалось присущим интел-

¹²⁶ Цит. по: Lukes S. *Emile Durkheim*. P. 3. Э. Гидденс не без основания называет теорию Дюркгейма «систематической формой социологического кантианства» (Giddens A. *Durkheim*. Glasgow: Fontana: Collins, 1978. P. 13).

¹²⁷ Lukes S. *Emile Durkheim*. P. 54–57.

лектуалам XIX в., независимо от их вероисповедания, неопределенным гуманистическим теизмом. Мы уже подчеркивали роль религиозного фона для немецкого историзма и критической философии истории. Но, возможно, прав Эванс-Причард, отмечавший и у Дюркгейма, при всем его воинственном атеизме, влияние аналогичного умонастроения¹²⁸. Именно в этом контексте приобретает смысл идея социального как превосходящей индивида духовной субстанции. Поэтому даже позитивизм, оказавший огромное влияние на мысль Дюркгейма, перетолковывался у него достаточно специфическим образом: это был позитивизм, пытавшийся увидеть за атомарной «материальной» структурой общества реальность духовную, более сложную и в известном смысле более существенную, первичную по отношению к физическим индивидам.

Все эти обстоятельства сближали столь, казалось бы, различные между собой школы мысли — немецкий историзм и дюркгеймовскую социологию. Отсюда и конструктивизм Дюркгейма одновременно и похож, и не похож на конструктивизм критических философов истории.

Конструктивизм появляется у Дюркгейма в одном из важнейших для него контекстов — в контексте обоснования проекта социальной науки — уже в *«Правилах социологического метода»*. Разум, по Дюркгейму, определенным образом полагает эмпирическую действительность, превращая ее в предмет той или иной науки. В самом деле, социальные факты могут быть идентифицированы только тогда, когда социолог погрузится в определенное «состояние духа» и займет «определенную мыслительную позицию» по отношению к делам человеческим¹²⁹. Как и у Риккерта, именно от позиции наблюдателя решающим образом зависит выделение объекта науки. Различие между Дюркгей-

¹²⁸ «Учитывая, что социологи (группы Дюркгейма. — Н. К.) были агностиками или атеистами, принимавшими своеобразную светскую религию человечности в неокантовском стиле..., можно было бы ожидать, что религия не казалась им вещью, достойной первоочередного внимания. Но они слишком глубоко понимали религию и были рационалистами, слишком скептически относившимися к рационализму, чтобы принять такой взгляд. Более того, в силу их высокого понимания своей миссии и огромной роли, которую они приписывали идеалам в коллективной жизни, они неизбежно испытывали симпатию и даже восхищение по отношению к религиозному идеализму и в особенности к христианской и иудейской вере и учению» (Evans-Pritchard E. E. Introduction // Hertz R. *Death and the Right Hand*. London, 1960. P. 16).

¹²⁹ Дюркгейм Э. *Социология*. М.: Канон, 1995. С. 11.

мом и Риккертом появляется тогда, когда Дюркгейм говорит, что свойственный социологии способ полагать эмпирическую действительность заключается в том, чтобы «рассматривать социальные факты как вещи»¹³⁰, т. е. как внешние по отношению к сознанию исследователя объекты познания. Этот тезис непосредственно направлен против антипозитивистской установки немецкого историзма, которую полностью принимала критическая философия истории, настаивавшая на возможности внутреннего понимания социальных явлений.

Однако при всей своей кажущейся однозначности эта фраза — «рассматривать социальные факты как вещи» — скрывает внутренний конфликт, характерный для всей дюркгеймовской социологии и, шире, для социальных наук в целом. Как следует ее понимать: социальные факты *суть* вещи или социальные факты следует рассматривать как *если бы* они были вещами? Комментарии самого Дюркгейма склоняют скорее ко второй интерпретации¹³¹, хотя ему случалось высказываться и в первом смысле¹³², и именно так его нередко понимали¹³³. По-видимому, прав Ален Дерозьер, утверждая, что позиция Дюркгейма находилась где-то посередине между двумя смыслами¹³⁴. И особенно прав Дерозьер, когда он подчеркивает, что социальные науки до сих пор не могут избавиться от этого внутреннего противоречия между объективистской иллюзией, верой в определенную независимость научных фактов от нашего сознания и пониманием их как конструкторов разума.

Если бы Дюркгейм последовательно исходил из представления о фактах как о конструкторах разума, был бы открыт путь к проблематизации тех ментальных механизмов, которые могут быть ответственны за такое конструирование. В самом деле, если считать, что социологи рассматривают социальные факты как вещи, естественно задаться вопросом о том, как именно их опыт вещей сказывается на конструировании ими социальных фактов. Сказать, что «как вещи» значит «извне», далеко не исчерпывает возможностей анализа. Интересное, как мы видели, начинается как раз тогда, когда мы задаем вопрос о генезисе этой умст-

¹³⁰ Дюркгейм Э. *Социология*. С. 40.

¹³¹ Там же. С. 8–9.

¹³² Там же. С. 51.

¹³³ Monnerot J. *Les faits sociaux ne sont pas des choses*. Paris: Gallimard, 1946.

¹³⁴ Desrosières A. *La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte, 1993. P. 4–5.

венной установки. Здесь открывается широкое поле для размышлений, но Дюркгейм полностью оставляет его в стороне. Это, однако, не означает, что для него не существует проблемы происхождения когнитивного аппарата исследователей. Многие пассажи, в частности, в «*Примитивных формах классификации*», показывают, что он хорошо понимал относительность «научного разума»:

«Методы научного мышления — это подлинные социальные институты, возникновение которых может описать и объяснить только социология... Наше нынешнее понятие классификации имеет историю... Все логические понятия — внелогического происхождения... Первые логические категории были социальными категориями... Первобытные классификации... непосредственно примыкают к первым научным классификациям»¹³⁵.

Однако анализ Дюркгейма сосредоточен на мысли австралийских аборигенов, хотя он и подчеркивает, что в примитивных классификациях древних — источник наших собственных научных классификаций. Но если примитивные — и, следовательно, все вообще — классификации суть проекции на мир форм социальной организации, то вот прекрасный повод деконструировать понятия научного разума — те, например, в которых описывается разделение труда, — с точки зрения воспроизводства в них некоторых основополагающих структур мысли. Дюркгейм этого не делает. Понимая социальность всякого, в том числе и научного, разума, Дюркгейм пытается «взять» это явление непосредственно у его истоков, в мысли дикарей, а не в гораздо более опосредованных формах современной науки. Иными словами, происходит перенос критического вопрошания с мышления исследователей на мышление субъектов социальной жизни — точно так же, как и у немецких историков. Мы видели, что обнаружение сознательности субъектов социальной жизни позволяет Зиммелю снять проблему структур познающего сознания, точнее говоря, перенести ее в герменевтическую плоскость понимания сознания сознанием. Аналогичную логику мы наблюдали и у других критических философов истории. Именно в этом контексте приобретает смысл центральное понятие немецкого неокантианства, идея культуры как самопознающего коллективного разума. Что касается Дюркгейма, то подобный путь был для него закрыт, поскольку идея вну-

¹³⁵ Durkheim E., Mauss M. De quelques formes primitives de classification // *L'Année Sociologique*. Vol. 6. 1901–1902. Paris, 1903. P. 1, 3, 6, 67–68.

треннего постижения социальных явлений как раз и была объектом его критики. Однако своим собственным путем он приходит к очень похожей логической конструкции. Функцию немецкой идеи культуры у Дюркгейма выполняет концепция социального.

Мы уже останавливались на «рождении социального» из политических противостояний Третьей республики. Однако при всей важности данного аспекта возникновения современной концепции общества на грани XIX—XX вв. существеннее было другое: идея социального стала новой формулой сознания, с помощью которой была сделана попытка избежать как «натурализации» разума, низведения духа до психики, так и возврата к трансцендентальному эго¹³⁶. И Дюркгейм, и немецкие критические философы делали в этом смысле одну работу. Характерно, что в немецком языке конца XIX в. слово «культура» денотировало примерно тот же круг явлений, что и слово «общество»¹³⁷, так что французская «социальная наука» и немецкая «наука о культуре» имели один и тот же предмет. И понимали они его примерно одинаково: главным содержанием социальной или культурной жизни было для них сознание¹³⁸. Конечно, идея культуры, как и идея социального, не была изобретением конца XIX в. Обе они восходят к XVII—XVIII вв., однако в эпоху Дюркгейма и Вебера они приобретают новое значение, становятся новыми именами разума и, следовательно, ключевыми понятиями формирующейся системы наук о человеке.

Идея социального происхождения разума — главная тема творчества Дюркгейма. Этот тезис, однако, в полной мере касается и научного сознания, понятия которого непосредственно восходят к формам мысли дикарей. Социальное постигает социальное — точно так же, как у немцев культура постигает культуру. Речь идет об одной и той же логической фигуре, именно, о преодолении дуализма, заложенного в идее трансцендентального эго, с помощью монистической идеи познающей самое себя субстанции. По-видимому, и Дюркгейма тоже можно записать в

¹³⁶ Mucchielli L. *Sociologie et psychologie en France, l'appel à un territoire commun: vers une psychologie collective (1890–1940)* // *Revue de Synthèse*. 1994. № 3–4. P. 453–458.

¹³⁷ Daniel U. «Kultur» und «Gesellschaft» // *Geschichte und Gesellschaft*. 1993. Bd 19. S. 69–72.

¹³⁸ Hughes H.S. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought, 1890–1930*. London: MacGibbon and Kee, 1967.

число деятелей гегелевского ренессанса. По словам Д.ЛаКапра, для Дюркгейма «общество стало суррогатом Бога в современной жизни»¹³⁹. Но гегельянство Дюркгейма состояло не только в «социальной метафизике» и в сакрализации общества. Общество для Дюркгейма было прежде всего именем разума.

Если присутствие Гегеля можно найти в мысли философов, считавших себя позитивистами или неокантианцами, то ничего удивительного нет в том, что мы встречаем его у тех авторов, которых привычно квалифицировать как неогегельянцев, а именно, у Кроче и Коллингвуда. Впрочем, если у неокантианцев мы подчеркивали присутствие гегельянского субстрата в мысли, то у неогегельянцев следует, напротив, подчеркнуть роль критической традиции. Влияние Канта на Коллингвуда несомненно (вплоть до использования кантианского понятия априорного воображения)¹⁴⁰, но и Кроче, критикуя (как и Коллингвуд) неокантианцев, также не в последнюю очередь озабочен проблемой эпистемологического обоснования наук о духе.

Выступая против позитивистского культа фактов («чистых фактов не существует»)¹⁴¹, Кроче утверждает, что воспринятые извне, «как вещи», исторические факты лишены всякого смысла, который придается им только разумом¹⁴². Именно хроника — «мертвая история», составленная из воспринятых извне фактов, отождествляется Кроче с позитивистским идеалом науки. Напротив, живая, всегда «современная» история возможна только как внутреннее постижение прошлого, руководимое духовными потребностями сегодняшнего дня. Иными словами, различие между хроникой и историей основывается на «различных духовных установках»¹⁴³,

¹³⁹ LaCapra D. *Emile Durkheim: Sociologist and Philosopher*. Ithaca; London: Cornell U. P., 1972. P. 294.

¹⁴⁰ Связь Коллингвуда с Кантом недавно подчеркивал А. Мегил: Megill A. *Grand Narrative and the Discipline of History // A New Philosophy of History / Ed. by F. Ankersmit, H. Kellner*. London: Reaction Books, 1995. P. 164.

¹⁴¹ Croce B. *Teoria e storia della storiografia*. Bari: Laterna, 1966. P. 64.

¹⁴² «Итак, повернемся с полным доверием к отправному пункту, к истинному отправному пункту, которым являются не неорганизованные и натурализованные факты, но разум, который мыслит и конструирует факты» (Croce B. *Teoria e storia della storiografia*. P. 66).

¹⁴³ *Ibid.* P. 11. В том же направлении идут размышления Кроче о том, что всеобщая история невозможна, а возможны лишь частные истории, поскольку мы способны помыслить факты лишь в той мере, в какой распознаем тот или иной их аспект (*Ibid.* P. 49, 111).

причем возможность истории обосновывается, как и у Дильтея, с помощью радикальной историзации субъекта исторического познания. Однако проблема объективности и здесь решается вполне оптимистически. Ведь разум — это не изолированный разум субъекта, но объективный дух, порождающий историю и познающий себя как мысль в сознании историка:

«Никогда ничего невозможно будет понять в действительном процессе исторической мысли, если мы не будем исходить из принципа, что дух сам является историей, создателем истории в каждый момент своего существования, но также и результатом всей предшествующей истории. Дух несет в себе всю свою историю, которая совпадает с ним»¹⁴⁴

Именно благодаря историографии дух «заново переживает свою историю», он становится «понятным самому себе» только как мысль в сознании историка¹⁴⁵. Но при совпадении духа и истории нет смысла говорить о структурах разума, проецируемых на историю: эти структуры манифестируют себя в истории, так что рассказ о внутренней связи исторических событий как раз и будет их описанием. Как и во всех монистических моделях, для структур разума исследователя здесь просто не остается места.

Со своей стороны Коллингвуд также подчеркивал, что получить из источников «факты, "готовые" к моменту начала исторического исследования», — обычная иллюзия практикующих историков, тогда как на деле «историческая мысль получает их (исторические факты. — Н. К.) от самой себя»¹⁴⁶. Образ прошлого не может быть взят непосредственно из источников, поскольку их данные фрагментарны, и историк вынужден с помощью инференции гипотетически заполнять лакуны, выстраивая связный рассказ там, где ему даны лишь фрагменты. Именно в этой связи Коллингвуд различает два вида воображения — орнаментальное, позволяющее историку, по словам Маколея, «сделать свое повествование эмоциональным и живописным», и структурное, которое позволяет ему устанавливать логические связи между историческими фактами¹⁴⁷. Поэтому «картина предмета исследования, создаваемая историком..., представляет собой некую сеть, сконструированную в воображении,

¹⁴⁴ Croce В. *Teoria e storia della storiografia*. P. 16.

¹⁴⁵ *Ibid.* P. 17, 28.

¹⁴⁶ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории*. С. 232.

¹⁴⁷ Там же. С. 230.

сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками»¹⁴⁸, основанными на свидетельствах источников.

Однако даже и «эти якобы закрепленные точки, которые историческое воображение связывает своей сетью, не даны нам в готовой форме, но являются результатом критического мышления». Иными словами, историк признает истинными и включает в свой рассказ только те факты, которые необходимы для когерентности сконструированной им сети. Именно поэтому «априорное воображение, создающее исторические конструкции, несет с собой и средства исторической критики», и вместе с тем создаваемая историком «картина прошлого» есть «продукт его априорного воображения» и «в каждой ее (картины. — Н. К.) точке представляет собой необходимость априорного»¹⁴⁹. Коллингвуд пытается тем самым связать кантовские темы априорного воображения и необходимого характера синтетических суждений с практикой исторического исследования, следуя при этом дуалистической логике критической философии. Субъект познания, которого имеет в виду Коллингвуд, конечно, уже не трансцендентальный субъект, но вполне реальный эмпирический историк. Тем не менее воображение этого историка отнюдь не субъективно: оно действует «отнюдь не произвольно, как фантазия, а в своей априорной форме»¹⁵⁰.

До сих пор тема обоснования объективности исторического познания звучит предельно по-кантовски, а заявление о том, что априорное воображение «осуществляет всю конструктивную работу в историческом исследовании», позволяет ожидать, что следом должен начаться анализ конкретных структур разума, проецируемых на историю. Но такой анализ не начинается. Коллингвуд ограничивается тем, что показывает роль априорного воображения. Затем противопоставленный объекту субъект исторического познания незаметно подменяется у него познающей самое себя субстанцией. То, что он говорит об условиях исторического познания, целиком основано на идее о консубстанциональности познающего и познаваемого, что и позволяет историку «воспроизвести прошлое в собственном сознании»¹⁵¹. Мы вновь имеем дело

¹⁴⁸ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории*. С. 231.

¹⁴⁹ Там же. С. 231–232.

¹⁵⁰ Там же. С. 230.

¹⁵¹ Там же. С. 269.

с герменевтической версией монизма, снимающей вопрошание о структурах познающего сознания, возможное только в дуалистическом кадре.

Мы видим, что отмеченный выше феномен вовсе не был особенностью немецких неокантианцев. Основатели всех важнейших течений социальных наук исходили из конструктивистской гипотезы при эпистемологическом обосновании наук о человеке. Они затрачивали немало усилий на доказательство того, что общество и история конструируются разумом, но совершенно не интересовались конкретными формами разума, которые сказывались на наших представлениях об обществе и истории. Главная причина этого заключалась, на наш взгляд, в следующем. Основатели социальных наук находились в общем русле того интеллектуального движения, которое на грани веков в самых различных областях мысли стремилось преодолеть дуализм, ибо в его рамках уже более не казалось возможным удовлетворительным образом объяснить, в чем гарантия достоверности нашего познания, иначе говоря, обосновать объективность науки. Стремление выйти из дуалистического кадра проявляется, в частности, в идее особого уровня символических операций, разрабатываемой как в новой логике, так и в семиологии, но оно проявляется также в феноменологии и даже в бихевиоризме¹⁵². Дюркгейм своей интерпретацией социального, равно как и немецкие неокантианцы своей программой исторической науки о культуре, тоже вносят вклад в формирование этой базовой для парадигмы социальных наук модели разума.

Однако для большинства мыслителей этого поколения преодоление дуализма оставалось неполным. В их логике обычно имплицитно присутствовал дуалистический кадр, заложенный в самой идее науки, которой они были безусловно преданны. Видимо, такое сочетание дуализма с монизмом стало возможным благодаря характерной особенности мысли конца XIX в.: для нее погружение сознания в социальное (или в культуру) было в какой-то мере залогом объективности познания или, во всяком случае, шансом с помощью родового релятивизма избежать разрушения разума, с полной неизбежностью следующего, с их точки зрения, из релятивизма индивидуального. Исключения из этого правила (например, Гуссерль) были редки. Характерно, что одним из выходов из этого сложного положения и для Дюркгейма, и для Вебера стала идея

¹⁵² См. подробнее в Заключении.

эволюции или модернизации, т. е. фактически метафизическая концепция рационализации общества, которая подводила к мысли о неизбежности итогового торжества научного разума. Конечно, и такое решение проблемы, подобно другим попыткам обосновать объективность на базе родового релятивизма, оставалось сомнительным, но для нас оно важно как свидетельство напряжения, существовавшего тогда между идеей науки и идеей социальной природы разума и побуждавшего основателей социальных наук испытывать различные, в том числе и весьма противоречивые интеллектуальные ходы. В результате дуалистический кадр оставался на полулегальном положении, удерживаемый сильнейшей объективистской установкой, верой в науку. В него можно было при случае незаметно «соскользнуть», выведя из-под критики научный разум, даже если «легальные» концепции разума как социального или культурного явления стремились покончить с дуализмом. Балансирование между монизмом и дуализмом, между концепцией сознания как социального явления и подсознательной трансцендентальной установкой в полной мере остается характерной чертой социальных наук.

Отказ от такого балансирования равносителен самоликвидации социальных наук: ведь если разум не социален, то что остается от их предмета, а если разум не объективен, то на чем основаны их претензии? Неудивительно, что и такое важнейшее течение исторической мысли XX в., как школа «Анналов», не смогло преодолеть это внутреннее противоречие.

2. Школа «Анналов»

Часто утверждают, что конструктивистские тенденции были не свойственны французской историографии, знакомство которой с критической философией истории и с конструктивистской гипотезой едва ли не впервые произошло благодаря Р. Арону, а позднее — благодаря А.-И. Марру¹⁵³. Это, однако, не совсем точно. Прежде всего, недавние исследования показали, что программа школы «Анналов» во многом опи-

¹⁵³ О распространении конструктивистской гипотезы во французской исторической мысли см.: Marrou H.-I. *De la connaissance historique*. Paris: Seuil, 1954. P. 21–22; Certeau M. de. *L'opération historique // Faire de l'histoire*. Vol. 1 / Pub. par J. Le Goff, P. Nora. Paris: Gallimard, 1974. P. 5–7; Boutry Ph. *Assurances et errances de la raison historique // Autrement*. 1995. № 150–151. P. 59.

ралась на конструктивистскую гипотезу¹⁵⁴. Но и до «*Анналов*» основательное, хотя и не очень афишируемое, знакомство большинства французских историков с немецкой историографией также способствовало проникновению конструктивистской гипотезы в принятую ими методологическую риторику. Сказалось на историках и влияние релятивистского интеллектуального климата начала столетия. Крупнейшие французские исследователи в области естественных наук были в высшей степени склонны подчеркивать относительность научного познания, тогда как в философии заметным влиянием пользовались спиритуалистические тенденции¹⁵⁵. Эмиль Бутру, главный оппонент сциентизма во Франции (и профессор философии в Высшей нормальной школе, где училось большинство историков), полагал, что синтез есть важнейшая историографическая операция и что он возможен исключительно благодаря активной роли исторического воображения¹⁵⁶. Эти идеи позднее развил его ученик Анри Берр, который в «*Обзрении синтеза*» (как и Дюркгейм в «*Социологическом ежегоднике*») пытался знакомить французскую публику с немецкой критической философией истории¹⁵⁷. Мы видели, что кантианские мотивы были характерны и для Дюркгейма, а социологи и историки, как мы имели случай подчеркнуть, составляли во Франции этого периода едва ли не единую среду. В частности, конструктивистскую гипотезу отстаивал ученик Дюркгейма Франсуа Симиан, сыгравший значительную роль в формировании методологической ориентации школы «*Анналов*».

Симиан развивал прежде всего позитивистскую составляющую дюркгеймианского конструктивизма. Отвергая тезис о том, будто бы ис-

¹⁵⁴ Burguière A. De la compréhension en histoire // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1990. Vol. 45. № 1. P. 124. Бюргьер с полным основанием подчеркивает связь между конструктивизмом Блока и Февра и эпистемологической купюрой, т. е. отказом от непосредственного следования подсказкам обыденного сознания в историческом анализе. Идея эпистемологической купюры была широко распространена в начале XX в. Конструктивизм Дюркгейма также в значительной мере опирался на эту идею.

¹⁵⁵ Ведущие французские философы конца века — Бутру, Пуанкаре, Пьер Дюэм — подчеркивали ограниченность научного разума (Paul H. W. *The Debate over the Bankruptcy of Science in 1895 // French Historical Studies*. 1968. Vol. 5. P. 299–327; Weisz G. *The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914*. Princeton: Princeton U. P., 1983. P. 272).

¹⁵⁶ Boutroux E. *Etudes d'histoire de la philosophie*. Paris: Alcan, 1897. P. 8–9.

¹⁵⁷ Marrou H.-I. *De la connaissance historique*. P. 19.

торики имеют дело с изолированными фактами, которые они находят в источниках, Симиан писал, что в свете данных новейшей психологии любые, даже самые материальные объекты суть абстракции, поскольку не существует чистой перцепции, свободной от понимания¹⁵⁸. Тем более любой научный факт — всегда абстракция, и даже индивид есть абстрактный конструкт нашего сознания¹⁵⁹. Следовательно, историк сам создает исторические факты. Затем эти факты подлежат отбору и группировке, причем перспектива той или иной группировки оказывает влияние на конструирование фактов:

«Она (история. — Н. К.) объединяет, группирует и представляет в определенной комбинации факты, которые выявило аналитическое исследование. Она создает, более или менее вдумчиво и критично, некоторые кадры, по которым она распределяет отдельные факты, и именно имея в виду эти кадры, она осуществляет всю свою работу по подготовке данных... Если верно, что кадры создаются для того, чтобы группировать факты, то разве не менее верно, что факты воспринимаются так, чтобы суметь войти в эти кадры?»¹⁶⁰

Именно с этих позиций Симиан критикует предрассудки «исторического племени», и прежде всего — ту принятую в позитивистской историографии схему классификации исторических фактов Ланглуа и Сеньобоса, о которой мы говорили в предыдущей главе. Симиан указывает на искусственность ее внешне столь естественных категорий. Казало бы, удачная возможность подвергнуть анализу внутреннюю логику позитивистской рубрикации истории, заложенные в ней принуждения мысли, но Симиан вместо этого пытается наметить скорее пути ее совершенствования, показывая ее слабости как инструмента социального анализа. Он обвиняет историков в использовании для упорядочивания своих материалов «идей и гипотез, происходящих из обыденного фонда готовых к употреблению понятий. Это — идеи и понятия науки пятидесятилетней, если не столетней давности, которые, войдя в обыденное сознание, кажутся уже не созданными разумом понятиями, но “естественными данными”»¹⁶¹. Проекция на историю структур разума представля-

¹⁵⁸ Simiand F. *Méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1960. Vol. 15. № 1. P. 113.

¹⁵⁹ *Ibid.* P. 89.

¹⁶⁰ *Ibid.* P. 100.

¹⁶¹ *Ibid.* P. 113.

ется ему если и не всегда контролируемым, то во всяком случае доступным контролю процессом: «Не бывает такой группировки фактов, которая не предполагала бы у ее создателя (сознает он это или нет) некоторой конструктивной гипотезы»¹⁶². Весь вопрос, следовательно, в рациональности гипотез. Неудивительно, что никакого внимания структурам сознания, проецируемым на историю, Симиан не уделяет: негодные кадры надо не изучать, а заменять годными. Иными словами, Симиан исходит из идеи «эпистемологической купюры», и его конструктивизм — глубоко оптимистический, «конструктивный» конструктивизм. Забегая вперед, отметим, что именно эта версия конструктивизма особенно заметно сказалась на мысли Блока и Февра.

Но и историки, в том числе оппоненты Симиана, за редким исключением (например, Лангуа или Лансона) подчеркивали роль исторического синтеза и воображения. Так, Шарль Сеньобос, впоследствии благодаря недоброжелательству Люсьена Февра ставший для поколений историков воплощением «историзирующей истории», в своих многочисленных методологических трудах решительно отрицал точку зрения, согласно которой историку надлежит элиминировать собственную личность, поскольку факты в чистом виде содержатся в документах¹⁶³. Напротив, по Сеньобосу, факты историк добывает путем инференции. Иными словами, уже на этапе установления фактов дело не обходится без участия воображения, роль которого еще более возрастает на этапе синтеза, который является главной (причем недооцениваемой немецкими историками) стадией исторического понимания¹⁶⁴. При этом воображение опирается на жизненный опыт историка: «Мы не наблюдаем реальность прошлого. Мы познаем ее благодаря ее сходству с реальностью настоящего»¹⁶⁵. Только на основе жизненного опыта мы способны придать смысл данным источников. Еще в ранних статьях 1980-х гг. Сеньобос писал, что те единства, с которыми работает историк, например, исторические периоды, — не реальности, но «воображаемые деления», в конструирование которых мы привносим структуры нашего разума:

¹⁶² Simiand F. *Méthode historique et science sociale*. P. 113.

¹⁶³ Seignobos Ch. *La méthode historique appliquée aux sciences sociales*. Paris: F. Alcan, 1901. P. 116.

¹⁶⁴ *Ibid.* P. 1—3.

¹⁶⁵ Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. *Introduction aux études historiques*. Paris: Hachette, 1897. P. 195.

«Законы разума отличны от законов реальности. Реальность непрерывна. Разум схватывает только ее фрагменты... Чтобы разум познавал реальность, необходимо адаптировать реальность к потребностям разума»¹⁶⁶.

Полтора десятилетия спустя ровно так же будет высказываться Риккерт. Аналогичные мысли мы найдем и у других французских историков-позитивистов¹⁶⁷. Конструктивизм, следовательно, был далеко не

¹⁶⁶ Цит. по: Keylor W. R. *Academy and Community...* P. 76.

¹⁶⁷ Так, Поль Лакомб, один из оппонентов Симиана в знаменитом споре историков и социологов, говорил о бессмысленности узкой эрудиции, о невозможности изучать неисчерпаемую реальность прошлого в целом, о необходимости отбора фактов и установления между ними определенной иерархии. Историк, по его мнению, должен не восстанавливать прошлое, каким оно было на самом деле, а идти дальше отдельных индивидуальных фактов и выявлять их повторяющиеся аспекты, иными словами, социальные институты, которые и есть подлинный предмет истории, причем институты эти историк конструирует с помощью воображения, поскольку они не даны эмпирически и их можно только вообразить (Lacombe P. *De l'histoire considérée comme science*. Paris: Hachette, 1894. P. XII–XIII, 9–10). Патриарх позитивистской историографии Габриель Моно в своих поздних работах утверждает, что история должна классифицировать повторяющиеся факты, что пишет ее живущий здесь и сейчас историк, что факты прошлого историк понимает благодаря опыту настоящего, выстраивая образ прошлого из оставшихся в источниках следов по аналогии с образом настоящего. О методологических взглядах французских историков-позитивистов см. подробнее: Keylor W. R. *Academy and Community...* P. 75–89. Здесь, конечно, уместно задать вопрос о причинах столь резкого столкновения социологов и историков (Reberieux M. *Le débat de 1903: Historiens et sociologues // Au berceau des «Annales»* / Pub. par Ch. O. Carbonnel, G. Livet. Toulouse: I. E. P., 1983. P. 219–230; Delacroix Chr., Dosse F., Garcia P. *Les courants historiques en France. 19e-20e siècles*. Paris: A. Colin, 1999. P. 99–103). Видимо, оно отчасти преувеличено легендой, и Дюркгейм, например, после своих первых выступлений против историков в конце 1890-х гг. и после появления работ ответивших ему Лакомба и Сеньбоса стал относиться к историкам скорее как к союзникам, тем более что опыт совместной борьбы в деле Дрейфуса облегчал это (Mucchielli L. *La découverte du social*. P. 415–452). Но столкновение все же было, и его не следует недооценивать. Оно было вызвано прежде всего академическими стратегиями: Дюркгейм боролся за лидерство социологии в социальных науках, т. е. претендовал на то место, которое до этого занимала история. Имел место и конфликт профессиональных культур философов (из числа которых вышло огромное большинство социологов) и историков — тот же Сеньбос в споре с Симианом не столько отрицал роль синтеза, сколько подчеркивал роль техники установления фактов. Наконец, сказалась и идеологическая эволюция: на смену патриотическим лозунгам историков-позитивистов старшего поколения приходили молодые интернационалистски и социалистически ориентированные социологи и историки, стремившиеся скомпрометировать старую форму исторического дискурса.

чужд французской историографии. Однако это был вполне оптимистический конструктивизм, и, даже подчеркивая субъективизм исследователя, французские историки не склонны были на этом основании ставить под сомнение научность своей дисциплины. Более того, уже в этот период заметно ставшее впоследствии характерным для французской традиции отождествление конструктивизма и открытия законов. В этих условиях неудивительно, что работы Р. Арона, поставившего вопрос о пределах достижимой в историческом исследовании объективности, производили впечатление едва ли не кощунства. В самом деле, Арон ставит под сомнение исторический реализм, говоря об «исчезновении объекта» истории в результате философского анализа:

«Не существует исторической реальности, которая была бы дана науке в готовом виде и которую ей надлежало бы просто с точностью воспроизвести. Историческая реальность, будучи реальностью человеческой, полисемантическая и неисчерпаема»¹⁶⁸.

С первой частью этой фразы вполне могли бы согласиться конструктивисты позитивистского склада. Однако акцент на полисемантической «человеческой реальности» приводит Арона к его главному тезису — о «множественности систем интерпретации» в истории¹⁶⁹. Герменевтический конструктивизм Арона кажется гораздо более последовательным, нежели конструктивистская риторика историков-позитивистов. Именно поэтому перед Ароном всерьез возникает вопрос об обосновании объективности (пусть ограниченной) исторического познания, который мало занимал историков. Зная, как решали этот вопрос его немецкие предшественники, мы в состоянии предсказать и путь Арона: он подчеркивает, что сознание несводимо к субъективному психическому элементу, что оно объективируется в человеческих творениях и коллективных репрезентациях, которые являются объективным, т. е. универсальным, разумом. Легко догадаться, что слово, которым он обозначает такой разум, — это культура¹⁷⁰. Историческая наука, рассматриваемая как сверхсубъективное «самосознание общества»¹⁷¹, не лишена поэтому некоторой объективности.

¹⁶⁸ Aron R. *Introduction à la philosophie de l'histoire*. P. 146.

¹⁶⁹ *Ibid.* P. 107.

¹⁷⁰ *Ibid.* P. 89–90.

¹⁷¹ *Ibid.* P. 105.

Конечно, Арон не мог повлиять на Блока и Февра. Однако сравнение его взглядов с высказываниями французских историков начала века позволяет констатировать наличие двух вариантов конструктивистской гипотезы во французской исторической мысли первой половины столетия, условно говоря, позитивистского и герменевтического, и уместно задаться вопросом, к какому из них были ближе основатели «*Анналов*».

В перспективе развития конструктивизма, как и в перспективе развития социальной истории, 1929 г. (год основания «*Анналов*») был лишь отчасти годом разрыва, а отчасти годом продолжения предшествующего историографического процесса. Основатели «*Анналов*» естественным образом восприняли традицию французского конструктивизма. Впрочем, несмотря на свою антипатию фронтовиков 1914 г. ко всему немецкому, Блок и Февр хорошо знали немецкую историографию, так что, пусть опосредованно, круг размышлений немецких критических философов был им хорошо известен¹⁷². В самом деле, уже знакомые нам идеи о том, что реальность социальной жизни опосредована сознанием и что исторические факты не даны историку в источниках в готовом виде, определяют методологические размышления Блока и Февра. Центральное понятие немецкого историзма, континуум, было важнейшим интеллектуальным инструментом Блока и Февра, и именно культурное, психологическое своеобразие отдельных эпох, столь ярко показываемое ими, являлось главным предметом их исследований. В этом смысле эпистемологическая революция «*Анналов*» не только не была абсолютным разрывом с собственно французской историографической традицией, но и может рассматриваться как наверстывание историографией той глубоко неокантианской «переориентации социальной мысли», которую другие науки о человеке пережили на грани XIX—XX вв. Как мы уже отмечали¹⁷³, программа

¹⁷² Антипатия Блока и Февра к Германии очевидна из их переписки с Пиренном (*The Birth of Annales History: The Letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921–1935)* / Ed. by B. Lyon, M. Lyon. Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 1991. P. XVI, 25, 37, 74). О влиянии немецкой исторической мысли и, в частности, критической философии истории на Марка Блока см.: Werner K. F. Marc Bloch et la recherche historique allemande // *Marc Bloch aujourd'hui: Histoire comparée et sciences sociales* / Pub. par H. Atsma, A. Burguière. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1990. P. 125–133; Oexle O. G. Marc Bloch et la critique de la raison historique // *Ibid.* P. 419–433.

¹⁷³ См.: выше, с. 202..

«Анналов» и генетически и типологически весьма близка к дюркгеймовской социологии.

Трудно, впрочем, не признать, что основатели «Анналов» являлись более последовательными конструктивистами, чем историки начала столетия, и, в частности, гораздо более непосредственно связывали с конструктивизмом возможность обновления практики исторического исследования. Конструктивизм «Анналов» был для них, безусловно, одним из важнейших аспектов самоидентификации¹⁷⁴. Поэтому и «наивный реализм в стиле Ранке» приписывался ими их оппонентам с излишней настойчивостью.

Как и немецкие историки, основатели «Анналов» были убеждены в исторической ограниченности историка, замкнутого в горизонте своего времени. Люсьен Февр в особенности постоянно подчеркивал связь науки с жизнью: «Наука не создается в башнях из слоновой кости... усилиями бесплотных ученых, живущих вне времени и пространства», она «не есть государство в государстве» и «неотделима от социальной среды, в которой разрабатывается»¹⁷⁵. Февр писал:

«Она (наука. — Н. К.) творится в самой жизни, живыми людьми, погруженными в свой век. Тысячами тонких и сложных нитей она связана с человеческой деятельностью во всем ее многообразии»¹⁷⁶.

Именно в этом — источник жизненных сил истории, именно поэтому она представляет собой «не сумрачное и пыльное хранилище мертвых теорий и обветшалых понятий», но «живую главу общей истории человеческой мысли»¹⁷⁷. Отсюда неизбежно, что «каждая эпоха создает в своем воображении собственное представление об историческом прошлом. Свой Рим и свои Афины, свое средневековье и свой Ренессанс»¹⁷⁸. Поэтому Февр призывает молодых историков:

«Чтобы заниматься историей, решительно повернитесь спиной к прошлому и прежде всего живите. Глубже погружайтесь в жизнь. В интеллектуальную жизнь, конечно же, и во всем ее многообразии. Но живите и практической жизнью. Между действием и мыслью нет разрыва,

¹⁷⁴ Характерно, что статья Февра с критикой позитивиста Луи Альфана называется «О чуждой нам форме истории» (Febvre L. *Combats*. P. 114–118).

¹⁷⁵ *Ibid.* P. 56.

¹⁷⁶ *Ibid.* P. 15.

¹⁷⁷ *Ibid.* P. 56.

¹⁷⁸ Febvre L. *Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle: La religion de Rabelais*. Paris: A. Michel, 1968. P. 12.

нет непреодолимого барьера. Следует работать в согласии с целостным движением своего времени... Одним словом, надо уметь думать. Именно этого чудовищно не хватает историкам»¹⁷⁹.

Конечно, погружение историка в исторический мир уместно связать с присущим Февру чувством историзма, однако можно указать и на другие интеллектуальные источники такой позиции. Вот показательная фраза:

«Освободимся от иллюзий. Человек не помнит прошлого. Он всегда реконструирует его — и абстрактный изолированный человек, и реальный человек в группе. Он не хранит прошлое в памяти... Он исходит из настоящего — и только через него истолковывает прошлое»¹⁸⁰.

Здесь очевидно влияние взглядов Мориса Альбвакса, согласно которым память есть существенно социальный феномен, так что реконструирование прошлого человеческим сообществом основывается на его коллективных потребностях, а не на автоматической фиксации прошлого в индивидуальном сознании¹⁸¹. Но Альбвакс — ученик Дюркгейма, и, конечно же, его теория «социальных кадров памяти» — частный случай дюркгеймовского тезиса о социальности сознания. Характерно, что этот экскурс в теорию памяти в тексте Февра вклинивается в рассуждение об истории как о науке. Социальную память он противопоставляет научной истории, которая должна осознанно конструировать свои объекты. Но несмотря на это противопоставление параллель истории и памяти присутствует у Февра. Обреченность истории на конструктивизм лишь подчеркивается конструктивистским характером столь, казалось бы, «естественной» социальной памяти. Акцент на социальную функцию истории, — «организовывать прошлое в зависимости от настоящего»¹⁸² — видимо, происходит именно отсюда. Отсюда же и знаменитый

¹⁷⁹ Febvre L. *Combats...* P. 32–33. Нельзя не отметить странное звучание призыва «работать в согласии с целостным движением времени» в оккупированном немцами Париже: цитированная фраза Февра взята из его обращения к студентам Высшей нормальной школы осенью 1941 г. О небезупречном поведении Февра в годы оккупации см.: Burtin Ph. *La France à l'heure allemande, 1940–1944*. Paris: Seuil, 1995. P. 322–328; Fink C. *Marc Bloch: A Life in History*. Cambridge: Cambridge U. P., 1989. Ср.: Schöttler P. Marc Bloch et Lucien Febvre face à l'Allemagne Nazie // *Genèses*. 1995. № 21. P. 75–95.

¹⁸⁰ Febvre L. *Combats...* P. 15.

¹⁸¹ Halbwachs M. *Les cadres sociaux de la mémoire*. Paris: F. Alcan, 1925. Альбвакс был тесно связан с кругом «Анналов».

¹⁸² Febvre L. *Combats...* P. 438.

«проблемный метод» Февра, составивший главную особенность его «практической эпистемологии» — «идти прямо к проблемам», которые диктуются сегодняшним днем, — метод, возможный только на почве конструктивизма.

Вместе с тем, с противопоставлением истории и памяти мы приходим ко второму, и важнейшему, аспекту февровского конструктивизма — к его связи с идеей эпистемологической купюры. Эта идея, обычно связываемая прежде всего с именем Гастона Башляра, была свойственна многим основателям социальных наук, стремившимся порвать с обыденным сознанием и возвысить познание дел человеческих до уровня науки. Таков был в значительной мере пафос Дюркгейма, конструктивизм которого предполагал разрыв с предрассудками обыденного сознания, зачастую непосредственно переносимыми в социологические объяснения. Именно ради этого Дюркгейм призывал рассматривать социальные факты извне, «как вещи», и объяснять их другими взятыми извне фактами. Но это означало, что факт не дан науке столь же непосредственно, как обыденному сознанию. Напротив, научные факты должны быть сконструированы. Именно эта тема постоянно звучит и у Люсьена Февра:

«Что вы называете фактами?.. Думаете ли вы, что факты даются истории как некие субстанции, как сущности?.. Именно историк вызывает к жизни даже самые незначительные исторические факты... Наблюдение никогда не берет готовых фактов. Наблюдение — это конструирование... Где взять факт как таковой, пресловутый атом истории?.. Освободимся, наконец, от наивного реализма в стиле Ранке, который воображал, что можно познавать факты сами по себе, какими они происходили. Историческую реальность, как и реальность физическую, мы воспринимаем через посредство форм нашего разума... Всякая наука создает свои объекты»¹⁸³.

Достаточно часто эти идеи появляются у Февра со ссылкой на пример естественных наук, в частности, на слова Бертело о том, что химия создает свои объекты¹⁸⁴. Именно с конструктивизмом Февр связывает революцию в естествознании. Поэтому он и задает вопрос о том, до ка-

¹⁸³ Febvre L. *Combats...* P. 116, 23, 57, 7, 58, 115, 30.

¹⁸⁴ «Наши ученые все больше склонны определять науку как творчество, они представляют ее как “создательницу своих объектов” и отмечают в ней постоянное вмешательство ученого, его воли и его действий» (Febvre L. *Combats...* P. 30).

ких пор историки будут держаться за устаревшие концепции научного познания. Кризис современной ему исторической науки, кризис «историзирующей истории» Февр связывал прежде всего с отказом этой последней принять логику конструктивизма и тем самым открыть для себя возможность стать, говоря словами Блока, «более широкой и более человеческой», т. е. существенно обновить и расширить свою проблематику и свой интеллектуальный аппарат. Именно с освоением историей уроков конструктивизма Февр связывает надежду на обновление исторической науки, и именно поэтому конструктивизм для него — важнейший аспект его интеллектуальной идентичности (и академической стратегии). Иными словами, конструктивизм Февра связан с эпистемологическим оптимизмом в позитивистском вкусе, ему чуждо «трагическое сознание» немецких историков. Поэтому Февр прав, говоря о своих конструктивистских взглядах: «Здесь нет ничего скандализующего, никакого посягательства на приписываемое науке величие»¹⁸⁵.

Конструктивизм у Февра, как и у Дюркгейма и в особенности у Симиана, связан со сциентизмом и позитивизмом. Правда, это уже не «наивный реализм» позитивистов середины XIX в. с их крайней доверчивостью к данным органов чувств. Это, скорее, неопозитивизм с характерной для него интуицией реальности как системы сложных отношений, задача выявления которых легко интерпретировалась как конструирование объектов исследования. В этих условиях вопрос о том, совместим ли конструктивизм с объективным познанием, едва ли вообще имеет смысл, и неудивительно, что Февр склонен задумываться над ним не больше, чем историки начала века. Отсюда, в частности, понимание Февром избирательного характера исторического интереса: «История — это выбор. Произвольный — нет. Предварительно продуманный — да»¹⁸⁶. Историк «не блуждает наугад по прошлому», но «отправляется в путь, имея в голове определенный замысел, проблему, требующую разрешения, рабочую гипотезу, которую необходимо проверить»¹⁸⁷. Иными словами, следует лучше продумывать рабочие гипотезы, теории, вопросы к прошлому. Поэтому неудивительно, что ничего конкретного о структурах познающего сознания Февр не говорит. Из

¹⁸⁵ Febvre L. *Combats...* P. 15.

¹⁸⁶ *Ibid.* P. 117.

¹⁸⁷ *Ibid.* P. 7.

конструктивистской посылки для него следовал вывод не о том, что надо изучать сознание историка, но о том, что нужно лучше пользоваться этим сознанием. Его эпистемология и в самом деле была «практической»¹⁸⁸.

Равным образом и Марк Блок, пронизательно обращая внимание на ряд свойственных позитивистской историографии принуждений мысли (например, на принятые ею искусственные хронологические деления)¹⁸⁹, совершенно не интересуется их происхождением, как и вообще ментальностью историков. Вот, например, его характерное рассуждение о социальной иерархии (мы выбрали именно эту цитату, поскольку предметом нашего исследования как раз и было то, как историки описывают общество):

«А что такое социальная классификация, если не изменчивое и с огромным трудом передаваемое словами представление, создаваемое членами данного общества об иерархических отношениях между ними?»¹⁹⁰.

Блок, безусловно, понимает центральную роль сознания в конституировании социальных фактов, но для него это — сознание субъектов истории, а отнюдь не сознание историков, которое, как мы могли убедиться, налагает на наши реконструкции общества отпечаток своих собственных структур. Но создается впечатление, что, как и у Дюркгейма, изучение ментальности людей прошлого как бы замещало для основателей «Анналов» изучение ментальности историков¹⁹¹. Однако в целом конструктивизм основателей «Анналов» носил преимущественно не герменевтический, но позитивистский характер.

¹⁸⁸ За исключением критики механистических метафор позитивистской историографии и свойственной ей рубрикации истории единственным подступом Февра к конкретному изучению функционирования исторического разума является следующая фраза: «Она (история. — Н. К.) есть выбор в силу особенностей человеческого мышления: как только документы накапливаются в избыточном количестве, исследователь начинает сокращать и упрощать, подчеркивать одно и сглаживать другое» (Febvre L. *Combats...* P. 7). Здесь было бы уместно проследить, как именно происходят эти сокращения и упрощения, но Февр этого не делает.

¹⁸⁹ Блок М. *Апология истории*. С. 97–101. См. также: Dumoulin O. Marc Bloch. Paris: F. N. S. P., 2000. P. 141–157.

¹⁹⁰ Цит. по: Oexle O.G. Marc Bloch et la critique de la raison historique. P. 419.

¹⁹¹ В этом смысле Ж. Нуарьель прав, говоря о Февре как о предтече «герменевтического века французской историографии» (Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1443).

Конструктивизм и в дальнейшем оставался важным элементом традиции «*Анналов*». Правда, в следующем поколении школы, у Броделя и в особенности у Лабрусса, как мы видели, резко преобладало реалистическое уmonoстроение, однако они, в особенности Бродель, по крайней мере в теории, сохраняли конструктивистские взгляды¹⁹². По мере «поворота к ментальностям» во французской историографии в 1960—1970-е гг. конструктивистские высказывания начинают встречаться чаще. Конструктивизму отводят роль программного принципа школы «*Анналов*» и едва ли не ее «идентификационного признака». Так, Франсуа Фюре говорил о конструктивизме как о главном отличии «новой истории»¹⁹³, а Жак Ле Гофф и Пьер Нора в предисловии к программному коллективному труду «*Как занимают историю*» следующим образом характеризовали школу «*Анналов*»:

«Новая история... утверждает... в сознании своей зависимости от условий своего собственного производства. Далеко не случайно она все более интересуется самой собой и отводит все более заметное и важное место истории исторической науки. Будучи продуктом, она начинает интересоваться своим производителем — историком»¹⁹⁴.

В том же издании эту тему развивает Мишель де Серто: «Прежде чем смотреть, что говорит история об обществе, важно проанализировать, как она в нем функционирует»¹⁹⁵. В аналогичном смысле высказывался Жорж Дюби, подчеркивавший зависимость исторической проблематики от не вполне осознанных психологических установок историка и призывавший «подвергнуть наблюдению самого наблюдателя, узнать,

¹⁹² Полемизируя с Лангуа и Сеньбосом, «для которых идеалом было бы устранение наблюдателя (т. е. историка. — Н. К.)», Бродель подчеркивал: «История — дочь своего времени». В другом месте Бродель характеризует как устаревшую иллюзию мысль Луи Альфана, считавшего, что источники в идеале сами должны выстраивать для нас ряд событий (Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. Paris: Flammarion, 1969. P. 15, 18, 47). Об элементах конструктивистской логики в программе социальной истории Э. Лабрусса см. гл. 1. Жорж Лефевр также подчеркивал, что история «отражает» не только источники, но и «ментальность самих историков» (Lefebvre G. *Réflexions sur l'histoire*. Paris: Maspero, 1978. P. 109). Впрочем, немедленно за этим Лефевр оговаривается, что не следует предаваться чрезмерному релятивизму.

¹⁹³ Furet F. *L'Atelier de l'histoire*. Paris: Flammarion, 1982. P. 15.

¹⁹⁴ Le Goff J., Nora P. *Présentation // Faire de l'histoire*. Vol. 1 / Pub. par Le J. Goff, P. Nora. Paris: Gallimard, 1974. P. XIII.

¹⁹⁵ Certeau M. de. *L'Opération historique // Faire de l'histoire*. Vol. 1. P. 15.

что он думает, чего боится, написать историю историков, социологию социологов, выявить роль ментального в функционировании уже не обществ, но социальных наук»¹⁹⁶. Подобного рода высказывания отражали дух времени. Структурализм с его «деспотизмом интеллектуалов» и расцветом «школы подозрения» не мог не способствовать упадку «наивного реализма». Интеллектуальный климат эпохи не без иронии характеризовал Раймон Арон: «В парижских кругах формула “фактов не существует” встречалась с полной благосклонностью»¹⁹⁷. На этом климате сказались, в частности, связь структурализма с традицией критической философии и сохранение дюркгеймовской традиции «социальной истории категорий разума», которая продолжала практиковаться в антропологии (например, Луи Дюмоном)¹⁹⁸. Но и впоследствии, по мере распада структуралистской парадигмы, влияние символического интеракционизма, феноменологической социологии и других подобных теорий благоприятствовало поддержанию релятивистских настроений. Заметное влияние оказала на французских историков и социология науки, и прежде всего исследования Пьера Бурдьё, в которых постоянно звучат кантианские мотивы¹⁹⁹. Наконец, постмодернистские тенденции также в какой-то степени затронули французскую историографию (хотя в целом лингвистический поворот был встречен ею скорее враждебно)²⁰⁰.

В этих условиях предпринимаются попытки критического исследования историографии. После исполненной, пусть осторожного, эпистемологического оптимизма (но все же сыгравшей важную роль в ознаменовании исторической профессии с идеями Раймона Арона и с критической философией) книги Анри-Ирине Марру появляется работа Поля

¹⁹⁶ Duby G. *Le mental et le fonctionnement des sciences humaines // L'Arc*. 1979. № 72. P. 92.

¹⁹⁷ Цит. по: Mesure S. *Note sur la présente édition // Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire*. P. VIII.

¹⁹⁸ Dumont L. *Homo hierarchicus: Le système des castes et ses implications*. Paris: Gallimard, 1966.

¹⁹⁹ Бурдьё П. *Начала*. М.: Sociologos, 1994.

²⁰⁰ В крайней форме идеал историка, произвольно манипулирующего фактами, присутствует в проекте экспериментальной истории Д. Мило: Milo D. S. *Pour une histoire expérimentale, ou le gai savoir // Alter Histoire: Essais d'histoire expérimentale / Pub. par D. S. Milo, A. Boureau*. Paris: Les Belles Lettres, 1991. Анализ взглядов Мило см.: Boutry Ph. *Assurances et errances de la raison historique*. P. 56–68.

Вэна, под влиянием Фуко уже гораздо скептичнее настроенноношению к возможностям исторического познания:

«История не наука и никогда не станет наукой... Она объясняет и у нее нет метода. Более того, Истории с большой которой столько говорят последние два века, вообще не существует. Для Вэна история — это «правдивый роман», и ее сущностью является повествование. В этом отношении Вэн примыкает к теоретическому повествованию (которых мы коснемся несколько Наряду с идеями Фуко (пусть в специфическом прочтении) Вэна в 1970-е гг. были в значительной мере восприняты «Анна способствовали конструктивистским настроениям. Одновременно де Серто предложил рассматривать историю прежде всего разделенную культурную практику, интерпретировать которую с учетом социальных и культурных условий работы историка.

Однако работами Вэна и де Серто, пожалуй, и исчерпывае сок попыток исследования ментальности историков, вышедших или менее или менее близких к «Анналам» кругов. Призывы подверг следованию ментальность историков остались без последствий, ченная де Серто программа изучения историографии не претворена в жизнь. Периодически раздававшиеся в адрес шко. налов» упреки в релятивизме были сильно преувеличенными: кам эпохи, релятивизм «Анналов» был скорее умеренным. К тивистская гипотеза по-прежнему понималась «Анналами» всего в позитивистском ключе. Это легко заметить, например суждениях Фюре, который противопоставлял осознанное конвание «новой историей» своих объектов традиционному пов нию, т. е. неосознанной проекции на мир нарративных структу вершенно аналогичные мотивы звучат и в редакционной «Анналов» 1989 г., в которой была сделана попытка обозначить ориентацию журнала, состоявшую в отказе от стратифицирован дели «экономик, обществ и цивилизаций» и в призыве к новорическому синтезу:

«История конструирует свои объекты. Статья или книга рии — не уменьшенная копия реальности, но проявление ст

²⁰¹ Veyne P. *Comment on écrit l'histoire: Essai d'épistémologie*. Paris: S P. 9–10.

²⁰² Furet F. *L'Atelier de l'histoire*. P. 14–15.

которая преодолевает непрозрачность реальности с помощью исходных гипотез и предварительно установленных правил эксперимента»²⁰³.

Конструктивизм носит здесь контролируемый характер, а конструирование реальности с помощью бессознательной реификации аналитических категорий рассматривается как свойство отвергнутой модели²⁰⁴. Совершенно так же рассуждали ранее Симиан, Февр или Фюре. При таком подходе, как мы знаем, не остается места для изучения сознания историка, и в той мере, в какой сознанию все же приписывается активная роль в конструировании истории, речь может идти только о сознании субъектов истории. Иными словами, сознание историка в качестве объекта исследования замещается сознанием субъектов истории. Не удивительно, что одновременно с распространением конструктивистских высказываний во французской историографии имеет место обращение к истории ментальностей, истории воображаемого и исторической антропологии, иными словами, подъем направлений, в центре внимания которых находится сознание субъектов истории.

Итак, от Блока и Февра до самого последнего времени интерпретация школой «*Анналов*» конструктивистской гипотезы характеризуется двумя чертами: во-первых, под конструирующим историю сознанием имеется в виду прежде всего сознание субъектов истории, а не историков, во-вторых, когда речь все же заходит о конструировании исторических фактов историком, понимается оно как процесс сознательного выдвижения гипотез. Первая черта сближает школу «*Анналов*» с немецким историзмом, вторая же скорее связана с позитивистской методологией. Такое понимание конструктивистской гипотезы оказалось не более благоприятным для перехода от теоретического обоснования конструктивистской гипотезы к эмпирическому исследованию мышления историков, нежели ее герменевтическая версия, развивавшаяся немецким историзмом.

²⁰³ Tentons l'expérience // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations*. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1321.

²⁰⁴ Именно по поводу традиционной социальной истории авторы редакционной статьи 1989 г. пишут: «Если основу истории составляло описание в цифрах, то, чтобы придать такому описанию силу очевидности, следовало постулировать, что полученный результат соответствует чему-то реальному... Реификация категорий логически заложена в таком демарше» (Tentons l'expérience. P. 1319). Но едва ли реификация категорий может считаться особенностью лишь традиционной социальной истории.

3. Лингвистический поворот

Лингвистический поворот в историографии интересует нас только в той мере, в какой речь идет об утверждении, что язык оказывает решающее влияние на работу историков. Это — наиболее нашумевший, но, возможно, не главный тезис лингвистического поворота. Наряду с осознанием роли языка в производстве исторического дискурса в историографии XX в. (особенно начиная с 1960–1970-х гг.) имело место осознание роли языка в жизни общества. Понятый в этом смысле лингвистический поворот может быть связан прежде всего с творчеством таких историков, как Р. Козеллек, К. Скиннер, М. Покок²⁰⁵. Однако если бы лингвистический поворот состоял только в применении лингвистического анализа для понимания прошлого, он был бы лишь частным случаем того уже известного нам общего правила, что историки, как и другие исследователи в области социальных наук, свои концепции сознания распространяют только на сознание субъектов истории, но никак не на свое собственное. Напротив, уникальность лингвистического поворота состоит как раз в том, что это общее правило здесь оказалось нарушенным. Понятый в смысле проблематизации исторического дискурса лингвистический поворот обычно (хотя и не совсем точно) отождествляют с «постмодернистским вызовом» в историографии²⁰⁶. Главными его пред-

²⁰⁵ *Geschichtliche Grundbegriffe*; Koselleck R. *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979; Skinner Q. *The Foundations of Modern Political Thought*. Cambridge: Cambridge U. P., 1978. Vol. 1–2; Pocock J. C. A. *Politics, Language and Time: Essays in Political Thought and History*. London: Methuen, 1972. О немецкой истории понятий и параллельных тенденциях в англоязычной истории идей см.: Richter M. *The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction*. New York; Oxford: Oxford U. P., 1995; *The Meaning of Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte* / Ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington: German Historical Institute, 1996. Естественно, и ранее многие историки, не исключая основателей школы «Анналов», понимали, например, важность исторической лингвистики.

²⁰⁶ О лингвистическом повороте в этом смысле см.: *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives* / Ed. by D. LaCapra, S. L. Kaplan. Ithaca; London: Cornell U. P., 1982; Bouwsma W. J. *Intellectual History in the 1980s: From History of Ideas to History of Meaning* // *The New History: The 1980s and Beyond* / Ed. by T. K. Rabb, R. I. Rotberg. Princeton (N. J.): Princeton U. P., 1981. P. 279–291 (специальный выпуск *Journal of Interdisciplinary History*. Vol. 12); Partner N. F. *Making Up Lost Time: Writing on the Writing of History* // *Speculum*. 1986. Vol. 61. № 1. P. 90–117;

ставителями называют тогда Ролана Барта, Хайдена Уайта, Фрэнка Анкерсмита и др. По-видимому, можно говорить об упадке постмодернизма в историографии во второй половине 1990-х гг., упадке, который отмечают и сами его представители, признающие, что лингвистический поворот не затронул основы исторической профессии и даже уже пере-

Toews J. W. Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and Irreducibility of Experience // *The American Historical Review*. 1987. Vol. 92. № 4. P. 879–907; Novick P. *That Noble Dream*. P. 522–572; Eley G. De l'histoire sociale au «tournant linguistique» dans l'historiographie anglo-américaine des années 1980 // *Genèses*. 1992. № 7. P. 163–193; Vernon J. Who's Afraid of the Linguistic Turn? The Politics of Social History and Its Discontents // *Social History*. 1994. Vol. 19. № 1. P. 81–97; Ankersmit F. R. The Origins of Postmodernist Historiography // *Historiography between Modernism and Postmodernism: Contributions to the Methodology of the Historical Research* / Ed. by J. Topolsky. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1994. P. 87–117; *A New Philosophy of History* / Ed. by F. R. Ankersmit, H. Kellner. London: Reaction Books, 1995. См. также несколько недавних обменов мнениями по поводу лингвистического поворота на страницах ряда ведущих исторических журналов: Ankersmit F. R. Historical Representation // *History and Theory*. 1988. Vol. 27. № 3. P. 205–228; Idem. Historiography and Postmodernism // *Ibid*. 1989. Vol. 28. № 2. P. 137–153; Zagorin P. Historiography and Postmodernism: Reconsiderations // *Ibid*. 1990. Vol. 29. № 3. P. 263–274; Ankersmit F. R. Reply to Professor Zagorin // *Ibid*. P. 275–296; Zagorin P. History, the Referent and Narrative: Reflections on Postmodernism Now // *Ibid*. 1999. Vol. 38. № 1. P. 1–24; Jenkins K. A Postmodern Reply to Perez Zagorin // *Ibid*. 2000. Vol. 39. № 2. P. 181–200; Zagorin P. Rejoinder to a Postmodernist // *Ibid*. P. 201–209; Iggers G. G. Zur «Linguistischen Wende» im Geschichtsdnken und in der Geschichtsschreibung // *Geschichte und Gesellschaft*. 1995. Bd 21. S. 557–570; Spiegel G. History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages // *Speculum*. 1990. Vol. 65. № 1. P. 59–86; Joyce P. History and Post-Modernism-I // *Past and Present*. 1991. № 133. P. 204–209; Kelly C. History and Post-Modernism-II // *Ibid*. P. 209–213; Stone L. History and Post-Modernism-III // *Ibid*. 1992. № 135. P. 189–194; Spiegel G. History and Post-Modernism-IV // *Ibid*. P. 194–208; Jacoby R. A New Intellectual History? // *The American Historical Review*. 1992. Vol. 97. № 2. P. 405–424; LaCapra D. Intellectual History and Its Ways // *Ibid*. P. 425–439. См. также несколько недавних обзоров, отчетливо занимающих позицию за или против лингвистического поворота: Jenkins K. *Re-thinking History*. London: Routledge, 1991; Idem. *On «What is History?»: From Carr and Elton to Rorty and White*. London; New York: Routledge, 1995; Appleby J., Hunt L., Jacob M. *Telling the Truth about History*. New York; London: Norton, 1994; Munslow A. *Deconstructing History*. London; New York: Routledge, 1997; Evans R. J. *In Defense of History*. London: Granta Books, 1997; Bunzl M. *Real History: Reflections on Historical Practice*. London; New York: Routledge, 1997; McCullagh C. B. *The Truth of History*. London: Routledge, 1998; Windeshuttle K. *The Killing of History: How Literary Critiques and Social Thinkers Are Murdering Our Past*. New York: The Free Press, 1997.

стает восприниматься как последняя теоретическая мода²⁰⁷. Но хотя у большинства историков призыв критически обратиться к собственному интеллектуальному аппарату не вызвал понимания, Рубикон был перейден и сознание самих исследователей едва ли не впервые было подвергнуто анализу наряду с сознанием субъектов исторического процесса.

Начало новому движению положил Ролан Барт, показавший возможность рассматривать историю с помощью тех же инструментов литературной критики, что и любой другой текст. С его точки зрения, «исторический дискурс по своей сути идеологичен», поскольку исторический «факт имеет лишь лингвистическое существование». В этой связи Барт задается вопросом, почему история воспринимается так, «как если бы лингвистическое существование факта было лишь копией другого существования — реальности»²⁰⁸. Отсюда главной проблемой исторического дискурса для Барта становится «эффект реальности», с помощью которого история пытается предстать как дискурс о внешнем мире. При такой постановке вопроса история оказывается одним из реалистических

²⁰⁷ Вот несколько характерных высказываний: «Несмотря на то, что философы, да и сами историки на протяжении десятилетий доказывают, что история — конструкт, вера в то, что она является непосредственным воспроизведением реальности, остается удивительно прочной» (Gosman L. *History and Literature: Reproduction or Signification // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding* / Ed. by R. H. Canary, H. Kozicki. Madison: The University of Wisconsin Press, 1978. P. 32). «Дестабилизация истории в теории с помощью лингвистически ориентированной критики не имела практических последствий для академической практики, поскольку ученые ничего не могли выиграть, но все могли потерять, демонтировав свой код основанного на доказательствах рассуждения и открывая себя неизбежным упрекам в мошенничестве» (Partner N. F. *Historicity in an Age of Reality-Fictions // A New Philosophy of History* / Ed. by F. R. Ankersmit, H. Kellner. P. 22). «Историки гордятся своей неуязвимостью для червоточины сомнений» (LaCapra D. *History and Criticism*. Ithaca: London: Cornell U. P., 1985. P. 46). В последние годы оппонентами были высказаны уничижительные интерпретации лингвистического поворота как лишённого серьезных интеллектуальных оснований чисто стратегического союза группы американских исследователей, во имя личного успеха нанесших большой вред основанной на социальной сплоченности практики исторической профессии (Noiriel G. *Sur la «crise» de l'histoire*. Paris: Belin, 1996. P. 126–144). Конечно, такого рода критика, даже если она правильно анализирует академические стратегии, грешит редукцией к ним интеллектуальной жизни в целом, что заставляет вспомнить теории заговора в политике, также оставляющие без внимания более глубокие причины исторических явлений.

²⁰⁸ Barthes R. *Le discours de l'histoire // Social Science Information*. 1967. Vol. 6. № 4. P. 73.

дискурсов и ближайшим аналогом реалистической литературы. Отличительным свойством этих дискурсов, объясняющим эффект реальности, является, по Барту, иллюзорное слияние означаемого с референцией, так что трехчастная семантическая структура в реалистическом дискурсе как бы нарушается в пользу двухчастной, где «слова истории» отсылают к фактам, несущим свое значение в самих себе, а отнюдь не получающим его из языка²⁰⁹. Иными словами, внимание Барта было направлено прежде всего на совокупность риторических приемов, с помощью которых история, будучи лингвистической формой и, следовательно, идеологическим конструктором, в состоянии «подавать себя» как копию реальности.

Но у Барта намечен и другой путь анализа — каким образом язык не просто придает истории статус правдивого рассказа, но порождает самое содержание этого последнего. По этому пути пошел главный представитель лингвистического поворота в историографии — американский историк Хайден Уайт. Призывая подходить к «историческому произведению как к тому, чем оно с полной очевидностью является, — как к вербальной структуре в форме повествования в прозе»²¹⁰, Уайт на примере ряда видных историков прошлого века анализирует те механизмы, которые ответственны за производство исторического дискурса. Речь идет о механизмах, относящихся к «глубокому уровню сознания», на котором предопределяется построение исторического повествования:

«Прежде, чем историк сможет подчинить исторические данные понятиям, используемым для их репрезентации и объяснения, он должен “предфигурировать” соответствующее поле исследований — иными словами, конституировать его в качестве объекта ментального восприятия»²¹¹.

Этот по сути своей поэтический акт является, по Уайту, источником значения исторического текста. При этом, следуя К. Леви-Строссу и Р. Якобсону, Уайт считает, что предфигурирование состоит в выборе между поэтическими тропами (метафорой, метонимией, синекдохе и

²⁰⁹ *Ibid.* P. 74. Бартовскую тему эффекта реальности развил Ж. Рансьер, говоривший об изобретении историками «нового режима истины, полученного комбинацией объективности рассказа и убедительности дискурса». Изучение подобных «режимов истины» является, с его точки зрения, целью «поэтики знания» (Rancière J. *Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir*. Paris: Seuil, 1992. P. 34).

²¹⁰ White H. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1973. P. IX.

²¹¹ *Ibid.* P. 30.

иронией), которые порождают соответствующие типы сюжета и «стратегии объяснений», в сочетании с той или иной идеологической формой объясняющие индивидуальные исторические стили²¹². Определяемый эстетическими и моральными соображениями²¹³ и часто бессознательный, выбор «лингвистического протокола» обуславливает тем не менее логику исторического повествования²¹⁴. Поэтому история, по Уайту, есть проекция на мир форм нашего разума (отождествляемых им с «лингвистическими протоколами»), которые определяют не только статус, но и самое содержание наших представлений о прошлом. Исследования Барта и Уайта привели к широкому распространению конструктивистской риторики в историографии²¹⁵.

Книга Уайта была еще вполне структуралистской, однако широкая популярность лингвистического поворота приходится на постструктуралистский период, когда уже не делалось столь грандиозных попыток объяснения всего содержания истории лингвистическими протоколами. Факт, что мир дан нам только в языке и благодаря языку, считался установленным, а модель постструктуралистской критики требовала скорее мозаичных, фрагментарных интерпретаций значения исторических текстов, нежели целостных концепций того, как работает сознание историка. Отсюда — сосредоточение внимания на индивидуальном стиле того или иного историка (или даже отдельного произведения), на различного рода стилистических механизмах создания авторского «я» и т. д.²¹⁶

²¹² White H. *Metahistory*. P. 427.

²¹³ *Ibid.* P. 433.

²¹⁴ Так, метафора влечет за собой преобладание репрезентативного стиля, метонимия порождает редукционистские объяснения причинно-следственных связей, тогда как синекдохе благоприятствует органистическому видению общества и поиску внутренней психологической связи социальных явлений (White H. *Metahistory*. P. 34–38).

²¹⁵ Типичны, например, следующие высказывания: «Факты истории не даны нам, а скорее взяты нами». В другом месте Кельнер говорит о наложении на прерывную реальность непрерывности как формы разума, а именно, повествования (Kellner H. *Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989. P. 11, 1).

²¹⁶ Пионером такого подхода был Дж. Хекстер: Hexter J. H. *The Rhetoric of History // History and Theory*. 1967. Vol. 6. № 1. P. 3–13; Idem. *Historiography. The Rhetoric of History // International Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. by D. F. Sills*. London: Macmillan: The Free Press, 1968. Vol. 6. P. 368–394; См. также: LaCapra D. *History and Criticism*; Idem. *Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts. Language*. Ithaca; London: Cornell U. P., 1983; Megill A., McCloskey D. N. *The Rhetoric of History*

Сравнительно редкие работы пытались показать влияние лингвистических механизмов на содержание исторических концепций. Так, Ханс Кельнер подчеркивал роль «регулятивных метафор среднего уровня» для формирования исторических концепций и анализировал поэтику Броделя с точки зрения метафоры вечного возвращения, определяющей, с его точки зрения, не только построение «Средиземноморья», но и понимание Броделем логики истории²¹⁷. Особый интерес представляет теория нарративных субстанций Фрэнка Анкерсмита, который в последние годы стал, по-видимому, наиболее заметным защитником постмодернизма в историографии. Нарративные субстанции в понимании Анкерсмита — это образы прошлого, которые складываются в сознании историка и являются единственными референтами исторического повествования. Именно их внутренняя структура диктует то, что историк говорит о своем предмете. Например, рассказ о Ренессансе или о Французской революции уже содержится в этих понятиях, или, точнее, в связанных с ними ментальных образах. Такие нарративные субстанции рассматриваются Анкерсмитом как проявление лейбницевского постулата *predicatum inest subjecto*²¹⁸. Как мы видели, этот принцип вполне при-

// *The Rhetoric of the Human Sciences* / Ed. by J. S. Nelson, A. Megill, D. N. McCloskey. Madison: The University of Wisconsin Press, 1987. P. 221–238; Kellner H. *Language and Historical Representation*; Carrard Ph. *Poetics of the New History: French Historical Discourse from Braudel to Chartier*. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1992; *Proof and Persuasion in History // History and Theory*. Beiheft 33 / Ed. by A. Grafton, S. L. Marchand. 1994; См. также поздние работы Х. Уайта: White H. *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1978; Idem. *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1987.

²¹⁷ «Гораздо важнее (чисто стилистических метафор. — Н. К.) регулятивные метафоры среднего уровня, которые скорее порождают объяснения, нежели украшают их: органические фигуры роста, жизненных циклов, корней, семян и так далее» (Kellner H. *Language and Historical Representation*. P. 8–9). Тема метафор привлекала и других исследователей: Demandt A. *Metaphern für Geschichte: Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken*. München: Beck, 1978; Вжозек В. Историография как игра метафор: Судьбы “новой исторической науки” // *Одиссей 1991*. М.: Наука, 1991. С. 60–74.

²¹⁸ Ankersmit F. R. *Narrative Logic*. The Hague, 1983. P. 98–100, 141. Е. Топольски также говорит об исторических образах, выполняющих примерно те же функции, что нарративные субстанции Анкерсмита, однако отказывается обсуждать вопрос о том, имеют ли эти образы визуальную или иную природу (Topolsky J. A Non-Postmodernist

меним к историческим понятиям, во всяком случае, к социальным терминам. Вопрос, однако, заключается в том, каковы структурные характеристики нарративных субстанций (или исторических образов). Именно об этом ничего конкретного Анкерсмит не сказал, лишь в недавней работе подчеркнув, что, возможно, некоторую роль в формировании нарративных субстанций играет визуальное воображение²¹⁹.

В сущности, указанные выше теории — это и вся жатва лингвистического поворота, если, конечно, не считать теорий исторического повествования, созданных в 1960—1970-е гг. аналитическими философами истории и оказавших заметное влияние на постмодернистскую критику²²⁰. Детальный анализ этих теорий содержится в книге Поля Рикера²²¹, и мы остановимся здесь лишь на их месте в истории конструктивистской гипотезы.

Analysis of Historical Narratives // *Historiography between Modernism and Postmodernism* / Ed. by J. Topolsky. P. 16, 43—44). См. также: Idem. The Role of Logic and Aesthetics in Constructing Narrative Wholes in Historiography // *History and Theory*. 1999. Vol. 38. № 2. P. 198—210. К «нарративным субстанциям» Ф. Анкерсмита близки и «составные понятия» (*colligatory concepts*) У. Уолша, который, впрочем, тоже мало интересуется их структурным анализом (Walsh W. The Intelligibility of History // *Philosophy*. 1942. Vol. 17. P. 128—143; Idem. *Introduction to Philosophy of History*. London: Hutchinson, 1951).

²¹⁹ «Изучение истории — это скорее изображение, нежели вербальное описание прошлого», отсюда — параллелизм исторических описаний с живописью (Ankersmit F. R. Statements, Texts and Pictures // *A New Philosophy of History* / Ed. by F. R. Ankersmit, H. Kellner. P. 239).

²²⁰ Gallie W. B. *Philosophy and the Historical Understanding*. New York: Schocken Books, 1964; Danto A. *Analytical Philosophy of History*. Cambridge: Cambridge U. P., 1965; White M. *Foundations of Historical Knowledge*. New York: Harper and Row, 1965; Dray W. On the Nature and Role of Narrative in Historiography // *History and Theory*. 1971. Vol. 10. № 2. P. 153—171; Mink L. O. The Autonomy of Historical Understanding // *Ibid.* 1965. Vol. 5. № 1. P. 24—47; Idem. Narrative Form as a Cognitive Instrument // *The Writing of History* / Ed. by R. H. Canary, H. Kozicki. P. 129—149; Newman F. D. *Explanation by Description: An Essay on Historical Methodology*. The Hague; Paris: Mouton, 1968; Louch A. R. History as Narrative // *History and Theory*. 1969. Vol. 8. № 1. P. 54—70; Veyne P. *Comment on écrit l'histoire*; White H. The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory // *History and Theory*. 1984. Vol. 23. № 1. P. 1—33; Carr D. *Time, Narrative and History*. Bloomington: Indiana U. P., 1986; Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate // *History and Theory*. Beiheft 25 / Ed. by F. R. Ankersmit. 1986; Roth P. Narrative Explanations: The Case of History // *History and Theory*. 1988. Vol. 27. № 1. P. 1—14.

²²¹ Ricoeur P. *Temps et récit*. Vol. 1—3. Paris: Seuil, 1983—1985.

Аналитическая философия истории по своему происхождению была тесно связана с традицией критицизма²²². Проблематика исторического повествования рождается из попыток философов истории вернуться к тезису о своеобразии исторического познания, который был поставлен под сомнение в знаменитой статье Карла Гемпеля²²³. Выступая против «исторического идеализма» (т. е. критической философии истории) с его противопоставлением истории и науки, Гемпель утверждал, что «общие законы имеют в истории функцию, совершенно аналогичную их функции в естественных науках», и что, следовательно, у истории нет никакой альтернативной логической модели, а своеобразие ее заключается в плохом применении общенаучного принципа «номотетического» объяснения, точнее, в использовании сокращенных форм такого объяснения. Эти утверждения Гемпеля вызвали протест философов истории, не склонных отказываться от представления об ее интеллектуальном своеобразии. Проблематика аналитической философии была определена именно стремлением показать, что история — самобытная интеллектуальная практика.

Большую роль в формировании этой проблематики сыграло наследие Коллингвуда. Именно вслед за Коллингвудом Уильям Дрей усматривал интеллектуальное своеобразие истории в том, что историк объясняет события прошлого, не столько подводя их под тот или иной закон, сколько внутренне постигая их, т. е. воспроизводя в своем сознании в принципе доступные воспроизведению — в силу сопричастности субъекта и объекта познания единой человеческой природе — мысли и чувства других людей²²⁴. Но постепенно — в развитие другой мысли Коллингвуда — особенность истории стали находить скорее в ее зависимости от механизмов повествования, и это вызвало подъем конструктивистской гипотезы. В самом деле, повествование упорядочивает разнообразие фактов, поскольку налагает на них некоторые схемы, которые

²²² Подчеркнем, что «оптимистическая» версия конструктивизма, изображающая конструирование историком исторических фактов как процесс научного исследования, представлена и в аналитической традиции: Goldstein L. J. *Historical Knowing*. Austin: University of Texas Press, 1976.

²²³ Hempel C. G. The Function of General Laws in History // *The Journal of Philosophy*. 1942. Vol. 39. P. 35–48.

²²⁴ Dray W. *Laws and Explanation in History*. London; New York: Oxford U. P., 1957.

за счет последовательности изложения создают элементарную интеллигибельность прошлого, причем эти схемы не содержатся в фактах, а являются продуктом нашего сознания. Конструктивизм такого подхода налицо, причем аналитическая философия ставит вопрос о конкретных особенностях повествования как языковой практики, тем самым вплотную подходя к эмпирическому анализу ментальных (в данном случае, лингвистических) структур, проецируемых на историю²²⁵. Специфика истории как интеллектуальной практики могла еще рассматриваться как проявление специфики ее субстанции (а именно, того факта, что она есть продукт сознательного действия людей) в рамках теории Коллингвуда—Дрея. Но для приверженцев теории исторического повествования история уже оказывалась прежде всего проекцией на прошлое некоторой лингвистической формы, иными словами, конструктом сознания не столько субъектов истории, сколько самого историка. Правда, по поводу того, что именно проецировалось на прошлое, сказано было сравнительно мало. История и в этом случае (как и в случае с критической философией истории — вспомним Риккерта) рассматривалась не в действительном разнообразии ее интеллектуальной практики, но исключительно как линейно разворачивающееся повествование, что отодвигало на второй план задачу подробного анализа занятых в исторической работе интеллектуальных процедур. Лишь сравнительно редкие авторы подчеркивали разнообразие схем повествования в истории, но и они не слишком далеко заходили по пути анализа столкнувшихся в этих формах ментальных механизмов²²⁶. Зависимость от эссенциалистской

²²⁵ «Использование организационных схем — родовая черта всякого эмпирического знания», поскольку для эмпирически данного характерна принципиальная неполнота. Поэтому «мы не можем помыслить историю без организационных схем... Различие между историей и наукой состоит не в том, что история использует, а наука не использует организационные схемы, которые выходят за пределы эмпирически данного. Они обе делают это. Разница состоит в типе организационных схем, которые они используют. История повествует... Любое повествование есть структура, наложенная на события», и именно в ней содержится интерпретация, причем через отсылку к общему (Danto A. *Analytical Philosophy of History*. P. 110–111, 132, 140, 201–232). Далее Данто занимается лингвистической характеристикой так называемых нарративных предложений, упорядочивающих историю (*Ibid.* P. 143–181).

²²⁶ Так, М. Мандельбаум подчеркивал сложность исторических текстов и вариабельность моделей упорядочивания: «Я считаю, что в исторических текстах история никогда не является простым рассказом... История гораздо разнообразнее, чем обычно

модели мира, унаследованная аналитической философией истории вместе с проблематикой критической философии, делала этот путь если не исключенным, то во всяком случае малопривлекательным.

Развитием созданной аналитической философией теории исторического повествования стала книга Поля Рикера — безусловно, главное философско-историческое произведение последних десятилетий, синтезировавшее традиции критической философии истории, герменевтики, аналитической философии и лингвистического поворота. Именно потому, что эта книга может рассматриваться как своего рода завершение философско-исторической рефлексии истекшего столетия, мы подробно говорили о ней во Введении. Сейчас повторим только то, что главным достижением Рикера в перспективе развития конструктивистской гипотезы может считаться демонстрация сложных психологических механизмов, подлежащих столь, казалось бы, простой форме линейного рассказа. Однако слабостью книги является, на наш взгляд, следующее из постулатов концепции разума-культуры сведение интеллектуальной практики истории к базовой операции *mise-en-intrigue*, а психологических механизмов, объясняющих эту операцию, — к парадоксу прерывности-непрерывности, основополагающего, с точки зрения Рикера, для человеческого опыта времени.

Итак, мы видим, что после довольно длительного периода, когда теоретическое обоснование конструктивистской гипотезы не сопровождалось даже попытками эмпирического изучения проецируемых на прошлое структур разума, такой переход, наконец, осуществился, однако в достаточно ограниченных формах. Сознание историков стало предметом почти исключительно лингвистического анализа, причем лишь в весьма немногочисленных работах вставал вопрос о влиянии языка на логику исторических концепций. Характерно, что теория исторического повествования породила и попытки приписать нарративные структуры уже не познающему сознанию историков, но сознанию субъектов истории, считают». Отсюда для Мандельбаума следовал, в частности, вывод о невозможности единого ответа на вопрос об объективности исторического знания (Mandelbaum M. *The Anatomy of Historical Knowledge*. Baltimore; London: The John Hopkins University Press, 1977. P. 33, 136, 145). Со своей стороны, Ф. Ньюман полагал, что значение истории возникает не из серийного упорядочения событий, а из соотношения частей целого в описании события: «Историки часто объясняют действие, предлагая описание этого действия» (Newman F. D. *Explanation by description*. P. 12).

переживавших — и творивших — историю в соответствии с формами нарратива²²⁷. Повествование в таком случае оказывалось формой организации самого материала истории, а история рассматривалась как доступная пониманию в силу консубстанциональности субъекта и объекта исторического познания. Герменевтическое снятие эпистемологической проблематики для аналитической философии истории также оказалось более легким выходом, нежели отказ от лингвистической модели мышления, к которому могло привести эмпирическое исследование того, как думают историки. О причинах этого мы поговорим в *Заключении*.

²²⁷ Такой подход отчасти присутствует у Рикера, но особенно у Карра: Carr D. *Time, Narrative and History*; Idem. *Getting the Story Straight: Narrative and Historical Knowledge // Historiography between Modernism and Postmodernism* / Ed. by J. Topolsky. P. 119–133.

Вместо заключения

От культуры к субъекту

*Мы не знаем себя, мы, познающие,
не знаем самих себя: тому должны
быть веские причины.*

Ф. Ницше

«Это — абсолютный идеализм! Вы — иезуит! Диалог с Вами невозможен», — с такими словами обратился однажды к автору коллегамедиевист. Такова крайняя из встречавшихся нам форма неприятия положенного в основу этой книги подхода к ментальности историков.

Что стоит за подобным неприятием, с которым, безусловно, сталкивался всякий, кто пытался усомниться в объективности научного разума? Почему проблематизация сознания исследователей способна вызывать столь эмоциональный протест? Среди многих объяснений самым распространенным является, по-видимому, страх. Восходящее к Ницше¹, это объяснение пользовалось особой популярностью в 1960-е гг. — годы дерзких посягательств на авторитет знания. Так, по словам А. Маслоу, нам свойственно «сопротивление познанию», причем сопротивление это тем сильнее, чем ближе предмет познания к ценностному ядру личности познающего². «Более других форм знания мы боимся знания самих себя, того знания, которое может изменить нашу самооцен-

¹ Ницше писал о страхе перед истиной как о психологической предпосылке науки: «Что означает вообще всякая наука, рассмотренная как симптом жизни? ... Не есть ли научность только страх и увертка от пессимизма? Тонкая самооборона против — истины? И, говоря морально, нечто вроде трусости и лживости? Говоря неморально, хитрость?». Неудивительно, что и «проблема самой науки», «сама наука, понятая как нечто, достойное вопроса», оказывалась у Ницше чем-то «страшным и опасным» (Ницше Ф. *Рождение трагедии*: Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 49).

² «Человек стремится к знанию — он любопытен, — но и боится его. И чем ближе знание к его личности, тем больше он его боится. Так что человеческое знание — своего рода диалектика любви и страха. Итак, познание включает защиту от самого себя» (Maslow A. *The Psychology of Science: A Reconnaissance*. New York; London: Harper and Row, 1966. P. 16).

ку», — утверждал он³. В свою очередь Ролан Барт восклицал: «Разве стерпит пишущий, чтобы его письмо подвергали психоанализу?»⁴ Если видеть в знании форму власти, то профанация познавательной деятельности ставит под угрозу разрушения «властное ядро» личности ученого. В другой традиции мысли Д. Блур объяснял страх перед проблематизацией познающего субъекта тем фактом, что наука воспринимается как нечто сакральное, поскольку она есть образ общества, а именно общество имеет тенденцию быть сакральным, табуированным предметом⁵. Такого рода объяснения, при всей их психологической достоверности и непосредственной убедительности, носят, пожалуй, слишком абстрактный характер. Их следует развить, показав роль конкретных фигур мысли, которые делают изучение ментальности ученых не просто пугающим, но интеллектуально трудным предприятием.

По-видимому, интеллектуальная история может пролить свет на такие фигуры мысли, свойственные конкретным системам мировоззрения, в частности, социальным наукам. Нам предстоит сейчас проанализировать те черты парадигмы социальных наук, которые являются интеллектуальным препятствием для изучения субъекта исторического познания. Тем самым мы продолжим тему предыдущей главы и вернемся к вопросу о том, почему мышление историков оказалось столь трудной темой для критики исторического разума. В общем виде наш ответ на этот вопрос таков: потому, что страх перед субъективизмом неизменно порождает попытки «соскальзывания к монизму» даже там, где изначальная проблематика поставлена в рамках дуалистической модели. Именно такие колебания между дуализмом, позволяющим поставить проблему критики познающего сознания, и монизмом, позволяющим снять ее, перенесены вопрошание с познающего сознания на сознание субъектов социальной жизни, являются, на наш взгляд, неотъемлемой чертой парадигмы социальных наук.

«Парадигма социального» (она же — лингвистическая парадигма или идея разума—культуры), господствующая в науках о человеке

³ Maslow A. *The Psychology of Science*. P. 16.

⁴ Барт Р. *Избранные работы: Семиотика. Поэтика*. М.: Прогресс, 1989. С. 138.

⁵ Bloor D. *Knowledge and Social Imagery*. London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1976. P. 40–45.

XX в., явилась теоретическим инструментом, легитимизирующим подобный «перенос вопрошания». Именно теория разума—культуры на протяжении десятилетий затрудняла проблематизацию сознания исследователей, направляя внимание критиков исторического разума с ментальности историков на ментальность субъектов истории, а затем, когда эмпирические исследования мышления историков все же начались, задавала для этих исследований чрезвычайно узкую рамку почти исключительно лингвистического анализа. К характеристике лингвистической парадигмы мы сейчас и обратимся.

Мы уже затрагивали вопрос о том, как общество стало именем разума, говоря о совершившемся на грани веков отождествлении социального с природой человека. Однако истоки этого тезиса следует искать не только в политических и социальных теориях, о которых мы говорили в гл. 4, но и в эволюции теорий разума.

В середине XIX в. после распада гегелевской философии и кризиса трансцендентального идеализма в европейской мысли намечается тенденция к натурализации сознания. В то время как вульгарный материализм сводит мышление к физиологическим процессам в мозгу, в ряде наук, которые позднее станут социальными, утверждается господство натуралистической парадигмы, в значительной мере связанное с успехами естественных наук и стремлением сделать познание дел человеческих столь же научным, как познание природы⁶. В этих условиях идеальный образ позитивной науки кажется привлекательным как в Англии и во Франции, так и в Германии. Естествоиспытатели и, в частности, врачи символизируют в глазах общества не только науку вообще, но и науки о человеке в частности. Именно от ученых ожидают излечения общественных недугов⁷. Неудивительно и то, что рождающаяся в этот период

⁶ Именно в это время распространяются теории рас как основанных на наследовании биологически predetermined психических, моральных и интеллектуальных качеств (историки даже истоки классов находили в расах), а криминалистика покоится на идее наследственной биологической тяги к преступлению. Одновременно развиваются разного рода евгенические концепции, а рождающаяся социология стремится воспроизвести структуру биологии человека, говоря о социальной анатомии, физиологии, патологии, гигиене и пр. (Mucchielli L. *La découverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870—1914)*. Paris: La Découverte, 1998).

⁷ Не случайны навязчивые медицинские метафоры в социологических текстах (например, у Дюркгейма), равно как и тот факт, что среди первых социологов и антропологов немало врачей.

экспериментальная психология несет отпечаток «стихийного материализма естествоиспытателей» с присущей ему теорией отражения. Ее доминирующей концепцией мышления оказывается тесно связанный с эмпиризмом ассоцианизм. Ассоцианисты представляли мышление как свободное сцепление ментальных образов, в первую очередь визуальных, отражающих вещи и положения вещей во внешнем мире. Языку при этом отводилась роль простого носителя мысли, способного более или менее адекватно передать ее содержание.

Ассоцианизм был в целом довольно оптимистической теорией мышления и хорошо уживался с доминирующим тогда в политической экономике (напомним, наиболее развитой из социальных наук, аппарат которой оказывал колоссальное влияние на образ общества в целом) представлением об атомарном, ответственном и рациональном субъекте. Связь мышления с мозгом, отрывая разум от сферы трансцендентного, превращала его в свойство индивида. Убеждение в естественной способности людей адекватно воспринимать мир и рационально действовать в нем лежало в основе подобной модели. Понимание перцепции как вполне физиологического процесса отражения позволяло надеяться и на легкое разрешение проблемы референции: ментальные образы в мозгу отсылали к предметам внешнего мира в силу своего сходства с ними, что служило гарантом способности разума адекватно познавать мир.

Именно в борьбе против базовых установок натуралистической парадигмы сложилась «парадигма социального», иначе говоря — идея разума-культуры. Возникновение социальных наук в конце XIX в. вписывается, таким образом, в неоидеалистическую реакцию на натуралистические тенденции мысли середины столетия. Понятие социального формируется на скрещении двух логик — логики поиска промежуточного уровня между атомарными индивидами и государством, о которой мы говорили в гл. 4, и логики отрыва сознания от индивидуального организма и рассмотрения его как коллективного феномена. Именно сознание рассматривается теперь в качестве той промежуточной инстанции, которую не удавалось найти теоретикам общества. Для того чтобы помыслить социальные институты как превосходящие индивида, надо было помыслить индивида как несводимого к физическому лицу. Сознание как главное свойство человеческого в человеке оказывается такой новой коллективностью, которая неразложима на индивидов, ибо разумный

индивид не мыслим вне общества. Вместе с тем социальные институты приобретают при этом тот же статус внеположенного индивиду, но проникающего в него бытия, что и сознание. Общество, таким образом, сводимо к сознанию, оно не существует вне сознания индивидов, но само это сознание является социальным фактом.

Мы здесь только упомянем некоторые интеллектуальные и социально-психологические факторы, определившие такую эволюцию концепций разума в конце прошлого века⁸. Важную роль в отказе от натуралистической парадигмы сыграло открытие новых глубин сознания, а именно, подсознания в разных его видах, будь то классовый интерес, воля к власти или подавленные желания. В результате работ Маркса, Ницше и Фрейда произошло грехопадение разума, который перестал казаться инструментом, самой природой предназначенным для объективного познания. Но поскольку заблуждения оказались укорененными в сознании гораздо прочнее, как бы составляя его неотъемлемую часть, именно в сознании казалось естественным усмотреть и главное препятствие на пути к совершенному обществу. Сознание, следовательно, должно было стать предметом науки, претендующей на излечение общества. Наука об обществе едва ли могла найти для себя иной, более значительный — и вместе с тем более благородный — предмет. Именно в качестве наук о сознании социальные науки наследуют интеллектуальные и социальные функции как религии, так и философии. Поэтому их рождение следует рассматривать прежде всего в контексте религиозной и философской эволюции конца прошлого века.

Дехристианизация второй половины столетия со всей остротой поставила проблему общественной морали, в то время как свойственное натуралистической парадигме объяснение социальных бед биологическими недостатками части людей, их природным несовершенством шло вразрез с политической эволюцией европейского общества к демократии и потребностью в социальной политике светского характера. К концу столетия выявилась ограниченность либеральной политики, опирающейся на образ атомарного множества индивидов, а новая радикальная и социалистическая политика, ставившая в центр внимания социальный вопрос, требовала уже другого видения общества. Сторонники новой

⁸ Подробнее о них см.: Хапаева Д. Р. *Время космополитизма: Очерки интеллектуальной истории* (в печати).

политики должны были показать, каков предлагаемый ими путь к совершенному обществу, иными словами, объяснить свой способ борьбы за общественную мораль. Они должны были указать источник социальной сплоченности и убедить общество в возможности избежать конфронтации непримиримых интересов, новой войны всех против всех. Логический атомизм натуралистической парадигмы и классической политической экономии, при всей его важности для европейской мысли XIX в., в этих условиях с неизбежностью должен был быть ограничен⁹. Идея социального происхождения разума стала легитимизацией социальной политики, целью которой было исправление общественной морали, а тем самым и общества.

Особую роль в формировании и возвышении социальных наук сыграло и связанное со становлением радикальной политики возникновение среднего класса и в особенности социальной группы его идеологов — интеллектуалов, среди которых исследователи в области социальных наук постепенно заняли центральное место, оттеснив на задний план «коллективного воображаемого» предшествующие фигуры-символы духовных пастырей общества — священника, поэта или естествоиспытателя¹⁰. Для профессиональных представителей разума та или иная концепция сознания была своего рода символическим капиталом, важнейшим элементом группового самосознания. Для них речь шла не просто о легитимизации политики «среднего пути» между либерализмом и марксизмом, но и об обосновании роли культуры (и ее носителей) в общест-

⁹ Лишь несколько позднее в новых условиях, когда над индивидуальными свободами нависла угроза со стороны тоталитарных режимов, логический атомизм снова на некоторое время стал важнейшим интеллектуальным оружием демократических сил.

¹⁰ Bénichou P. *Le sacre de l'écrivain: 1750—1830: Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne*. Paris: Corti, 1973. О формировании концепции интеллектуала и социальной группы интеллектуалов во Франции см.: Charles C. *Naissance des «intellectuels» 1880—1900*. Paris: Minuit, 1990. По-видимому, образ исследователя в области социальных наук лишь в 1950-е гг. окончательно оттесняет образ поэта в качестве парадигматического образа интеллектуала. Во Франции знаковым событием в этом смысле был стремительный упадок популярности Сартра и столь же стремительный рост известности Леви-Стросса (Dosse F. *Histoire du structuralisme*. Paris: La Découverte, 1991), но начало этого перехода относится к грани веков и символически отмечено фигурой Дюркгейма. См. также: Lepenies W. *Between History and Science: The Rise of Sociology*. Cambridge: Cambridge U. P., 1988. О рождении социологии из моральной философии см.: Bryson G. *Sociology Considered as Moral Philosophy // The Sociological Review*. 1932. Vol. 24. P. 26—36.

ве. Пожалуй, особенно заметен этот процесс был в Германии, где стремительная модернизация поставила под вопрос бывшие привилегии «образованной буржуазии» и привела к культурному пессимизму и «кризису мандарината»¹¹. Между позитивизмом и натурализмом, с одной стороны, и современным кризисом культуры, с другой, проводились устойчивые связи. Освободить разум от материи означало заявить о ценности культуры и высокой социальной функции ее служителей.

За всем этим стоял культурный и политический проект XX в., проект светского демократического общества, порождение интеллектуалов и среднего класса. Главной идеологической санкцией этого проекта выступали социальные науки¹². Именно поэтому новая концепция разума, положенная в основу социальных наук, должна была обосновать способность человека добывать истинное знание. Новая идеология нуждалась в идее истины не меньше, чем религиозный спиритуализм, обычно связывавшийся с более консервативной политикой, или чем теория отражения, теория разума-перцепции, на которой основывалась как либеральная, так и революционная политика. Иными словами, в условиях кризиса религиозного сознания и рождения современной демократии проблема объективности познания вновь с неизбежностью оказывалась центральной. Более того, одной из причин отказа как от трансцендентального идеализма, так и от натуралистической парадигмы был неуспех этих интеллектуальных течений в деле обоснования объективности познания.

¹¹ Ringer F. *The Decline of German Mandarins: The German Academic Community, 1890–1933*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1969.

¹² Характерно, что многие основоположники социальных наук были тесно связаны с той политикой, которая на грани веков являлась предвосхищением современной демократической политики левого толка. Дюркгейм выступал виднейшим идеологом радикальной партии, многие его ученики проявляли склонность к социализму. Структурным аналогом этой позиции в Германии могут считаться левые либералы. Их идейными лидерами была группа реформаторов-университариев (в том числе Макс Вебер), которые с очевидным интересом относились к попыткам политических решений социального вопроса и были близки к Фридриху Хауману (Ringer F. *The Decline of German Mandarins*; Theiner P. Friedrich Naumann and Max Weber: Aspects of a Political Partnership // *Max Weber and his Contemporaries* / Ed. by W. J. Mommsen, J. Osterhammel. London: Allen and Unwin, 1987. P. 299–310). Но в неокантианстве (особенно марбургском) имелись и более радикальные политические тенденции. И даже наиболее правые из числа основателей социальных наук, баденские неокантианцы, были все же всего лишь либералами.

Как известно, этот неуспех привел к разочарованию в дуалистической модели. Казалось, что конфликт между опытом и разумом мог быть решен только при условии преодоления дуализма. Именно этим путем пошел в свое время Гегель. Несмотря на распад гегелевской философии, ее урок не был забыт. Ведущие философские течения начала XX в. в поисках ответа на вопрос о достоверности наших знаний пытаются в той или иной форме повторить гегелевский демарш, и даже ставя проблему познания в кантовских терминах, отвечают на нее, соскальзывая от дуалистической к монистической модели¹³. Идея сопричастности познающего и познаваемого к единой природе получает смысл прежде всего в контексте эпистемологической проблематики, а отнюдь не в контексте наук об обществе. Эти последние потому и приобретают особое значение для философии, что на их примере казалось естественнее продемонстрировать новую модель познающей самое себя субстанции, к которой теперь склоняется европейская мысль. Без социальных наук, показывающих сопричастность познаваемого и познающего одной природе, было едва ли возможно обосновать новую теорию познания, которая должна была отказаться от дуализма, хотя по происхождению сама была неразрывно связана с дуалистической проблематикой объективности познания. Именно в рамках этого движения получает свое завершение проект социальных наук. Интеллектуальная модель, положенная в их основу, неизбежно была поэтому внутренне противоречивой.

Концепция разума—культуры в полной мере воплощает указанное противоречие, которое отчасти и объясняет трудность изучения в рамках социальных наук интеллектуального аппарата исследователей. Представление о социальном или культурном характере мышления, как мы видели, связано со стремлением обосновать объективность разума, который выступает как познающая самое себя субстанция, что делает бессмысленным вопрос о структурах познающего сознания и направляет наше внимание от сознания исследователей к сознанию субъектов исторического процесса.

Именно в этом контексте, на наш взгляд, следует интерпретировать и лингвистический поворот в историографии. Его часто отождествляют

¹³ Неокантианство интерпретирует опыт как конструкт разума, утверждая достоверность познания с помощью идеи о том, что разум познает свое собственное произведение. Феноменология стремится найти такой уровень опыта, который не будет внеположен сознанию и сможет стать основанием абсолютно достоверной науки.

с постмодернистским вызовом, что, однако, несколько искажает перспективу анализа, отвлекая внимание от того факта, что лингвистический поворот есть прежде всего *reductio ad absurdum* проекта социальных наук, их логическое завершение, сопровождающееся обнаружением их внутренних противоречий, следовательно, их самоотрицание. Дело в том, что редукция сознания к языку оказалась наиболее последовательным, и поэтому неотвратимым, решением проблемы механики мышления, которое допускала концепция разума-культуры. Язык был идеальным претендентом на роль субстрата мышления, понимаемого как социальный факт: средство коммуникации *par excellence*, преодолевающий индивида социальный институт, он снимает дуализм благодаря двойственности своего существования, внешнего и материального, с одной стороны, внутреннего и психического, с другой. отождествление мышления с языком было логическим пределом теории разума-культуры.

Рассмотрим вкратце основные течения мысли, в которых проявились различные аспекты лингвистической парадигмы. Согласно Brentano и Husserl, значение ментальной репрезентации создается особым актом сознания (означающей интенцией)¹⁴. Из этого следует, что ментальные образы участвуют в мышлении только в качестве символов, чувственная форма которых безразлична для их значения. Ссылаясь на Husserl (но опираясь на независимые от него интеллектуальные источники), вюрцбургская школа в психологии попыталась доказать, что мышление не сводимо к ментальным образам, но состоит именно в установках сознания, которые позволяют схватывать логические отношения¹⁵. В ходе знаменитого спора о «мышлении без образов» вюрцбургская школа столкнулась с ассоцианизмом. С другой стороны, возникновение и развитие символической логики и логического позитивизма¹⁶ способствовало пониманию мышления как символической операции: в противовес ассоциациям ментальных образов пропозиции символической логики могли претендовать на роль субстрата мышления. Таким образом сложилось отрицающее ассоцианизм представление о самой механике мышления.

¹⁴ Brentano F. *Psychologie vom empirischen Standpunkte*. Leipzig: Duncker, 1874; Husserl E. *Logische Untersuchungen*. Halle: Niemeyer, 1901.

¹⁵ Bühler K. *Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie des Denkvorgänge* // *Archiv für gesamte Psychologie*. Bd 9. 1907. S. 297–365; Bd 12. 1908. S. 1–92.

¹⁶ Frege G. *Ueber Sinn und Bedeutung* // *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*. Bd 100. 1892. S. 25–50.

Именно в это интеллектуальное движение вписывается и рождение семиологии¹⁷. Принцип произвольности лингвистического знака являлся альтернативой представлению о мышлении как о сцеплении «подобий» вещей внешнего мира, в то время как взгляд на язык как на систему отношений ставил под сомнение постулат произвольности ассоциаций образов (в том числе и звуковых образов слов). Наконец, из условного характера лингвистического знака можно было сделать вывод о зависимости индивидуального сознания от социальных отношений, поскольку «психологическая индивидуальность» не имеет других средств выражения (и в конечном счете мышления), кроме тех, которые созданы конвенцией в рамках лингвистического сообщества.

Конечно, логический позитивизм и семиология имели дело с различными уровнями реальности: первый интересовался формами, приписываемыми правильному мышлению, и, захваченный мечтой об идеальном философском языке, видел в реальных языках только препятствие для правильного мышления, тогда как семиология изучала реальные коммуникативные системы. Однако вместе эти два течения давали не лишнюю логики картину некой гомогенной среды символических операций.

Почти одновременно с названными интеллектуальными течениями ассоцианизм был атакован бихевиористской психологией¹⁸. Именно эта атака оказалась решающей, поскольку ассоцианизм потерпел поражение на территории метода. Бихевиористы стремились сделать психологию точной наукой о поведении, рассматриваемом как реакция на стимулы, происходящие из внешнего мира. Эта гипотеза позволяла им избегать объяснения поведения ментальными явлениями, в том числе и образами, знание которых оказывалось возможным только благодаря интроспекции, более чем подозрительной как научный метод. Точно так же, как и гипотеза особой среды знаков, этот подход вел в конечном итоге к радикальному преодолению дуализма, что и было осуществлено Джилбертом Райлом, который объявил самую гипотезу сознания не только бесполезной, но и логически несостоятельной¹⁹. Можно было бы предположить,

¹⁷ Saussure F. de. *Cours de linguistique générale*. Lausanne: Payot, 1916.

¹⁸ Watson J. *Psychology as the Behaviorist Views It // Psychological Review*. 1913. Vol. 20. P. 158–177; Idem. *Behaviorism*. Chicago: University of Chicago Press, 1924.

¹⁹ Ryle G. *The Concept of Mind*. London: Hutchinson, 1949.

что подобная позиция в равной степени опасна для всякой концепции сознания, будь то ассоцианистская модель или модель, представляющая мышление как символическую операцию. Но на самом деле опасность для двух моделей была совершенно различной: ментальные образы в той интерпретации, которую давал им ассоцианизм, предполагали дуализм как кадр анализа, равно как и понятие субъективного сознания, тогда как идея символических операций была скорее совместима с преодолевающей индивида средой знаков, нежели с субстанцией субъективного сознания. Благодаря двойственности своего существования, внутреннего и внешнего одновременно, среда знаков позволяла преодолеть оппозицию мира и субъекта, не принося в жертву мышление, на условии, конечно, сведения его к символической операции. Недостающее звено было доставлено бихевиористской лингвистикой, которая стала рассматривать мышление как интериоризированное языковое поведение²⁰. В этой теории социальная критика разума достигает апогея: мышление оказывается ничем иным, как интериоризированным социальным процессом, подчиняющимся законам социальной коммуникации. Впрочем, и другие течения лингвистики межвоенного периода отражают ту же линию рассуждений: акцент структурной лингвистики на фонологии²¹ свидетельствует о склонности к «материализации» и «десубъективизации» языка, тогда как Э. Сэпир и Б. Л. Уорф настаивают на основополагающей роли языка для структурирования мышления²².

Очевидно, что эти столь разные школы мысли не могут быть рассмотрены как элементы целостной научной теории. Скорее, на них повлиял общий интеллектуальный климат. С этой точки зрения показательно, что даже такое удаленное от предыдущих течение, как герменевтика (в особенности радикальная герменевтика Хайдеггера и философия культуры М. М. Бахтина), было отмечено той же тенденцией: принятый ею путь погружения субъекта в мир пролегал прежде всего через погружение субъекта в языковую среду²³.

²⁰ Bloomfield L. *Language or Ideas? // Language*. 1936. Vol. 12.

²¹ Трубецкой Н. С. *Основы фонологии*. М.: Аспект Пресс, 2000; Jakobson R. *Essais de linguistique générale*. Paris: Minuit, 1963.

²² Sapir E. *Language*. New York: Harcourt, 1929; Whorf B.L. *Language, Thought and Reality*. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1956.

²³ Вопреки обычному мнению, связывающему акцент на роли языка с мыслью позднего Хайдеггера и его учеников, прежде всего Г.-Г. Гадамера (Gadamer H.-G. *Truth and*

Впрочем, осознание вездесущности языка вовсе не было наваждением одних только философов и лингвистов. Литература модернизма также уже более не рассматривает язык как средство описания «предсуществующей» реальности: для нее он представляет скорее особую среду, которая, следуя своей собственной природе, создает особую реальность. Одновременно в общественном сознании распространяется мысль о капитальной роли языка для идеологий и социально-политических конфликтов. Некоторые даже возлагают на несовершенство языка ответственность за социальное зло²⁴. Коротко говоря, во всех областях интеллектуальной жизни осознается новая плотность языка, которая больше не позволяет рассматривать его как простого переносчика мыслей ответственных рациональных субъектов. Скорее, он сам становится субстанцией, которая преодолевает дихотомию субъекта и мира, единственной субстанцией, вне которой не остается ничего.

С точки зрения концепций сознания XX в. кажется разрезанным надвое когнитивной революцией 1950-х гг., которая отвергла бихевиоризм и возродила ментализм — вплоть до гипотезы врожденного характера разума, противостоящей тезису о его социальном происхождении. Но, отвергнув бихевиоризм, неоментализм второй половины XX в. испытал влияние общих с ним интеллектуальных источников, точнее, тех течений мысли, которые наряду с бихевиоризмом атаковали в начале века ассоционистскую модель сознания. Идея компьютерного разума, вдохновляющая когнитивную революцию, основывается на гипотезе особого уровня символических операций, которая в известном смысле скорее совместима с бихевиоризмом, чем с классическим ментализмом.

Method. New York: The Seabury Press, 1975), Дж. Л. Бранс утверждал, что «лингвистический поворот в мысли Хайдеггера может быть связан с 32 секцией “Бытия и времени”» (Bruns G. L. *On the Weakness of Language in the Human Sciences // The Rhetorics of the Human Sciences* / Ed. by J. S. Nelson e.a. Madison: The University of Wisconsin Press, 1987. P. 244). Идея лингвистической и социальной природы мышления с особой яркостью сформулирована в ранних работах М. М. Бахтина: «Сознание слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива» (Волошинов В. Н. *Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке*. Л., 1929. С. 20).

²⁴ Среди прочих разоблачений вредоносной роли дурного языка см.: Chase S. *The Tyranny of Words*. London: Methuen, 1938. Впрочем, идея эта была широко распространена и среди самих лингвистов и философов, начиная от Венского кружка и кончая Пражским кружком.

К 1950-м гг. интеллектуальный пафос бихевиоризма, вынужденного отрицать сознание, чтобы сделать его познаваемым, отчасти устаревает: уподобление мышления языку уже настолько общепринято, что постулировать даже врожденный разум не означает более постулировать субъекта. Неоментализм оказывается особой формой дуализма, преодолевающей дихотомию субъекта и объекта, с которой не сумела совладать позитивистская наука, для которой по-настоящему неприемлемым тезисом является субъективность сознания²⁵.

Когнитивизм представляется несомненной аналогией «постмодернистскому вызову». В этих параллельных, но совершенно различных традициях мысли науки о сознании пришли во второй половине XX в. к созданию таких систем, в которых разум подобен замкнутой вселенной символов, а проблемы референциальной семантики, ради разрешения которых в значительной степени и были созданы социальные науки, остаются нерешенными. Однако складывается впечатление, что, дойдя до крайних пределов своего логического развития, идея разума-культуры исчерпала свой потенциал. Вероятно, отчасти с этим и можно связать переживаемый сегодня социальными науками кризис.

Мы наблюдали этот кризис на примере социальной истории. Выход из него нам видится в отказе от идеи разума-культуры и в систематическом изучении того, как и почему историки пишут историю. Если прошлое мы изучаем не ради него, а ради настоящего, ради самих себя, то включение историка в историю есть, вероятно, более естественный путь самопознания, нежели сохранение верности «коду трансцендентности»

²⁵ Конечно, неоментализм не отождествляет мышление с языком. На уровне центральных процессов мышление представляется как оперирование с символами иного типа, нежели символы языка, допущенные только на уровень локальных процессов сознания. Однако когнитивистский подход к языку отмечен двойственностью: «инкапсулированный» в одном из модулей локальных процессов, но понимаемый как символическая система *par excellence*, язык более, чем любая другая человеческая способность, сопричастен природе мышления благодаря исключительному месту, которое он занимает в системе обработки и коммуникации информации, которая рассматривается как сущность мышления. Происходящее из односторонней концепции как языка, так и мышления, рассматриваемых исключительно в терминах теории информации, это сближение языка и мышления проявляется у когнитивистов в навязчивых лингвистических метафорах, к которым постоянно прибегают для описания «языка мысли», так что отчасти вопреки собственному желанию когнитивизм несет печать врожденной лингвистичности. Подробнее см. Введение.

и конструирование истории *sub specie aeternitatis*. И во всяком случае это — более интеллектуально честный путь, а интеллектуальной честности нам не хватает сегодня никак не меньше, чем во времена Ницше. «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», история едва ли вскоре исчезнет из наших умственных обычаев. Поэтому задача историка сегодня состоит в том, чтобы понять, как история создается и функционирует в настоящем. Иными словами, историк, организующее начало истории, есть вместе с тем и ее подлинный предмет. Не означает ли это новое «соскальзывание к монизму»? Скорее, речь идет о том, чтобы в полной мере оценить способность субъекта превратить самого себя в объект анализа, иными словами — о признании трансцендентности имманентным свойством сознания. Вместе с тем идея субъекта представляется естественной логической альтернативой по отношению к идее культуры - равно как и по отношению к любой другой версии представления о наиндивидуальном характере мышления. В рамках теории разума-культуры идея субъекта по сути дела является избыточной: язык (или же культура) "мыслит и говорит" (как сказал поэт) "через" субъекта и за него. Напротив, гипотеза о множественности форм мышления, лишь частично переводимых друг в друга, гипотеза, положенная в основу этой работы, с неизбежностью предполагает идею субъекта, поскольку только субъект может служить "принципом единства" различных форм мышления. Именно поэтому, перефразируя Бенедетто Кроче, мы говорим: обратимся же с полной уверенностью к субъекту, который есть начало всех начал.

Summary

HOW HISTORIANS THINK

The purpose of this book is to understand how historians think when they try to represent a society, what cognitive devices they use, and what logical constraints these devices imply. In other words, how do historians construct the object they call society?

When this kind of question is raised today, it is necessary to deal with a wide range of theories known under the label of the linguistic turn. Its supporters are considered to hold that the representations we have about the world represent nothing but linguistic «protocols» by which they are produced. It is a merit of the linguistic turn to have provided for the first time a suitable intellectual framework for empirical research into the historian's mind. But to apply linguistic methods effectively, one needs to take the linguistic turn in a moderate sense (as its practitioners often do) and to study the multiple ways in which language co-operates with the historical world on the one hand and with different modes of internal representation on the other. It is the second system of relations that interests me in this book. History being accessible to us essentially as a linguistic form, we have to pass through a stage of linguistic analysis. But behind its textual form, history is present in our mind as a more complex mental structure based on both linguistic and non-linguistic modes of internal representation. This book investigates how these different modes of representation or forms of thought co-operate when historians describe the social structures of the past. The evidence I use is borrowed essentially from French historiography, more precisely from the body of research linked to the debate about «orders and classes» in Early Modern France.

The book is organised around two major themes. First, to account for some logical fallacies that are typical of the reasoning of social historians of the 60s, I seek to reconstruct two different intellectual procedures that are based upon different modes of thought but that co-operate closely to produce the

images we have of society. To my mind, the lack of congruence between them is responsible for some logical difficulties we have in reasoning about social stratification.

These procedures may be called the hermeneutics of social terms and empirical ordering. The first procedure may be considered as the interpretation of the meanings attached to the names of social groups. Since meaning is transmitted essentially (though not exclusively) by textual tradition, its interpretation appears as a profoundly linguistic operation. The second procedure is probably based on our experience of the ordering of unnamed objects in internal or mental space. It aims to construct a model of society by means of the empirical classification of individuals. The problem arises when we realise that the groups thus obtained do not necessarily correspond to the categories of the historical vocabulary. What we construct empirically may turn out to be unrecognisable aggregates to which we have no names to give. Moreover, linguistic and empirical categories seem to have a profoundly different logical structure. To interpret a social term, we usually try to reduce its meaning to a limited number of connotations. The underlying assumption is that social groups can be described in terms of necessary and sufficient conditions for membership in the category. But when we begin to classify individuals empirically, we switch to another way of thinking. We perceive an object not as a list of its properties that we can easily describe using general names, but as a synthetic whole. To classify empirically means to order intuitively a multitude of synthetically perceived objects. The structure of empirical categories does not usually satisfy the requirements of Aristotelian logic, for there are no common properties possessed by all the members of a category. Rather, an empirical category is formed by means of «family resemblance» around the «good examples» or «prototypes» that serve to exemplify it. What seems to happen when we describe a society is that we reason simultaneously in both ways. To be sure, the proportion may change, but the principle holds. Even if we seek to follow one of these logics (usually it is the first one that we think of as the only genuine logic), we can't go too far in contradiction to the suggestions of another one, for it would mean violating our sense of reality. The apparently clumsy concepts we produce often pursue a compromise between the two logics.

The debate about classes and orders is particularly interesting to study from this point of view, for it seems to have been produced by the sudden in-

trusion of statistical reasoning into the traditional discursive practice of social history, which was based mainly on the hermeneutics of social terms and only slightly modified by the experience of dealing with objects. The opening of the notarial archives and the growing influence of empirical research in sociology, the more widespread use of computers and the mistrust of words saturated with ideologies had contributed in equal measure to this reorientation of the social history of the 60s from the interpretation of meanings to the ordering of objects. The traditional compromise was destroyed and the hidden contradictions became visible.

A distinctive characteristic of French social history of the 60s was its search for the «real» social hierarchy of individuals, considered with regard to their synthetically perceived social positions. This vision of society was the main intellectual premise of the conflict of logics described above. It was precisely for the synthetically formed groups that «historical» names were definitely lacking, for every name, while referring to the individual or the group it stands for, usually makes us think of a limited number of its connotations, in other words, about a partial social status. Hence my next step is to look for the reasons that could explain the search for the synthetic social hierarchy.

Two factors, often almost indistinguishable, seem to have played a decisive role here: the predilection for linear ordering, and the «narrow» vision of the social. The persuasive power hidden in the «regular» figure of the line seems to be an important paralogical argument in favour of the «narrow» conception of the social. But what made this spatial paralogic almost irrefutable was the fact that the image of hierarchy formed a part of a more complex imagery system whose central element consisted in the stratified model of history. The very idea of the social seems historically inseparable from the vision of history as divided into several layers or groups of historical facts. The line here was horizontal, not vertical, but nevertheless it strengthened the idea of a distinctive form of being. To grasp this form or level was probably the main goal of the social historians of the 60s. The idea they had of the social consisted in a set of vague intuitions crystallised around this dual image of a line that functioned as a cognitive device supporting the formation of the concept. This analysis brings me to my second major point, which is the birth of the social from spatial imagination.

To be sure, the conflict between the hermeneutics of social terms and empirical classification itself had its counterpart in mental space. While the

linear order of discourse refers to «rational» Euclidean space, the empirical classification unrolls in topological space. The introduction of the idea of synthetic hierarchy and of a stratified vision of history radically alters the balance in favour of Euclidean space and seeks to suppress any reference to topological space in our reasoning about society. Thus, in the context of modern visual culture, the conflict of logics that I study may be considered as an attempt to validate the exclusive rationality of Euclidean space, as it was called into question by the increased variability of the cultural experience of space in the XXth century. Consequently, the whole story of the adventures of the social is to be told with reference to the epochs in the history of the «culture of space».

From the very beginning, the formation of a stratified image of history was supported by that of social hierarchy. In France, the figure of synthetic hierarchy was used as a device for reasoning about society as early as the end of the XVIIth century. Characteristically, this was also the period in which the revolution in the perception of space, as it occurred during the course of the XVIIth century, could distribute its intellectual fruits beyond the domains of science and the visual arts. Thus the elements of the concept of the social based upon this spatial paralogic had come into being several decades before the word itself became widespread. But it was only around 1800 that the definite splitting of the notion of *Res publica* into those of State and Society made possible the stratified image of history.

The genealogy of the visual image of history goes back to the time of Herodotus, though it was probably the revolution in visual culture, which originated during the Renaissance and reached its apogee in the XVIIth century, that led to its common acceptance within European culture. Once again, it was only later, during the «period of rupture» that occurred around 1800, that the formation of the concept of universal history was completed with the help of this image. The intellectual counterpart of the academic painting of the XIXth century, the stratified image of history was further developed and «naturalised» by the advances of positivist historiography. In this framework, the social was understood in a rather narrow, technical sense, that of the formal organisation of society. The passions that the early XIXth century had invested in the notion were largely forgotten. It was only due to the «reorientation of social thought» occurring around 1900 that the idea of the social was considerably enlarged and ideologically reinvested. The social turned out to

be the password of the epoch, marked by the emergence of the modern system of the social sciences, which served to express the world view and self-consciousness of the newly formed group of intellectuals. The idea of the social, understood in the widest possible sense, made it possible not only to legitimise radical politics, but, first of all, to account for the phenomenon of consciousness considered as the basic element of social life. At the same time, the revolution in physics and the impressionist revolution in painting challenged the whole structure of the scientific imagination. The space of the Newtonian Physics and of academic painting ceased to be an unquestionable logical reference. All this resulted, as far as history was concerned, in a much more flexible vision of the social, which was typical of the generation of Marc Bloch and Lucien Febvre, and is reflected in their bitter criticism of the spatial paralogies of positivist historiography. It was not until the traditional world view of positivist science was partly restored by the middle of the XXth century that the stratified image of history could be reintegrated in the thinking of the leading historians of the next generation, thus giving the debate about classes and orders its characteristic intellectual features.

The book consists of an Introduction, five chapters, and a conclusion.

Three main points are made in the **Introduction**. First, an overview of XXth-century theories of history (from the critical philosophy of history to analytical philosophy and the linguistic turn) is given to show that attempts to identify any basic intellectual operation that makes history possible can be seen as a manifestation of an essentialist way of thinking. Particular attention is paid to Paul Ricoeur's book *«Temps et Recit»*. To the contrary, the consideration of historiography as a cultural practice implies that there could hardly be any single logical foundation of historical thought. So instead of looking for a priori conditions of history in general, it seems better to study the concrete mental operations whose combination forms the intellectual practice of history. This explains the strategy of the book, which consists in studying diverse mental devices involved in the historical reconstruction of past societies.

Since the concept of mental space is the essential instrument of my analysis of historical thought, the second part of the Introduction deals with different interpretations of what mental space is. Most of the psychological studies of mental imagery are too narrowly focused on the elementary form of the imagination to do justice to the role of mental space in our reasoning (in-

cluding scientific reasoning). To the contrary, a number of linguists, art and literary critics (G. Guillaume, R. Arnheim, P. Francastel, F. Saint-Martin), and some psychologists (like C.B. De Soto) have stressed the role of spatial paralogics in conceptual thought. It seems that there is no unique system of spatial representations that could serve as an absolute system of logical reference. The hypothesis of the plural character of our internal space is more productive, with topological space and reduced forms of spatiality (such as the line) being perhaps the most important rivals of Euclidean space.

The third part of the Introduction gives an overview of French social history since the 60s. The point here is that the collapse of traditional social history and the fragmentation of historical discourse have recently provoked a kind of nostalgia and attempts to return back to the dream of «global history» or at least to propose new ways of historical generalisation. Under these conditions, it seems urgent to study the logical and psychological underpinnings of the traditional social history of the 60s.

An overview of the debate about orders and classes in French historiography of the 60s, given in **Chapter 1** (*Hermeneutics and Classification*), shows that ideological differences did not prevent historians (such as C.-E. Labrousse, A. Soboul, A. Daumard, F. Furet, R. Mousnier, F. Bluche) from sharing the same logical framework, making the debate possible. This framework consisted in the project to reconstruct the synthetic social hierarchy of Ancient Regime society by means of the empirical classification of individuals. So both sides had to deal with the same logical problem: how to reconcile the logic of empirical classification with the logic of the interpretation of social categories. It is suggested that neither the partisans of the theory of orders nor those of the theory of classes were able to overcome the inconsistencies produced by the conflict of the two mental procedures, so that the collapse of the social history of the 60-s had not only ideological, but also internal logical reasons.

In **Chapter 2** (*The Semantics of Social Categories*), the logical difficulties of French social history are interpreted in the light of theories of meaning (J.S. Mill, G. Frege, L. Wittgenstein, S. Kripke) and classification (E. Rosch, G. Lakoff and their opponents). A semantic theory of social categories is suggested which says that social categories are represented in the mind as bi-polar systems, one pole consisting in a cluster of connotations, another in an image of multitude. The first pole is essentially linguistic in nature,

in the sense that its structures are suggested by the experience of using language, while the second pole depends upon the experience of dealing with unnamed objects. These poles seem to be only partly translatable into each other. This fact explains logical inconsistencies inherent to our representations of social groups. In particular, these poles imply different category structures (in the first case, the principle of necessary and sufficient conditions, in the second, the principle of family resemblance). It is also suggested that the conflict between the hermeneutics of social categories and empirical ordering could be considered as an expression of the conflict between different spatial paralogics.

Two following chapters investigate the main logical elements of the notion of the social, as it was inherited by the French social history of the 60s, insofar as this notion bears traces of the influence of the spatial paralogics. **Chapter 3** (*The Birth of the Social from the Logic of Space*) deals with the splitting of the ancient notion of *politeia* into the modern notions of state and society. Texts of Ch. Loyseau, J.-B. Bossuet, and J.-J. Rousseau are studied to show that the image of multitude was an important paralogical device that made it possible to conceive the idea of society. The image of synthetic social hierarchy, very similar to the image that served as a logical framework for the French social history of the 60s, was equally important for the genesis of the modern notion of the social. This image, quite clearly a product of the revolution in space perception that occurred in early modern painting and science, is manifest in the writings of J. Domat and in the administrative documents such as *Tarif de la premiere capitation* (1695).

Chapter 4 (*The Neurosis of Rubricizing*) deals with the evolution of the notion of the social in European thought in the XIXth and XXth centuries and, more particularly, examines the links between this notion and the spatial image of history. The genealogy of the image of history is traced back to the Renaissance revolution in painting. The genesis of the stratified image of history (an image that made it possible to conceive, as parts of a single meaningful whole, several «particular» histories, such as social, cultural, political, and economic) within the framework of positivist historiography is considered as a powerful paralogical device that made social history possible. It also had its impact on the development of the notion of the social. It is suggested that the image of history belonged essentially to the same kind of conceptual thought as the image studied in the previous chapter, namely one that depended on spatial paralogics as the image of society. Hence the idea of the

social seems to be linked to this system of spatial imagination in several ways and, in a sense, is inseparable from it. The evolution of the notion of the social in the late XIXth century (the «invention of the social») and the changes in the program of social history that occurred during the XXth century are considered against the framework of the development of the spatial image of history.

Chapter 5 (*Three Critiques of Historical Reason*) continues the story of the adventures of the social in XXth century thought, but considers it in a different way. It is based on a more detailed analysis of the constructivist approach to history in contemporary thought than was presented in the Introduction. Three critiques of historical reason discussed here are the critical philosophy of history (W. Dilthey, G. Simmel, H. Rickert, M. Weber, but also E. Durkheim, B. Croce and R.G. Collingwood), the *Annales* school (especially L. Febvre) and the linguistic turn (R. Barthes, H. White, D. LaCapra, H. Kellner, F. Ankersmit). It is suggested that in spite of the fact that the constructivist hypothesis is a century-old thesis, little empirical research has been done on the concrete structures of mind that historians project onto reality.

The question of the reasons for such a situation is addressed in the **Conclusion** (*From Culture to Subject*). The answer proposed is that the social sciences have particular difficulties in studying the mind of researchers because of the conception of mind that determined the whole intellectual project of the social sciences. This conception (the «linguistic paradigm» or the «paradigm of the social»), considering mind as a profoundly social phenomenon, was invented in the beginning of the XXth century in order to eliminate the subject/object dichotomy that XIXth-century philosophy failed to overcome. So there is nothing strange about the fact that within the framework of this paradigm one has difficulties studying the cognisant subject. But if we can't study the historian as subject within the framework of the linguistic paradigm, then we should re-examine the foundations of this paradigm and in particular consider the possibility of conceiving a subjectivity that would go beyond the traditional equation of human nature with culture.

Именной указатель

- Аблеж Ж. д' 153
Августин Св. 171
Александр Македонский 90, 92,
103, 104, 171
Алперс 158
Алтом М. 96
Альбвакс М. 201, 276
Альтюссер Л. 208, 209, 210
Альфан Л. 275, 280
Андлер Д. 31
Анжель П. 19, 90
Анкерсмит Ф. Р. 264, 285, 286,
289, 290, 316
Антони К. 228
Аристотель 14, 90, 92, 103, 130, 133,
240, 247, 310
Арно А. 159
Арнхейм Р. 34, 120, 314
Арон Р. 217, 222, 268, 273, 274, 281
Арриацца А. 78
Артог Ф. 7. 170
Аткинсон П. 71
- Бавес Р. 286
Бадеван-Годме Б. с 133
Баке Ж. 144, 145,
Бамбах Ч. 228
Банэл М. 285
Барбиш Б 155
Барнав А. 160
Барсалу Л. 97
Барт Р. 12, 75, 316, 285, 286, 287,
288, 296
- Бартлет Ф. 28
Батани Ж. 70, 107, 207
Баткин Л. М. 194
Бахтин М. М. 305, 306
Башляр Г. 42, 164, 277
Бейкер К. 139
Бейль П. 134
Белов Г. фон 53
Бельгиз А. 144, 147
Бенвенист Э. 101
Бенетон П. 250
Бенишу П. 300
Бенуа-Смульян Э. 77, 78
Бергсон А. 21, 43, 164
Берк П. 78, 96, 121, 178, 213, 269
Берр А. 202, 269
Бертело Ж. 277
Бертен Ж. 74, 75
Бессмертный Ю. Л. 7, 45, 194
Бисмарк О. фон 247
Бланкер К. 19
Блок Ж.-Р. 53
Блок М. 8, 54, 70, 180, 200, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 213,
269, 271, 276, 278, 279, 283,
313
Блумфимлд Л. 305
Блур Д. 71, 296
Блюм А. 47
Блюш Ф. 62, 63, 64, 65, 86, 124,
151, 152, 155, 156, 314
Богданов И. 6
Боден Ж. 131

- Бокль Г. Т. 184
Болтански Л. 7, 47, 115, 117, 119, 217, 221, 224, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 267, 301, 316
120, 125, 146
Бонен 74
Борхес Х. Л. 52
Боссюэ Ж.-Б. 135, 315
Ботт Э. 117, 118, 191
Брайсон Г. 300
Бранс Дж. 306
Браун Р. 74
Брафорд И. 250
Брейнлингер К. 39
Брентано Ф. 303
Брессон А. 104
Бродель Ф. 70, 164, 175, 180, 183, 190, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 280, 289
Брок Н. 19
Брюннер О. 135, 250
Брюно Ф. 133, 134
Буагильбер П. 151, 160
Буалиль А. М. 180
Буассонад П. 202
Бугле 259
Бургер Т. 97, 252, 253, 254
Бурдые П. 14, 281
Буро А. 7, 210, 213
Бутру Ф. 197, 269, 281
Бэкон Ф. 12
Бэнн 226
Бюлер К. 303
Бюргьер А. 10
Бюррен Ф. 276

Вагнер Г. 222, 252
Валенси Л. 7, 74
Варела Ф. 25
Вебер В. 19
Вебер М. 9, 16, 76, 78, 97, 113, 204,
Вейн П. 282, 290
Вейц Ж. 18, 196, 202, 269
Вернон Дж. 285
Верон де Форбонне 154
Вертхаймер М. 28
Вжозек В. 289
Вийе П. 133
Вилар П. 56, 67
Виндельбанд В. 17, 216, 221, 222
Виноградов П. 96
Витгенштейн Л. 91, 93, 237, 314
Витткау А. 228
Вобан маршал 153, 155
Волошинов В. Н. 306
Вулгар 14
Вундт В. 221
Выготский Л. 93, 101
Вьюймэн Ж. 104

Габриель Г. 241
Гадамер Г.-Г. 70, 217, 233, 256, 257, 305
Газзанига М. 32
Гальтон Ф. 28
Гарден М. 58
Гарднер Х. 29
Гарсиа П. 272
Гартман Н. 10
Гегель Г. Ф. В. 137, 138, 217, 225, 229, 233, 250, 264, 302
Гейсс Р. 250
Гемпель К. 291
Генрих II 181
Генрих III 182
Генрих IV 182
Гери А. 7, 151
Геродот 170, 171, 312

- Гете И. В. 247
 Гетье Э. Л. 23
 Гидденс А. 257
 Гийом Г. 21, 43, 314
 Гиллеспи 7
 Гнейст Р. 138
 Гоббс Т. 132
 Годфроу Ф. 133
 Голдстейн Л. 291
 Гомбрих Э. 33, 34, 41
 Гордон П. 40
 Госман Л. 173, 174, 286
 Гоше М. 45
 Грегори Р. Л. 34, 39
 Гренди Э. 47
 Гренье Ж.-И. 7, 76, 79
 Гретюизан Б. 227
 Грибауди М. 47
 Грюндер К. 216, 220
 Губер П. 141
 Гуди Дж. 86, 121, 122
 Гудман Н. 33, 34, 120
 Гумбольт В. 226, 229
 Гурвич Ж. 78
 Гурвич 40
 Гуревич А. Я. 10, 46, 80, 194
 Гуссерль Э. 216, 267, 303
 Гэлли У. 290
- Дагистани А. 33, 176
 Дамиш Ю. 158
 Даниель У. 263
 Данто А. 290, 292
 Даунс Д. 39
 Даунс Р. М. 32
 Де Сото К. 40, 314
 Дейон П. 58
 Делакруа Ш. 272
 Демандт А. 289
- Дени М. 35
 Дерозьер А. 7, 47, 48, 112, 119, 142,
 191, 195, 261
 Десимон Р. 7,
 Дж. Уотсон 28, 304
 Джакендофф Р. 21, 33, 43, 114
 Джекоби Р. 285
 Джекобсон К. 39, 287, 305
 Дженкинс К. 285
 Дженсен Б. 217
 Джентер Д. Р. 36
 Джентер Д. 36
 Джибсон Е. 40, 41
 Джойс П. 285
 Джонс Л. 40, 96, 191
 Джонсон М. 25, 32, 94
 Джонсон-Лэйрд П. Н. 38, 40, 121
 Дивальд Х. 228
 Дижон К. 257
 Дильтей В. 9, 16, 216, 217, 221, 222,
 224, 225, 226, 228, 229, 230,
 231, 232, 233, 234, 237, 249,
 250, 264, 316
 Долби Р. 187
 Дома Ж. 135, 148, 149, 150, 152,
 159, 161, 191
 Домар А. 56, 58, 59, 60, 66, 67, 81,
 82, 83, 84, 86, 124, 149
 Донзело Ж. 194, 195, 196
 Доннеллан К. 92
 Досс Ф. 45, 46, 210, 272, 300
 Дрей У. 290, 291, 292
 Дрейфус Х. 25, 202, 203, 272
 Дройзен И. Г. 229, 230
 Дэвис Н. Э. 193
 Дэвис П. М. 40, 96
 Дэвис П. 191
 Дюби Ж. 11, 127, 194, 280, 281
 Дюмон Л. 135, 139, 281

- Дюран И. 56, 58
 Дюркгейм Э. 9, 15, 19, 22, 47, 113,
 125, 179, 197, 200, 201, 202,
 217, 221, 257, 258, 259, 260,
 261, 262, 263, 264, 267, 269,
 272, 276, 277, 278, 279, 297,
 300, 301, 316
 Дюшен А. 148
 Дюэм П. 269
 Егер Ф. 177
 Жаккар Ж. 74
 Желински А. 75
 Женет Ж. 33, 176
 Жорес Ж. 201
 Жуо К. 7
 Загорин П. 285
 Зандкюлер Г. Й. 221
 Зарате М. 96
 Зигфрид А. 204
 Зиммель Г. 16, 216, 217, 221, 222,
 223, 234, 235, 236, 249, 255,
 257, 262, 316
 Зонабенд Ф. 104
 Иванов В. В. 32
 Иггерс Г. Г. 18, 222, 226, 227, 247,
 285
 Иероним Св. 171
 Ингерфлом К. 7
 Каплан 210
 Каради В. 19
 Карбоннель Ш. О. 179, 185, 272
 Карл IX с. 182
 Карл V 181
 Карл VIII 181
 Карну Клод 7
 Карон Ф. 47, 289
 Карр Д. 290
 Каррар Ф. 202, 294
 Кассирер Э. 16, 146, 216, 217, 223,
 247, 255, 256
 Кейлор У. Р. 18, 180, 192, 202, 226,
 257, 272
 Кели Д. Р. 177, 285
 Кельнер Х. 9, 122, 162, 211, 264,
 285, 286, 288, 289, 316
 Кермоде Ф. 176
 Керн 199
 Клабек У. 226
 Кларк Д. Л. 96
 Кларк Т. 19, 57
 Клебер Ж. 97, 100, 101
 Клейн Л. 52, 96
 Клейнер Х. 216
 Клеман П. 180
 Коген Г. 216
 Козеллек Р. 26, 135, 156, 157, 169,
 170, 173, 175, 177, 250, 284
 Козицки Х. 286, 290
 Коксон А. П. М. 40, 96, 191
 Коллингвуд Р. Дж. 23, 170, 171,
 173, 188, 222, 264, 265, 266,
 291, 292, 316
 Кондратьева Т. 7
 Конен Б. 7
 Конке К. Х. 16, 217, 220, 221, 227
 Конт Огюст 9, 200, 217, 221, 222,
 224, 227, 229, 230, 234, 258,
 259, 264
 Контамин Ф. 70
 Конце В. 135, 170, 250
 Копосов Н. Е. 22, 24, 53, 69, 72, 80,
 143, 144, 146, 155, 163, 183, 210
 Косслин 30

- Кракауер Э. 225, 226, 229
Крипке 90, 92, 314
Кроче Б. 9, 257, 264, 265, 308, 316
Крузе Д. 7
Крюгер Л. 226
Куайн В. 91, 99
Куме Э. 142
Кун Т. 14
Кэмпбелл Д. 39
- Ла Капра Д. 200, 210, 218, 264,
284, 285, 286, 288, 316
Ла Раме П. де 158
Ла Рок А. де 144
Лабатю Ж. П. 56, 58
Лабрусс Э. 55, 56, 57, 59, 60, 66,
67, 74, 76, 80, 81, 84, 85, 205,
207, 208, 209, 210, 211, 213,
280, 314
Лависс Э. 181, 182, 183, 193, 202
Лайон Б. 274
Лайон М. 274
Лакомб П. 272
Лакофф Дж.. 25, 32, 52, 93, 94, 98,
314
Лалуэтт Ф. 144
Лампрехт К. 178
Лангендонк В. 104
Ланглау Ш. 8, 180, 183, 203, 270,
271, 280
Лансон Г. 271
Лант П. 78
Латур Б. 14
Ле Бре К. 132
Ле Гофф Ж. 70, 108, 127, 151, 158,
194, 202, 268, 280
Леван-Лемель Л. 19
Леви Г. 216, 217, 252, 272
Леви-Брюль Л. 38
- Левин К. 37
Левин Ф. 19
Леви-Строс К. 5, 6, 104, 287, 300
Леже Ф. 234, 235
Лейбниц Г. В. 142
Лейо П. 204
Лекен И. 44
Лелеонье А. 181
Лемонье А. 163, 167, 181
Ленски Г. 77
Леон П. 66
Лепенис В. 257, 300
Лепти Б. 7, 79
Леруа Лядюри Э. 120, 158
Леруа-Гуран А. 42, 43, 215
Лессинг Х.-У. 228, 229, 231
Лефевр А. 199, 204, 205
Лефевр Ж. 55, 280
Ли Д. 40
Либман О. 217
Лингль Д. 96
Литтрэ Э. 133, 134
Локк Дж. 230
Лопиталь М. де 131
Лотце Г. 217, 222, 252
Лоуч А. Р. 290
Луазо Ш. 124, 144, 145, 148, 154,
159, 191, 315
Лукач Г. 16, 217
Люблинская А. Д. 49, 50, 51, 52,
123, 191
Людовик XI 181
Людовик XIII 108, 182
Людовик XIV 134, 147, 148, 151,
152, 153, 160, 161, 182
Людовик XV
Люкс 197, 202, 259
Люттер М. 246, 247

- Мазарини кардинал 182
Мак Клелан Дж. 31, 285
Мак Клоски Д. 288, 289
Маккаи Л. 70
Маккрилл Р. 225
Маколей Т. Б. 265
Макомбер Дж. 39
Макьявелли Н. 245, 247
Мандельбаум М. 166, 186, 228, 292, 293
Мандру Р. 158
Марголис Э. 97
Маржевски Ж. 66
Марион М. 152, 153
Марков Б. В. 7
Маркс К. 54, 108, 197
Марру А.-И. 268, 269
Марчент 289
Марьежоль Ж. 181
Маслоу А. 162, 295, 296
Массикот Ж. 165
Маторе Ж. 180, 202, 214, 257, 297
Мегил А. 264
Медин Д. 96, 97
Медичи Мария 182
Мезюр 217, 229, 281
Мейерсон И. 36
Мейланд Дж. 9
Менестерье 144, 147
Мерло-Понти М. 25, 38
Мерсье Л. 191
Мерфи Г. 97, 186
Милграм 39
Миллер А. 36
Миллер Дж. 38, 40, 121, 192
Милль Д. 88, 90, 92, 94, 102, 246, 255, 314
Мило Д. 192, 281
Минк Л. 290
Митар 153
Миттельшедт Х. 40
Мишле Ж. 178, 196, 197, 200, 201
Мишо-Кантин П. 107
Моммзен В. 252, 255, 257
Монахов В. М. 6
Монжен О. 215
Моннеро Ж. 261
Моно Г. 193, 272
Монтень М. 133
Московиси 65
Мосс М. 15, 125, 201
Мунье Р. 53, 55, 56, 57, 58, 60, 67, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 122, 160, 191, 207, 213, 314
Мурье Ж. 106
Мэтланд Ф. 53, 96
Мюквелли Л. 19, 263, 272
Нагль Ж. 155
Найт Р. 93, 94
Нейссер У. 38, 192
Нидхам Р. 93, 97
Николь П. 159
Ницше Ф. О. 8, 20, 197, 234, 295, 299, 308
Новалис (Харденберг Ф. Фон) 245, 247
Новел-Смит П. 9
Новик П. 285
Нора П. 7, 47, 181, 195, 268, 280
Нуарьель Ж. 9, 19, 47, 59, 192, 201, 279, 286
Ньюман Ф. 293, 301
Ньютон И. 313
Оакс Г. 217, 228, 252
Огден К. 99
Огюльон М. 56

- Оэ А. 201, 202
 Оксле Г. 6, 274, 279
 Оллиг Х.-Л. 220
 Олпорт Дж. 77
 Онг У. 121
 Орт Э. В. 216, 220
 Остерхаммель И. 252
 Оукшот М. 15

 Пал Р. 6
 Панофски Э. 33, 39, 41, 158, 171, 172
 Парсонс Т. 76, 78, 79
 Партнер Н. 284, 286
 Паскаль Б. 142, 159
 Пассерон Ж.-К. 20, 113, 185, 256
 Патнем Х. 92
 Паул Х. 269
 Пен Э. 64, 78, 79
 Перро Ж. 61, 150, 160, 191
 Пиаже Ж. 28, 38, 39, 42
 Пиличин Э. В. 31
 Пиррен А. 204, 274
 Познер М. 96
 Покок М. 284
 Понтшартрен Ж. де 152, 154, 155, 161
 Поршнев Б. Ф. 55
 Прево Р. 252
 Прост А. 14, 18, 164, 188
 Прошассон К. 202
 Пуанкаре А. 269
 Пэйвио Э. 29, 30

 Рабб Т. 284
 Райл Дж. 28, 51, 304
 Райл Дж. 304
 Рамбо А. 193
 Рамлхарт Д. 31
 Ранке Л. фон 9, 224, 225, 226, 228,
 229, 230, 233, 275

 Рансиман У. 191
 Рансьер Ж. 7, 75, 109, 203
 Растье Ф. 99
 Ревель Ж. 45, 48
 Рей А. 158
 Ремон Р. 195
 Ренувье Ш. 197
 Ретель-Лорантин А. 105
 Риберью М. 179, 272
 Ридель М. 130
 Рикер Поль 6, 11, 13, 17, 20, 21, 22,
 26, 32, 213, 290, 292, 294, 313
 Риккерт Г. 16, 216, 221, 223, 224,
 236, 237, 238, 239, 240, 241,
 242, 243, 244, 245, 246, 247,
 248, 249, 250, 251, 252, 253,
 254, 256, 257, 260, 261, 272,
 292, 316
 Рингер Ф. 18, 301
 Риттер И. 220, 216, 226
 Рихтер М. 284
 Ричардс И. А. 99
 Ришелье кардинал де 182, 191
 Робинсон Дж. 178
 Розанваллон П. 141
 Розенталь П. 211
 Ротберг Р. 284
 Роудес Р. 200
 Рош Э. 25, 44, 52, 55, 57, 58, 94, 95,
 97, 98, 314
 Русселье Н. 202
 Руссо Ж.-Ж. 135, 136, 137, 138, 197,
 315
 Рыков А. И. 7
 Рюзен И. 228

 Саньяк Ф. 20, 211
 Сартр Ж.-П. 28
 Сен-Мартен М. де 7

- Сен-Мартрен Ф. 34, 38, 42, 43, 75,
 126, 168, 314
 Сен-Симон Л. де 139
 Сеньобос Ш. 8, 163, 164, 173, 179,
 180, 183, 193, 203, 270, 271,
 272, 280
 Серль Д. 91
 Серто М. де 10, 14, 280, 282
 Сигал М. 39
 Сийес аббат 138
 Сикурель А. 117, 118
 Симиан Ф. 179, 189, 201, 202, 203,
 269, 270, 271, 283
 Сиринелли Ж.-Ф. 202
 Скиннер К. 131, 284
 Слодзян М. 7
 Смит Е. 96, 97
 Смит Р. 202
 Смиттен Дж. 176
 Собуль А. 55, 56, 60, 66, 67, 68, 81,
 314
 Сольнон Ж.-Ф. 62, 63, 64, 65, 86,
 124, 151, 152, 155, 156
 Сорокин П. 76
 Соссюр Ф. 304
 Спельке Э. 39
 Стеа Д. 39
 Стоун Л. 9, 210, 211
 Стоянович Т. 203
 Страус Э. 40, 42
 Стюарт Д. 93, 255
 Сэ А. 202
 Сэмпсон Э. 77
 Сэпир Э. 305
 Тевено Л. 7, 47, 115, 117, 119, 120,
 125, 146
 Тирако А. 144
 Титченер Е. Б. 28
 Том Р. 36, 37
 Тоннис Ф. 138
 Топольски Е. 289, 290
 Тоус Дж. 285
 Трельч Э. 252
 Тренделенбург Ф.-А. 217
 Трубецкой Н. 305
 Тьерри Ф. 144
 Тэн И. 28
 Уайт Х. 285, 287, 288, 289, 290,
 316
 Уваров П. Ю. 7
 Уивел У. 93, 94, 125, 255
 Уилли Т. Е. 16, 217, 221, 226
 Уильямс Р. 133, 250
 Унгер Р. 226
 Уоклер Р. 138, 139
 Уолш У. 184, 290
 Уорнер У. 78
 Уорф Б. Л. 37, 38, 305
 Урбан В. 33
 Февр Л. 9, 10, 46, 54, 57, 158, 163,
 164, 165, 166, 168, 180, 181,
 203, 204, 205, 206, 207, 208,
 210, 211, 212, 274, 275, 276,
 277, 278, 279, 283, 313, 316
 Фенелон аббат 173, 176
 Фергюсон А. 135
 Ферро М. 7
 Филипп Македонский 104
 Финк К. 276
 Фиш И. 250
 Фишер Д. 20, 217
 Фодор Дж. 29, 31
 Франк Дж. 33, 176
 Франкастель П. 34, 75, 215, 314
 Франциск I 181

Фреге Г. 90, 91, 92, 314
Фрейд Э. 197, 299
Фрисби Д. 217
Фуко М. 20, 23, 33, 37, 52, 111, 121,
156, 157, 282
Фуретьер А. де 133, 134
Фюре Ф. 56, 58, 59, 66, 84, 124,
139, 280, 282, 283, 314
Фюстель де Куланж Н. 178, 179

Хаас 177

Хайдеггер М. 256, 305, 306
Халлоуэл А. 38, 39
Ханнэй А. 29
Хапаева Д. Р. 7, 47, 299
Хапперг Дж. 69
Хардинг Р. 193
Хекстер Дж. 189, 194, 212, 288
Херсковиц М. 39
Хид Б. 138
Хобарт М. Т. 9
Холборн Х. 224
Холноук К. 40
Холт Р. Р. 29
Холтон Дж. 36
Хомский Н. 39
Хьюгс Г. 199, 206, 228, 263
Хэйвуд Дж. 196

Целлер Э. 217

Черутти 7
Чэйз 306

Шамле маркиз де 153
Шампэнь Ф. де 159
Шарль К. 46, 47, 300
Шартье Р. 7, 44, 55, 210
Шепард Р. Х. 30, 40
Шоб М.-К. 7
Шодон Ж. Л. 192
Шонно П. 209
Шоссинан-Ногаре Г. 61, 150
Шоттлер П. 276
Шпигель Г. 7, 285
Штейн Л. фон 138

Эванс-Причардс Э. Э. 260, 285
Эдидин А. 23
Эли Дж. 285
Элиас Н. 134, 250
Эмар М. 6,
Энде Х. 9, 74, 229
Эник Н. 7
Эпплебай Дж. 285
Эрдман Б. 243
Эрмарт М. 228
Эспань М. 258

Юм Д. 230

Яриц Г. 7